

Непрошедшее прошлое

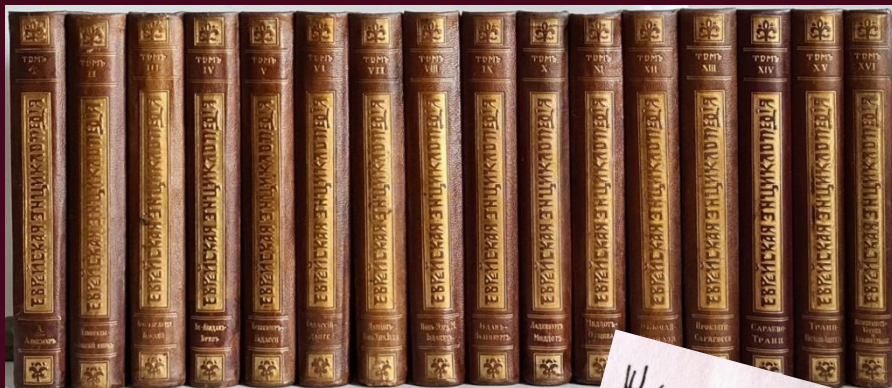
Собрание сочинений  
Шимона Маркиша

Том 5

Русско-еврейская литература

Часть 3

Примеры и выборы. XX век



**Непрошедшее прошлое**

**Собрание сочинений  
Шимона Маркиша**

Том 5  
Русско-еврейская литература

Часть 3  
Примеры и выборы. XX век

Составитель  
**Zsuzsa Hetényi**

ELTE — MűMű  
Budapest, 2021

Издание Ателье Художественного Перевода (MűMű) ЭЛТЕ, Будапешт  
Published by the Atelier of Literary Translation MűMű, Budapest  
Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem MűMű Műfordító Műhelye

Ответственный редактор  
**Жужа Хетени / Zsuzsa Hetényi**

*В конце работы над серией составитель был аффилирован–ным научным  
сотрудником в ИПИ ЦЕУ (2020–2021).*

At the end of her work with this series the Editor was Affiliated Senior Fellow at  
Institute for Advanced Study of Central European University (2020–2021).

*На обложке*

Еврейская энциклопедія. Сводъ знаній о еврействѣ и его культурѣ въ прош-  
ломъ и настоящемъ. Подъ общей редакціей Д-ра Л. Каценельсона. Изданіе  
Общества для Научныхъ Еврейскихъ Изданій и Издательства Брокгаузъ–  
Эфронъ. С.-Петербургъ 1908–1913. Из библиотеки Шимона Маркиша.  
Исправленное имя в заголовке машинописи из архива

*Публикация в открытом доступе в интернете позволяет вносить  
поправки. Просьба сообщать об опечатках или ошибках по адресу:  
**phd.kny@gmail.com***

Тексты этой книги представляют собой **ограниченный  
авторскими правами материал**, обязывающий на  
цитирование и ссылки согласно академическим правилам.  
Публикация в любой форме возможна только по договору и  
с разрешения владельца авторских прав, составителя книги.

**Корректурa, техническая редакция:**

Евгения Волнова, Наталия Дьяченко (с поддержкой ЦЕУ ИПИ),  
Анель Коженбергена, Антонина Краснопольская

© Шимон Маркиш (*наследник*) / Shimon Markish (*heir*)  
© Жужа Хетени / Hetényi Zsuzsa

ISBN 978-963-489-272-4

## Содержание

|  |            |
|--|------------|
| <i>«Непрошедшее прошлое» (От составителя).....</i>   | <i>5</i>   |
| <i>Жужа Хетени</i>                                   |            |
| <i>К своим кострам – «и головою, и сердцем»</i>      |            |
| <i>(Предисловие к пятому тому).....</i>              | <i>9</i>   |
| <br>   |            |
| <b>Русско-еврейская литература</b>                   |            |
| <b>и Исаак Бабель (1979).....</b>                    | <b>25</b>  |
| <b>Пример Василия Гроссмана (1985).....</b>          | <b>55</b>  |
| <b>Илья Эренбург (1990) .....</b>                    | <b>233</b> |
| <b>Жаботинский – русский журналист (1990).....</b>   | <b>303</b> |
| <b>Жаботинский в парижском «Рассвете»(2001).....</b> | <b>327</b> |
| <br>   |            |
| <i>Жужа Хетени</i>                                   |            |
| <i>Краткая биография Шимона Маркиша.....</i>         | <i>347</i> |
| <i>Библиография работ Шимона Маркиша</i>             |            |
| <i>по русско-еврейской литературе.....</i>           | <i>350</i> |
| <i>A Summary.....</i>                                | <i>361</i> |



Жужа Хетени

«НЕПРОШЕДШЕЕ ПРОШЛОЕ»

От составителя

Эта книга является пятым томом серии «Непрошедшее прошлое. Собрание сочинений Шимона Маркиша». Публикация приурочена к 90-летию со дня рождения Маркиша, к 6-му марта 2021 года.

В пятом томе собрания сочинений публикуется материал книги Маркиша («Три примера», на иврите, 1994; «Бабель и другие», 1996), составленной из трех обширных исследований: об Исааке Бабеле (1979), о Василии Гроссмане (1985) и об Илье Эренбурге (1990) как трех вариантах русско-еврейского писателя, трех выборов на пути ассимиляции. (Значение «примера» объяснено в начале статьи об Эренбурге.) Эта тройка статей зеркально отражает и дополняет портреты о трех отцах основателях (см. том 3). В данном томе к этой триаде XX века присоединены два эссе о четвертом «примере» Маркиша, Владимире Жаботинском как четвертого варианта жизненного-творческого выбора в истории русской-еврейской культуры. Единство этих семи статей позволяет увидеть несбывшуюся большую монографию Маркиша об истории русско-еврейской литературы.

Настоящая книга является результатом независимого и никем не поддержанного проекта (в соответствии с таким же статусом Маркиша в науке). В нем составителю-редактору-издателю томов (с неродным русским языком), автору этих строк помогали лишь студенты-непрофессионалы. Открытый доступ позволит строкам Маркиша достичь заинтересованных специалистов и широкого круга русскоязычных читателей.

В тома серии входят и архивные, никогда не печатавшиеся материалы, или печатавшиеся только на других языках; и также

в полной форме те тексты, которые при первой публикации были сокращены.

Уникальность серии состоит и в стремлении к полноте в том, что она охватывает все творчество Маркиша, филолога-классика, исследователя эпохи гуманизма-ренессанса-реформации и основателя ныне расцветающей исследовательской области «русско-еврейская литература»; и в том, что он показан в ней как ученый, публицист и переводчик одновременно, но, главное, в том, что — в отличие от первых изданий текстов (нередко с ошибками) и их нелегальных версий (и в интернете, и в форме книг) — все тексты поправлены на основе оригиналов, не только рукописей и машинописей, но и подправленных руками автора окончательных версий, после публикации статей в журналах и книгах. (Маркиш регулярно правил уже вышедшие в печати тексты, куда могли закрасться опечатки.)

Цитаты, слова и названия источников на восьми иностранных языках, активно используемых Маркишем, должны давать без ошибок в соответствии с этими языками. При этом иногда нужно вносить правку и в рукопись самого автора, который в большинстве случаев (до 1999 года) печатал свои тексты на машинке, не всегда выкручивая расползающиеся листы из одной машинки, чтобы вкрутить в другую для смены шрифта. Например, если бы Маркиш печатал в наши дни, вместо названия журнала *Комментэри* дал бы *Commentary*. Изменения и исправления такого порядка были сделаны мной. Однако, троеточия для обозначения пропуска в статьях и цитатах были оставлены.

Тома распределены тематически, по главным направлениям деятельности Шимона Маркиша на протяжении его творчества. Таких направлений было три, как он сам выражался, у него было три жизни: античность, эпоха ренессанса-реформации (Эразм) и история русско-еврейской литературы (со второй половины XIX века). Эти три периода связаны, с одной стороны, с переводческой деятельностью разной интенсивности, а с другой стороны — с его биографией, переездами и переселениями.

По паспорту и хронологии это были Советский Союз, Венгрия, Израиль и Швейцария. «Языковая биография» Маркиша тоже многоцветна — мастер русского родного, греческого и латыни, переводчик с английского, венгерского и немецкого, говоривший на французском, разбиравший библейский древнееврейский, охотно болтавший на итальянском и неохотно — на немецком, с грехом пополам, но с большой любовью — на иврите и на идиш (и это слово, следуя примеру Жаботинского, он никогда не склонял, см. статью в данном томе о Жаботинском).

Тексты публикуются в соответствии с примерной хронологией творчества самого автора, которая удивительно совпадает с хронологией культуры человечества и чуть ли не полностью ее охватывает. Не зря Маркиша называли и энциклопедистом, и гуманистом, и космополитом культуры. Внутреннее время его публикаций по темам анализа охватывает диапазон с эпохи древнейших Псалмов до его современника Фридриха Горенштейна. Хронология соблюдается и внутри томов, ибо первичной целью собрания сочинений является показать пройденный автором путь, и даже если жанровые и тематические принципы иногда пересекаются. на первом плане стоит эта внутренняя линия творчества Маркиша, путь его становления и развития.

Общее предисловие к серии об истории архива помещено в первом томе.

Любые предложения к коррекции и улучшению принимаются с благодарностью<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> По адресу, который служит и для заказа печатной версии через книжный сайт в системе «book on demand»: **phd.kny@gmail.com**.





## К СВОИМ КОСТРАМ – «И ГОЛОВОЮ, И СЕРДЦЕМ»<sup>2</sup>

Жужа Хетени

Разделение блока четырех томов (3–6) внутри «Собрания сочинений Шимона Маркиша. Непрошедшее прошлое» соответствует тематической хронологии материала. Два тома посвящены текстам о литературе XIX века (тома 3 и 4); и два — литературе XX века (тома 5 и 6). Чётные тома от нечётных отличается принцип жанра. Первый том в каждой паре содержит более обширные очерки, снабженные примечаниями, а во вторых томах этих пар собраны эссе, короткие публикации, лекции и радиопередачи. Тома 3–4–5 посвящены исключительно русско-еврейской литературе, образуя внутренний блок. Ниже приводится общее предисловие к этим томам.

Главным предисловием к третьему тому было предисловие авторское, которое в данном случае не просто выбрано из числа текстов Маркиша, но и было написано специально в этом жанре, и в нем автор сам представляет себя будущему читателю. Оно состоит из двух частей. Первая часть датирована 1996-ым годом, вторая — 2001 годом. Судя по первой дате, предисловие предназначалось для сборника «Бабель и другие», а по второй — для книги для чтения «Родной голос». Тот факт, что «Несколько слов от автора», 14 строк в начале киевской книги «Бабель и другие», начинаются с той же фразы, которая поставлена в заголовок оставшегося в машинописи предисловия, поддер-

---

<sup>2</sup> Название данного предисловия, общего к блоку «Русско-еврейская литература» внутри собрания сочинений Маркиша — перефразировка названия статьи Маркиша о Богрове, «К чужим кострам» (том 3).

живает предположение, что текст был задуман именно для этого тома<sup>3</sup>.

Но ни в это издание 1996 года, ни в другое — сборник 2001 года — предисловие не вошло<sup>4</sup>, осталось в рукописи. Возможно, исповедь получилась слишком откровенной, или пессимизм выразился в нем слишком прямо.

Этот текст и по тональности, и по содержанию уникален. Прежде всего, в нем объясняется, чем был мотивирован выбор той области деятельности, которая в качестве «третьей жизни» оказалась, с точки зрения науки, не менее плодотворной, чем предыдущие, и повторно названа автором самой близкой ему, самой родной для него, — русско-еврейской литературе.

Что стояло за этим выбором «третьей жизни» и в чём он заключался?

В книге «Родной голос» 2001 года из различных отрывков был составлен исходный литературный материал для тех обзоров и исследований по русско-еврейской литературе, которые теперь войдут в следующие четыре тома серии «Непрошедшее прошлое». В предисловии к книге 2001 года дается общепонятное и короткое изложение понятия русско-еврейской литературы, более сжато и прямо, чем когда-либо до (да и после) этого. В ответ на знаменитую фразу Достоевского («Еврей без Бога как-то немислим; еврея без Бога и представить нельзя») мы читаем слова о выборе Маркиша, на каком же «поле» он собирается пахать<sup>5</sup>:

---

<sup>3</sup> NB. смену слова 'когда' на 'если': «Если эта машинопись станет книгой и найдет своего читателя, автор хотел бы, чтобы он, читатель, знал: книгу вызвал к жизни и собрал...»; а дальше следуют слова благодарности и библиографические сведения. Бабель и другие. Киев, Персональная творческая мастерская «Михаил Щиголь», 1996. С. 3.

<sup>4</sup> В случае «Родного голоса» объем многого не позволял: об этом есть заметка после короткого предисловия. (там же, С. 14.)

<sup>5</sup> См. неизданное предисловие (первый текст в предыдущем томе 3).

Но если не религия, не заповеди, обряды и молитвы объединяют нас, не знающих веры, но принадлежащих еврейству и головою, и сердцем, то что? Я думаю — культура. По возможности — во всем ее объеме и в обоих измерениях, историческом и географическом.

В декабре 2000 года, за две недели до рубежа тысячелетий Маркиш написал письмо в Киев, в издательство «Дух і Литера», предлагая варианты названия для будущего сборника.

1. «Голос минувшего». Такой журнал существовал, не помню, когда точно. Ну и что?
2. «Голос родного прошлого».
3. «Родной голос прошлого [минувшего]
4. Поменять местами подзаголовок и заголовок:  
Страницы р.-е. лит-ры, Родной голос. Книга для чтения
5. Страницы р.-е. лит-ры. Книга для чтения
6. «Родное наследие»
7. «Наше наследие»
8. «Наше минувшее»

Ключевые слова: с одной стороны, наше и родное, а с другой — прошлое, минувшее, наследие.

Выбор третьей и самой обширной темы в жизни Маркиша никоим образом не являлся отклонением от личного прошлого. Как он сам написал в статье «Прощание с Эразмом» (см. т. 2): «...уезжая в 1970 году, я был не только готов к радикальным переменам в своей профессиональной судьбе — я их самым решительным образом желал и ждал. И главным решением, главным желанием было: отныне и впредь делать свое, еврейское дело». К числу радикальных перемен относится и смена имени — вместо Симона он стал Шимоном, одинаково в венгерском и еврейском варианте (см. исправленный автограф на обложке).

Во-первых, это направление в некотором смысле органично выросло из темы «Эразм и еврейство» — с акцентом на второй

половине, на еврейском аспекте. Очевидно, мотивацией к смене темы стала и смена страны. Как переводчик античных текстов на русский язык он потерял почву под ногами, ведь в Венгрии таковой не был нужен, как не нужен был и русский эразмист на родной для Эразма земле, в Швейцарии (Эразм работал и умер в Базеле). Несмотря на то, что Маркиш был устным полиглотом и свободно читал лекции на иностранных языках, его знание английского и французского никогда не достигло такого уровня, чтобы он мог на них свободно писать. В Женевском университете Маркиш начал преподавать новые для него предметы — русский язык, литературу, историю и историю культуры; с его широкой и глубокой эрудицией это ему давалось легко. Взгляд на русскую литературу с еврейским фокусом казался и кажется естественной областью для будущей деятельности в его ситуации — после того, как он с успехом применил еврейский аспект исследования к творчеству Эразма, обращение к своему, родному-коренному в рамках русской литературы было лишь следующим логическим шагом.

Но это был не только рациональный и не только вынужденный выбор, но и в значительной степени эмоциональный. Это решение в письменной форме созревало со времен комментариев к «Иудейской войне» Лиона Фейхтвангера, по которым «целое поколение еврейской молодежи знакомилось с начатками нашей истории и цивилизации: другие источники были недоступны»<sup>6</sup>. Но этот выбор был связан прежде всего — чуть ли не биологически — с огромной фигурой отца, вернее, с огромным, не постижимым умом отсутствием отца. Любой читатель биографии Маркиша и истории его семьи понимает, что могла означать травма ареста для сына в возрасте неполных 18 лет. Как он писал к 50-ой годовщине ареста отца в 1999 году:

---

<sup>6</sup> Письмо Маркиша о своем жизненном пути см. в томе 1, С. 20

...<мы> не просто любили отца, но обожали его, бого-творили, слепо и горячо, и очень долго, десятилетиями, любое прикосновение к разверстой ране причиняло острую боль. Наверное, был прав один из умнейших русских писателей, Петр Вяземский, заметивший, что невозможно написать биографию отца, которого горячо любишь<sup>7</sup>.

Быть сыном репрессированного означало иметь особую судьбу: в советское время официально это было клеймом, а для круга доброжелателей— печатью героического сиротства на всю жизнь, и это сиротство обязывало. Обращение к еврейскому литературному наследию, несомненно, было predetermined уже самим решением покинуть советскую страну, созревшим в годы ссылки (1953–1954).

Если внимательно приглядеться к работам Маркиша с точки зрения будущего призвания занятий еврейской культурой, то можно найти и более ранний, очень важный импульс из детства, из 1940 года, когда умер Жаботинский и когда Маркишу не было и десяти лет.

В библиотеке моего отца был сборник «Фельетоны» издания 1913 г. Фельетоны? Стало быть, веселое, смешное. Оказалось, смешного ничего не было, но мощные и страшные слова царапнули сердце. И года четыре спустя, под конец войны, когда главным интересом подростка из абсолютно нерелигиозной и столь же абсолютно еврейской семьи стала участь его народа, Жаботинский вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней навсегда<sup>8</sup>.

Самое длительное пребывание Шимона Маркиша на земле далеких предков тоже связано с именем Жаботинского: в 1987 году он провел в Иерусалиме три месяца, работал в архиве Жаботинского. С 1975 года у него был израильский паспорт, и

---

<sup>7</sup> Жизнь спустя. // Известия, 28 января 1999 г. С. 7.

<sup>8</sup> Маркиш Ш. Жаботинский: 50 лет после кончины. Объяснение в любви. // Еврейский журнал, № 1, 1991, С. 64.

уже с ноября 1972 года там жили его мать и брат с семьей. Маркиш в сорок с лишним лет прошел бар мицва (после достойной подготовки в изучении священных текстов), он старался привить себе привычку моления, ежедневно надевая тфилин, и в течение лета работал в кибуце. Как видно, он желал прожить весь объём опыта израильского еврея, принадлежать к формирующейся нации. По рассказам коллег, Маркиша приглашали и в еврейский университет, на кафедру античной культуры, но он ответил, что евреям нужно изучать не древнюю, а свою культуру. Однако, принимая во внимание его прошлое переводчика и писателя пересказов, вряд ли можно утверждать, что такой аргумент мог прозвучать в серьезном разговоре — разве что в качестве неофициальной реплики отказа. Фактом остается, что он продолжал жить и работать в Женеве и не был там чужим, участвовал в местной жизни полноценно. В то же время (и собственно, все вышесказанное и собрано было мной в качестве введения к теме) он начал писать публицистику о бывших советских евреях-интеллигентах в Израиле, о явлениях на злобу дня, занялся анализом событий и тенденций, связанных не с литературой, а с актуальными общественно-социологическими явлениями. В тональности и посыле этих статей слышны и программные, и дидактические отзвуки учительского поведения. Не случайно я повторяю слова, связанные с устностью, с речью — у Маркиша была настолько характерная импульсивная речевая манера, что она определила и его письменный стиль<sup>9</sup>.

Учительский голос формировался под влиянием нескольких факторов и источников. По всей вероятности, он восходит, в первую очередь, к той оппозиционности советского периода его жизни, которую он неизменно прятал между строк книг и статей и об античности, и об Эразме и его времени<sup>10</sup>. А когда

---

<sup>9</sup> У кого была возможность хоть раз послушать его, может услышать его слегка певучий голос даже при чтении его текстов.

<sup>10</sup> См. в предисловиях к томам 1 и 2. Любопытно посмотреть его первый сохранившийся текст — речь, произнесённую от имени выпускни-

оппозиция, т. е. противостояние, превращается в позицию, в ангажированность, то дистанцию, независимость и взгляд со стороны, характеризующие интеллигенцию, трудно соблюдать. После долгих лет невозможности высказаться Маркиш почувствовал себя как дома в этой моральной еврейской ангажированности, прежде всего эмоционально, хотя, как мне кажется, интеллектуально она недостаточно удовлетворяла его, и, главное, он не видел влияния своих статей, они не достигали широкого круга читателей, вызвали умеренный резонанс<sup>11</sup>.

Интересно проследить, в какие годы он проявлял больше активности в жанре фельетона, интереса к проблемам культуры в широком смысле, и когда он, наоборот, придерживался скорее академических научных исследований. Первое его десятилетие после эмиграции на Запад (с 1974 года) характеризовалось прочными связями с Израилем, и оно совпало с волной массовой советской эмиграции, представители которой энергичными усилиями создавали в те годы свой израильский новый дом, среду для русскоязычной еврейской культуры. Маркиш здесь (думается, пока не сознательно) занял такую же традиционную двойную позицию, в которой рождалась русско-еврейская литература под пером первых «отцов-основателей» XIX века — боролся на два фронта, т. е. критиковал недостатки своих и в то

---

ков на закрытии учебного года в мае 1948 года, за полгода до ареста отца. Хотя там есть немало слов о коммунистическом будущем, упомянуты, как полагалось, и Жданов, и Ленин, но появляется уже и стилизованность языка под старину, и смелые для того времени литературные цитаты (назван Багрицкий, не названа богемно свободная американская поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей), есть философские мыли и есть пафос ангажированности. (Текст войдет в более поздний том.)

<sup>11</sup> Одна из них все же вышла на трех языках, и вызвала интерес и ответы: *Passers-by: The Soviet Jew as Intellectual*. // *Commentary* vol. 66, № 6, December 1978. С. 30–40. Ответ: *Commentary* vol. 67, № 4, April 1979. С. 31–33., Прохожие люди. // *Менора*, сентябрь 1978 (5738). С. 63–83., *Passanten. Entwurf zu einem psychologischen Porträt des Sowietjuden* // *Schweitzer Monatshefte*, 59. Heft 1, Januar 1979, 43–50.



же время защищал свой «народ» от внешних нападков, отстаивал его интересы и заботился о ценностях его прошлого ревностнее других.

В этих статьях явно слышны отзвуки резкого стиля «Фельетонов» Жаботинского, на которого он часто ссылается (чаще всего им цитируется «Четыре сына»). Описание, в котором Маркиш указывает Власа Дорошевича как автора, под влиянием которого Жаботинский отходит от журналистского канона, почти без изменения можно транспонировать на влияние Жаботинского на его самого:

Среди непосредственных источников журналистской манеры Жаботинского, среди мастеров, у которых он учился писать, первым надо поставить Власа Дорошевича (1864–1922), «короля репортажа», как его называли, смелейшего реформатора газетного стиля, сломавшего каноны тогдашнего «суконного языка» в прессе<sup>12</sup>.

Уже упомянутый устный тон Маркиша, кроме врожденной склонности, разумеется, тоже можно возводить к одному из любимых жанров Жаботинского, к т. н. *causerie*, который Маркиш определяет следующими словами:

Этому французскому слову точного русского соответствия нет, примерно оно означает непринужденную беседу, но может быть истолковано и как разговорное с оттенком вульгарности «треп». Поздний (послевоенный) Жаботинский испытывал очевидную привязанность к этой форме публицистики.

К этому в дальнейшем добавлено:

...в «Рассвете» за все двенадцать лет, что журналом руководил Жаботинский (1923–1934), ни одной *causerie* не

---

<sup>12</sup> Жаботинский — русский журналист. // *Cahiers du monde russe et soviétique* vol. XXXI-1. 1990. С. 61–76. См. в томе 5 данной серии.

найдем. То было поле битвы, а не гостиная или банкетная зала для непринужденной беседы. Хотя и тема, и мысли той *causerie*, <...>, встречаются в статьях Жаботинского, опубликованных в «Рассвете», неоднократно. К этому же «жанру» принадлежит и «Бунт стариков», который Жаботинский опубликовал в другом парижском эмигрантском издании («Современные записки», 63, 1937), — горькие размышления о кризисе...

Маркиш, с тонким чувством к «горьким размышлениям о кризисах» (перефразируя его же слова), несомненно стоит на позициях современного сионизма, и, продолжая наследие отца, он выполняет свой долг и перед ним, и перед еврейством в целом. В то же время в такой своей деятельности он оказывается довольно одиноким, без какой бы то ни было среды вокруг, без группы или приютившего бы его движения. Случается ему и принимать участие в дебатах, когда он упрекает бывших советских евреев, уезжающих из Израиля в третьи страны, прямо в Америку или в Германию. Здесь явно сказываются и угрызения совести — ведь сам он при этом оставался в удобной Швейцарии, не жил в Израиле. Позиция, стиль, тональность и резкость голоса этих «актуальных» статей о русских евреях (см. в последнем томе данной серии) роднят его с публицистикой его ровесника, берлинского эмигранта Фридриха Горенштейна, которого он считал гением и Мастером.

Маркиш (не будет преувеличением сказать) горячо желал принадлежать к своему народу, однако признавался и в том, что оставался посторонним. Не случайно, а знаменательно, что первым русско-еврейским писателем, о котором он написал, был именно Исаак Бабель. Маркиш первым показал противоречивое еврейство Бабеля, его сомнения и раздвоенность как по отношению к еврейской родной, но уходящей традиции, так и в желании присоединиться к новой, победной, но кроваво жестокой и отталкивающей власти.

Следует подчеркнуть, что начинать изучение русско-еврейской литературы с Исаака Бабеля на самом деле означает начинать её линию с конца – ведь год смерти Бабеля, совпадающий с годом смерти Жаботинского, Маркиш впоследствии считал конечной датой русско-еврейской литературы. Только после Бабеля он стал возвращаться к истокам, двигаться назад во времени, обратно к XIX веку, к писателям, названным им отцами-основателями.

Первая публикация о Бабеле вышла в 1977 году<sup>13</sup>, на иврите, в журнале, издании кибуца, с многозначным названием «Изнутри» (Миббифним). В том же году статья вышла и по-английски, и по-французски, и только спустя два года — по-русски, но тоже в Израиле. И всего через год Маркиш публикует статью из двух частей об Осипе Рабиновиче (первом писателе, исходной точке в линии корпуса русско-еврейской литературы<sup>14</sup>), а в 1982 году в одном малотиражном издании (Festschrift) печатаются теоретические предпосылки его исследований «О русско-еврейской литературе (предварительные замечания)»<sup>15</sup>. Только в 1985 году (после удачной докторской защиты в 1983 году в Сорбонне) выходит обстоятельная статья о методологии и теории изучения русско-еврейской литературы<sup>16</sup>.

В диссертации, защищенной в Сорбонне в 1983 году были готовы не только концепция и линия писателей, но и понятие «отцов-основателей», о чем свидетельствует и архивный мате-

---

<sup>13</sup> Это год и моей первой работы о Бабеле, о Конармии: после года в Одессе я написала дипломную работу (90 страниц) в 1977 году, а моя первая статья вышла в 1981 году. По совету моего профессора Ж. Зельдхейи я разослала отгиски по адресам, которые она предложила, в том числе и Маркишу. Нас познакомил Бабель.

<sup>14</sup> Osip Rabinovic, в двух частях, в «Cahiers du monde russe et soviétique», 1980. См. в библиографии и в томе 3.

<sup>15</sup> Festschrift für Fairy von Lilienfeld zum 65. Geburtstag. Hrsg. A. Rexhauser und K.-H. Ruffmann. Erlangen 1982. P. 317–337.

<sup>16</sup> A propos de l'histoire et de la méthodologie de l'étude de la littérature juive de l'expression russe. // Cahiers du monde russe et soviétique vol. XXVI-2. P. 139–152.

риал, введение к круглому столу, организованному осенью того же года в парижском Институте славянских исследований в рамках конференции на эту тему. (Короткий план проекта помещен в приложении к тому 3) В теоретическом введении к круглому столу подчеркнута проблема определения понятия русско-еврейской литературы, и приведенный список писателей включает следующие имена: Фруг, Минский, Волынский, Юшкевич, Айзман, Ан-ский, Кипен, Соболев и Бабель, в указанном порядке. Здесь шире, чем в более поздних текстах, обсуждается неприемлемость отрицания существования русско-еврейской литературы как отдельного явления на основе сравнения ее с «областными» явлениями, «в одном ряду с сибирской, уральской или донской», когда «рассматривалась она и как явление случайное, временное, переходное, сопряженное с особыми историческими или/и социальными условиями». Среди отрицателей цитируются не только Марк Слоним (более обширно, чем в теоретической статье 1994 года, вошедшей в том 3, но в основном перекликающейся с текстом проекта) и знаменитость Жан Старобински, но и авторитетный Джордж Стайнер, который, в свою очередь, по мнению Маркиша, беспрельдно расширяет категорию еврейской культуры как творчества всех лиц еврейского происхождения:

...тут и неизбежная триада Маркс, Фрейд, Эйнштейн, и столь же неизбежные Гейне с Кафкой, но также Шёнберг, Витгенштейн, Готфмансталь, Адорно, Верфель, Рейнгардт, Пискадор, Эрнст Блох, Бергсон, Пруст и т. д., и т. д., и даже математик Георг Кантор, в придачу...

Приводится и «Encyclopaedia Judaica» 1971 года, в котором еврейская литература на европейских языках отнесена исключительно к национальным литературам на том же языке. Именно на фоне этих работ нужно представить и теоретическое новшество и не менее важную методологическую строгость той системы Маркиша, которая в качестве трансдисциплинарной

научной позиции заняла принципиально промежуточное положение между этими негибкими и упрощающими крайностями. Только на фоне и в свете тогдашних мнений и положений, отрицающих существование пограничного явления русско-еврейской литературы, возможно увидеть новаторство в деятельности Маркиша — тот путь, который он пробил для этой новой научной области и то, как он стал её основателем.

После периода диссертации, т. е. хронологически уже параллельно с ней, внимание Маркиша снова оказалось сосредоточено на XX веке, на творчестве Василия Гроссмана, которого он не причисляет к корпусу русско-еврейской литературы (по своим же критериям), а считает русским писателем еврейской судьбы. Имя Маркиша как одного из двух составителей осталось скромно на фоне лозаннского издания романа «Жизнь и судьба» в 1980 году, и предисловие подписано только Эфимом Эткиндо. История того, как Маркиш и Эткинд вдвоем вычитали (не без ошибок, как впоследствии выяснилось) с микрофильма плохого качества эту более чем 1000 страниц рукописи, была тоже отгеснена на задний план приключенческой историей того, как рукопись снимали два раза и какими путями тайно вывозили два раза на Запад — настоящим детективным романом с участием таких отважных и преданных людей, относившихся к первой линии русской интеллигенции тогдашних оппозиции, диссидентов и «внутренней эмиграции», как Владимир Войнович, Семен Липкин и Андрей Сахаров<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Эту сложную историю рассказывает по доступным тогда (неполным) сведениям и сам Маркиш в статьях о Гроссмане (см. тома 5 и 6). Об истории пути романа к печати все рассказывают несколько иначе. См. Выступление В. Войновича на Франкфуртской ярмарке (Посев, 1984, № 11.); С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана; Анна Берзер. Прощание (М., Книга, 1990.) и Б. Сарнов. Как это было. К истории публикации романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». // Вопросы литературы 2012. 6. 9–47.) Версия Войновича войдет и в примечание к статье о Гроссмана (см. Т. 6).

Первый очерк Маркиша о Гроссмани объёмом в небольшую монографию был готов в 1981 году, но лозаннский издатель сербского происхождения, Владимир Димитриевич, владелец издательства L'Age d'Homme, предчувствуя международный успех, пожелал издать очерк Маркиша сначала в переводе на французский язык вместе с первым французским изданием романа<sup>18</sup>, а по-русски очерк вошел в маленький двухтомник серии «Библиотеки Алия» в 1985 году как послесловие к сборнику избранных сочинений Гроссмана, составленному Маркишем же, и занимает там две трети второго тома. Следующая, несколько измененная и дополненная версия вышла на иврите в 1988 году, а русский оригинал вошел в авторский сборник «Бабель и другие», но в сокращении. Вычеркнута была примерно треть текста 1988 года, и вместо предисловия появилось короткое введение, снова начатое со слова «если»:

Если бы я взялся заново писать о Гроссмани сегодня, то, вероятно, многое написал бы по-другому. Но мой старый, в основном, «доперестроечный» очерк — часть не только моей собственной судьбы, но и судьба страны, к которой я когда-то принадлежал, а главное, той культуры российского еврейства, к которой продолжаю принадлежать. И — смею думать — частица посмертной судьбы и славы Василия Гроссмана. Оставим же эти частицы различных судеб в их — по возможности — первоначальном виде<sup>19</sup>.

Чтобы следовать этим принципам, мне как составителю этих томов показалось наиболее верным путем предложить читателю XXI века самую полную версию очерка 1985 года в томе 4 (вместе с перенесенными в новую публикацию авторскими

---

18 Le cas Grossman. Traduit Dominique Négrel. Paris, Julliard – L'Age d'Homme. 1983. 219 С.

19 Бабель и другие. Киев, Персональная творческая мастерская «Михаил Щиголь», 1996. С. 29.

поправками и примечаниями, перемещенными под текст<sup>20</sup>). Что касается формата, самые пространственные примечания, иногда размером в несколько страниц, внесены в текст более мелким шрифтом. Такой редакторский «прием» читатель увидел на предыдущей странице моего текста, и увидит в длинных «монографических» статьях Маркиша, например, об Осипе Рабиновиче в томе 3, и о Василии Гроссмане в томе 4.

Думается, что Гроссман включен в русско-еврейской литературы Маркишем на том праве и основании, что его «жизнь и судьба» представляют собой одну из возможностей выбора для российских евреев, характерных не только для писателей и творческих людей искусства, но и для интеллигенции в целом. Название статей «Русский писатель еврейской судьбы» (1986, 1987) на самом деле является, как говорится, «продуктивным» термином или даже категорией, применимой не только к Гроссману, а и ко многим другим писателям, даже из мировой литературы. Именно в качестве такового привлек внимание Маркиша венгр Миклош Радноти, о котором он написал две разные статьи (см. в томе 6).

В 1990-е годы наступает самый плодотворный с точки зрения когерентности научный период, с весьма коротким возобновлением интереса к общественным вопросам (в 1992–1993 годы) в жанре фельетона.

Список публикаций показывает, как Маркиш постепенно стал выстраивать линию, связующую трех отцов-основателей с XX веком, добавляя портреты со страниц еврейской периодики («Сиона», «Рассвета», «Восхода» и других), обзоры произведений писателей второй линии русско-еврейской литературы (по сути своей тоже «второлинейной» рядом с русской литературой «главной» линии). По публикациям можно проследить, когда

---

20 См. в томе 4. В тексте нужно было сделать и значительные изменения для соблюдения русскоязычного формата кавычек, ссылок, знаков препинания и пр.

он стал писать для общепользовательных энциклопедий<sup>21</sup> (искренне гордясь тем, что выполняет свой долг перед читателями, передает им подарок на долгие годы, см. в вводной его статье к тому 3), видно, когда он начал обращаться к архивам<sup>22</sup> и когда он включил Жаботинского в сферу своих исследований. При этом он ни на минуту не забывал о популяризации своего предмета — готовил в течение трех лет еженедельные радиопередачи для «Радио Свобода» (1993, 1994, 1995), основал вместе с Эйтаном Финкельштейном мюнхенский «Еврейский журнал».

Маркиш впервые включил Гроссмана в тройку писателей наряду с Бабелем и Эренбургом в книге 1994 года, изданной под заглавием «Три примера» (в переводе на иврит)<sup>23</sup>. Авторская концепция «трех примеров» зеркально отражает триаду «отцов-основателей», первого поколения русско-еврейской литературы, создавая единую структуру в сопоставлении этих двух троек. Три примера обозначают три позиции в истории ассимиляции. Экзистенциальные и творческие решения Осипа Рабиновича, Льва Леванды и Григория Богрова представляли собой опять-таки три типа, три возможности еврейских судеб имперской России точно так же, как и три судьбы писателей-евреев Исаака Бабеля, Ильи Эренбурга и Василия Гроссмана — в советское время, в советской империи. Именно в подобной симметричной

---

<sup>21</sup> Aizman; Ben-Ami; Bogrov; Frug; Grossman; Kozakov; Levanda; Rabinovich; Russian-Jewish Culture before 1917; Yushkevich. // The Blackwell Companion to Jewish Culture. Ed. by G. Abramson. Blackwell Reference., Oxford – Cambridge, 1989.; «Рассвет»; «Русско-еврейская литература». «Слущкий, Борис». // Краткая еврейская энциклопедия. Т. 7.; / И. Орен, Н. Прат. Иерусалим, Общество по исследованию еврейских общин – Еврейский Университет в Иерусалиме, 1994. кол. 85–89, 526–552. Т. 8., 1996. кол. 51–53.

<sup>22</sup> Письма О. О. Грузенберга И. А. Найдичу. // Еврейский журнал 1991, № 1, С. 80–82. = отрывок: 1992 «Не торопитесь ни соглашаться, ни отвергать». Раздел «Непрошедшее прошлое». Контакт 1992.1. С. 7–9.; В двух мирах. // Еврейский журнал, № 2, 1991, Мюнхен. С. 86–90.

<sup>23</sup> Shlosha dugmaoth. (Три примера: Бабель, Эренбург, Гроссман. На иврите). Тель-Авив, Hakibbutz Hameuchad 1994. 167 С.



композиции этих шести очерков, в дважды трех портретах, в сопоставлении XIX и XX веков, в бинарности начала и конца текстового корпуса русско-еврейской литературы вырисовывается фундамент той монографии Шимона Маркиша, которая так и не была создана. Причины этого даются уже в том (упомянутом в начале этого введения) авторском предисловии 1996 года (дополненном в 2001 году), которое не только начинается со слов «Когда книга будет напечатана», но и названо так. Да, это 'когда' звучит скорее в значении 'если'.

После исследовательского года в Будапеште (2000–2001) и выхода большой статьи о третьем отце-основателе, нелюбимом Григории Богрове, действительно всё было готово для книги. Однако, во вводных предложениях к статье о Богрове Маркиш прощается и со своей «родной» темой, как он распрощается в следующем 2001 году и с Эразмом (см. в томе 2)<sup>24</sup>.

Время подводить итоги.

Во всех смыслах, по всем линиям, в том числе — заканчивать с розысками (разысканиями? или, может быть, попросту с копаниями?) в русско-еврейской литературе.

Когда-то, четверть века назад, в начале копаний представлялось: вот напишу полную историю этой родной литературы или, на худой конец, очерки ее истории.

Не сбылось, не вышло.

---

<sup>24</sup> После этого в списке работ только повторные публикации или их переводные версии, публицистика и интервью, да ещё (после долгих лет) снова переводы, три книги, а в переводах основную роль играет чужой текст.

## РУССКО-ЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСААК БАБЕЛЬ<sup>1</sup>

**Б**абель прекрасно вписывается в советский литературный пейзаж 20-х годов. «Конармия» тематически стоит в одном ряду и с партизанскими рассказами и повестями Всеволода Иванова, и с «Чапаевым» Фурманова, и с «Разгромом» Фадеева, и с великим множеством иных сочинений о Гражданской войне. Ее натурализм и жестокость, буйство темных, стихийных сил, раскованная революцией, нисколько не примечательнее и не страшнее, чем у того же Всеволода Иванова или Артема Веселого. Ее цветистый слог нисколько не цветистее и не ярче, чем волшебная словесная ткань Андрея Платонова, или отважные эксперименты «Серрапионовых братьев», или неповторимый колорит «Тихого Дона». Бандитская экзотика «Одесских рассказов» и «Заката» находит себе параллель в общем интересе к преступному миру (например, «Конец хазы» В. Каверина или «Вор» Л. Леонова), а с другой стороны — к окраинным и «инородческим» (в том числе еврейским) сюжетам. Даже пресловутое молчание Бабеля, его катастрофически малая продуктивность после «Заката» (1928) и относительная слабость этой скупой продукции по сравнению с вещами 20-х годов суть лишь предельная форма болезни и кризиса всей советской литературы, открывшихся при переходе к 30-м годам. Сталин не обмолвился

---

<sup>1</sup> Впервые по-английски: *The Example of Isaac Babel. // Commentary, vol. 64, No 5, November 1977. С. 36–45.*; потом по-французски: *La littérature russo-juive et Isaak Babel. // Cahiers du monde russe et soviétique vol. XVIII. 1–2. С. 73–92.* По-русски напечатано впервые в книге: *Исаак Бабель. «Детство и другие рассказы».* Библиотека Алия: Иерусалим, 1979, С. 319–345. Позднее вышел и на иврите. Порядок глав — Бабель, Гроссман, Эренбург — следует тому же изданию. (*Примечание Ж. Х.*)

и не преувеличил, назвав 1929 год «годом великого перелома». Это был рубеж не только великих экономических и социальных потрясений (истребление крестьянства, индустриализация, начало нового самодержавия, начало нового, послереволюционного террора), но и коренной перестройки, реадaptации юной советской культуры. При всей слепоте и случайности «великих чисток», косивших направо и налево без разбора, им нельзя отказать в известной закономерности, о которой можно судить по результатам: уничтоженным оказалось, в первую очередь все выдающееся из ряда, не схожее с прочим, не способное проворно, без колебаний и возражений встать в стройные шеренги, ведомые партией. Есть, разумеется, и исключения, но не случайно, к примеру, что Тициан Табидзе и Павел Васильев сгинули, а Николай Тихонов и Александр Прокофьев сохранились и процвели. Не случайна и гибель Бабеля. Ему не было места в советской литературе 40-х и 50-х годов.

И однако же Бабель достаточно очевидно и резко отличается от своих литературных сверстников. Причины этого отличия — главный предмет интереса критиков и при жизни писателя, и после его официального воскрешения, посмертной реабилитации. Проще всего говорить о таланте, который всегда отмечен «лица необщим выражением». Есть веские резоны и в рассуждениях о жанровых поисках, об особом аспекте запоздалого романтизма, об особенностях характера и личной судьбы. Не отклоняя этих соображений и резонов, я хотел бы сосредоточиться целиком на одном обстоятельстве первостепенной важности — на принадлежности Бабеля к русско-еврейской литературе.

Я не имею в виду еврейское происхождение или еврейский склад ума Бабеля. Об этом писали и раньше, и в сравнительно недавнее время. Так, в прекрасной статье Павла Новицкого читаем: «У Бабеля — страстный, сухой и точный еврейский ум... Важная серьезность и сосредоточенная строгость мысли делают

его рисунок уверенным и острым»<sup>2</sup>. И еще: «Бабеля томит густая печаль воспоминаний. Прошлое («истлевшие талмуды его воспоминаний») цепко держит его в своей власти. Он не способен на суровые действия»<sup>3</sup>. Автор небольшой монографии о Бабеле Юдит Штора-Шандор придает важное значение еврейству Бабеля — религиозности, знанию идиш, детским и юношеским занятиям ивритом, Библией, Талмудом, верности еврейским традициям (бытовым и семейным), увлечению хасидизмом (которое, по мнению Шторы-Шандор, привело его к толстовству) — и заключает: «Именно благодаря еврейским занятиям Бабель, советский писатель, стал одновременно писателем еврейским. Сделавшись устами своих единоплеменников, но не замкнувшись в тесных рамках ограниченной общины, как писатели-идишисты, Бабель хотел доказать реальную возможность объединения душ — еврейской и русской»<sup>4</sup>.

«Еврейский ум» с украшающими эпитетами положительной окраски — похвала, а не объяснение. (Окраска может быть и противоположной, и тогда выходит брань, например: еврейский ум, алчный, безжалостный, изворотливый). Такую вольность, как «острый галльский смысл и сумрачный германский гений», вправе позволить себе поэт, но не критик. Я не вижу принципиальной разницы между умом Спинозы и Декарта, Кафки и Камю. В такого рода различениях есть и привкус расизма, и истерия диаспоры. Иное дело — еврейское наследие («прошрое»), сознательно усвоенное и принятое или сознательно же отвергаемое. Но Новицкий связывает с «прошлым» лишь слабость, нерешительность, а Штора-Шандор, произнеся ключевое определение «еврейский писатель», окружает его туманом недопонимания и даже прямого непонимания. Бабель не «стал» еврейским писателем, он им был изначально. Он не выбирал языка для своего творчества, как, скажем, Менделе Мойхер

---

<sup>2</sup> И. Э. Бабель. Статьи и материалы, Academia, Ленинград, 1928, С. 46.

<sup>3</sup> Там же, С. 68.

<sup>4</sup> Stora-Sandor, Judith, Isaac Babel: L'homme et l'oeuvre, Paris, 1968, p. 20.

Сфорим или Бялик, русскоязычная литературная традиция была для него не просто естественной, органической, но и единственно возможной. Что же касается оппозиции — «замкнутость идишистов — универсальность Бабеля», а равно и поисков объединения душ, то оба эти утверждения просто лишены смысла как с фактической стороны, так и, в особенности, методологически. Ко времени первых литературных опытов Бабеля русско-еврейская литература была уже сложившимся явлением. Она возникает вслед за первыми ростками еврейского Просвещения (Хаскалы) на российской почве. Движение это, стремившееся вывести еврейство из изоляции, из гетто, одну из главных своих задач видело в приобщении евреев к культуре, и прежде всего — к языку коренного населения. На родине Хаскалы, в Германии, немецкий язык усваивался быстро и успешно, как благодаря близости к идиш, так и в силу сравнительного (против России) материального благополучия еврейского населения. В Российской империи последователи Мозеса Мендельсона, отца Хаскалы, встречались с громадными трудностями. Но, вопреки ужасающей нищете и скученности еврейских масс, непоследовательной политике правительства, то покровительствовавшего, то препятствовавшего просвещению евреев, — в надежде на их ассимиляцию, в страхе перед «еврейским засилием», — и решительному повороту к стеснениям и ограничениям при Александре III, русско-еврейская литература развивалась сама и развивала своих читателей, расширяла их круг. Уже на стыке прошлого и нынешнего веков и, во всяком случае, в канун Первой мировой войны, русский язык стал еще одним языком еврейского рассеяния. Несмотря на решительное и даже несопоставимое преобладание идиш, известная часть еврейской интеллигенции и буржуазии (по преимуществу в Одессе, Киеве и Петербурге) уже была русскоязычной, существовала обширная и талантливая русско-еврейская публицистика, историография, беллетристика, наконец, выходили во множестве периодические издания и книги. Подъему русско-

еврейской литературы в начале XX века способствовал ново-рожденный сионизм: отрицая идиш, он принимал русский — как переходную ступень к возрождающемуся ивриту. Достаточно напомнить, как виртуозно владел русским словом Владимир Жаботинский.

Русско-еврейская литература дореволюционного периода была литературой на русском языке, создававшейся евреями для евреев и так или иначе сопряженная с еврейской тематикой. Даже если русско-еврейский писатель привлекал внимание русской читающей публики, он оставался за пределами собственно русской литературы, воспринимался как нечто чужеродное, экзотическое. Да так оно было и по сути. Ведь, несмотря на общность языка, африканский писатель-франкофон — чужак для француза и к французской литературе не принадлежит.

Революция изменила положение дел коренным образом. Оставляя в стороне перемены социальные и политические, перевернувшие жизнь российского еврейства, задержимся на одном обстоятельстве общего характера. Советская власть, действительно, создала новую, единую культуру, только не «социалистическую по содержанию и национальную по форме», как гласит официальная формулировка, а имперско-российскую, непрерывно вбирающую все лучшее (доподлинно или конъюнктурно — в данном контексте не имеет значения), что рождают провинции. Лишь русский перевод, исполнение на московских подмостках, показ на московском экране или московской выставке дают произведению искусства настоящую жизнь. И, за ничтожными исключениями, деятель любого искусства тянется к этой настоящей жизни. Возникает (разумеется, *mutatis mutandis*) любопытная аналогия имперской культуре Древнего Рима, которую творили объединенными усилиями и италийцы, и галлы, и испанцы, и африканцы, и греки, причем чем дальше во времени, тем более значительным становился вклад провинциалов в общее дело. Но то же и в советской литературе: сегодня, в начале седьмого десятка советской влас-

ти, советская литература непредставима без белоруса Василя Быкова, грузина Булата Окуджавы, абхазца Фазиля Искандера, киргиза Чингиза Айтматова (все они либо пишут по-русски, либо сами себя переводят на русский язык). И еще одна параллель с Древним Римом: как среди провинциалов были и Сенека, в творчестве которого испанское его происхождение никак не отразилось, и Апулей, эллинизированный североафриканец и в жизни, и в литературе, так и Окуджава — грузин лишь по имени, а Сулейменов — отчаянный казахский националист. Иначе говоря, у инородца, вступившего в имперскую русскоязычную литературу, национальный показатель колеблется в самых широких пределах, так что в крайних, предельных ситуациях возникают русско-инонациональные ветви; так, в случае с Олжасом Сулейменовым мы очевидным образом имеем дело с русско-казахской (или, возможно, русско-тюркской) ветвью советской литературы.

Все это необходимо иметь в виду, если мы хотим понять судьбу русско-еврейской литературы и ее роль в советское время. Как самостоятельное и обособленное культурное явление она была ликвидирована наряду с литературой новоеврейской (ивритской). Это была политически мотивированная, насильственная акция, один из важных ходов в борьбе большевиков против сионизма и национально-культурной автономии, последовательное осуществление большевистской программы, выдвинутой еще до революции. В течение 20-х годов повременные русско-еврейские издания постепенно закрылись, крупнейшие деятели русско-еврейской литературы умерли, ушли в эмиграцию, замолкли. Но с самого начала в русскоязычную советскую (имперскую) литературу вошло значительное число евреев. Многие из них никогда и никаким образом не проявляли своей принадлежности к еврейству, даже и в ту далекую пору, когда это не только не порицалось, но положительно поощрялось. Назовем в качестве примера прозаика Вениамина Каверина и поэта Александра Безыменского (уровень таланта в данном слу-

чае безразличен), для времен же более поздних особенно характерен Эммануил Казакевич, который начинал как писатель на идиш, а после войны перешел на русский язык, и во всем его русскоязычном творчестве нет и следов чего бы то ни было еврейского. Однако немалая часть русских писателей еврейского происхождения обнаруживала (и обнаруживает) национальные черты, опять-таки — в весьма различных дозах и формах, зависящих от общих обстоятельств и от личной судьбы каждого из них. Так, 20-е и 30-е годы особенно в этом отношении богаты (свежесть и непосредственность воспоминаний об обособленной еврейской жизни, отсутствие государственного антисемитизма), последние годы сталинского режима (пик антисемитского террора) — почти стерильны, со второй половины 50-х — новый подъем, но совершенно иной, чем в 20-е годы (взрыв ущемленного национального достоинства при скудости или даже полном отсутствии положительного национального самосознания, национального «багажа»). Но как бы ни были различны эти формы и дозы, произведения с еврейской ориентацией образуют известную общность, о которой мы вправе высказать, по крайней мере, два суждения:

1. она представляет собою первую по времени и — поныне — самую значительную инациональную ветвь в русскоязычной советской литературе;
2. несмотря на важные различия (важнейшим из которых следует признать органическую принадлежность к имперской литературе, неотторжимость от нее), она выступает прямой наследницей дореволюционной русско-еврейской литературы: изучать и толковать ее должно в связи — в противно- и сопоставлении — с этой последней<sup>5</sup>.

У истоков же русско-еврейской литературы советского периода стоит Исаак Бабель. Или, лучше сказать, он сам и был ее глав-

---

<sup>5</sup> В томе «Детство и другие рассказы» (1979), хранящегося в библиотеке Маркиша, здесь вычеркнуто 9 строк, С. 325.



ным истоком, надолго определившим и особенности ее, и развитие, и роль внутри советской литературы.

\* \* \*

Бытовая и культурная среда, из которой Бабель вышел, сыграла важную роль в его творческой биографии. Он вырос в Одессе, в зажиточной семье. (Здесь нелишним будет отметить, что многие детали в рассказах автобиографического цикла вымышлены от начала до конца: нет ничего от истины и в утверждении: «Я происходил от нищей и бестолковой семьи» — рассказ «В подвале».) Еврейское население, которое в год рождения Бабеля (1894) составляло треть, а в канун революции — половину Одессы, в значительной своей части далеко ушло от традиционной, замкнутой жизни старого еврейства. Разумеется, это был путь ассимиляции, но совсем не в том смысле, который вкладывается в это слово сегодня, а в прямом и первоначальном значении: *similis* — похожий, подобный; в сегодняшней терминологии скорее следовало бы говорить об адаптации или даже начальной ступени интеграции. Несмотря на погромы, гонения и ограничения, ситуация в какой-то степени напоминала американскую: сближение с окружающей средой при устойчивом чувстве национальной общности, с синагогою как центром скорее духовным и организационным, нежели собственно религиозным. Причем ситуация эта была уникальной для России, подобной атмосферы не существовало ни в каком ином центре новой еврейской культуры (Петербург, Киев, Вильно), независимо ни от политической и языковой ориентации, ни от объема культурной продукции. Не случайно так велик оказался вклад еврейской Одессы в зачинавшуюся советскую культуру.

В доме Бабелей, по словам сестры Исаака Эммануиловича, идиш был языком родителей, с детьми же говорили по-русски<sup>6</sup>. Возможно, так оно и было, — это достаточно характерно для тогдашней Одессы, — однако Бабель знал идиш настолько, что

---

<sup>6</sup> Stora-Sandor, op. cit., p. 19.

редактировал собрание сочинений Шолом-Алейхема в русском переводе<sup>7</sup>, выражал желание перевести «Тевье-молочника»<sup>8</sup>, и действительно переводил Давида Бергельсона (рассказ «Джиро-Джиро»). Но что еще важнее, он читал на идиш не только для дела, но и для собственного удовольствия — на своей даче в Переделкино под Москвой, вечерами, сидя у огня; в письме к матери он называет идиш «нашим языком»<sup>9</sup>.

Бабель учился в коммерческом училище, где «обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, поляки благородного происхождения, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов» («Автобиография»). В этой разношерстной школе, так же как в портовых кофейнях и бильярдных, он усвоил не только язык русской классики, но и полюбил на всю жизнь специфический одесский говор, полурусское-полуукраинское наречие (так Бабель определял его сам, прибавляя, что оно очень дорого его сердцу<sup>10</sup>), в котором до сих пор ощутимо сильное влияние еврейской интонации и фразеологии. В школе же выучился он и по-французски, настолько, что два года писал рассказы на этом языке. Но одновременно около десяти лет (с 6 до 16) изучал библейскую и талмудическую премудрость, так что смог авторизовать перевод на иврит шести своих рассказов (альманах «Берешит», 1926).

Штора-Шандор утверждает, что Бабель был религиозен. Это, скорее всего, неверно: слишком часто писал он и говорил публично, что Бога нет (см., например, речь на Первом съезде писателей, в конце), а подозревать Бабеля в двуличии или хотя бы в оруэлловском двоемыслии можно, только совсем не зная ни жизни его, ни сочинений. Но религиозные традиции были

---

<sup>7</sup> Babel. *The Lonely Years, Unpublished Stories and Private Correspondence*, New-York, 1964, p. 302; письмо от 1.3.1936; в дальнейшем — LY.

(В томе «Детство и другие рассказы» 1979 г., хранящегося в библиотеке Маркиша, здесь вычеркнуто 4 строки, С. 327. *Примечание Ж. Х.*)

<sup>8</sup> LY, p. 369; 2.12.1938.

<sup>9</sup> LY, p. 366; 20.9.1938

<sup>10</sup> LY, p. 347; 26.11.1937

неотделимую частью его природы всегда. Он исправно поздравлял родных с Осенними праздниками и Пасхой, не забывая упомянуть, что и сам празднует по мере возможностей, и сожалея, что возможности эти скудны, убоги<sup>11</sup>. Он справляется: ходила ли мама в синагогу<sup>12</sup> и, сам побывав в синагоге на Новый год в Одессе, сообщает: как все мне здесь до боли знакомо, я страшно рад, что пошел, и, как всегда, молился особым образом, особому, другому Богу, прежде всего, за вас (т. е. за мать и за сестру)<sup>13</sup>.

В этом «прежде всего» нет преувеличения. Любовь и привязанность Бабеля к семье, которая кажется удивительной, почти болезненной сегодняшнему человеку, — давняя и очень важная традиция еврейской диаспоры, и писатель четко понимал природу своих семейных чувств. Когда он говорит, что каждый миг и час разделяет страдания своих близких духовно и отдал бы все, чтобы разделить их физически, он разъясняет: видите, в какого классического еврейского семьянина я превратился<sup>14</sup>. То и дело вспоминает он в письмах и покойного отца; он клянется исполнить все, что обещал отцу, который ждал от детей не жалоб, а успеха, и потому мысли об отце придают сил и прогоняют отчаяние<sup>15</sup>. Сознательно принимая традицию, И. Бабель пытался хоть символически поддержать ее и в своей — разрушенной отъездом жены за границу — семье. Когда у него родилась в Париже дочь, он просил жену назвать девочку настоящим еврейским именем, но — напрасно: вместо Юдифи на свет появилась Наташа<sup>16</sup>.

Вполне понятно, что Бабель любил Одессу, как ни один город на земле, считал ее единственным местом, где он может по-настоящему работать, мечтал вернуться туда, в Москву же

---

<sup>11</sup> LY, pp. 78, 100, 213, 221, 280, 318, 342, 339.

<sup>12</sup> *ibid.*, p. 220; 2.10.1932.

<sup>13</sup> *ibid.*, p. 318; 17.9.1936.

<sup>14</sup> *ibid.*, p. 160; 8.2.1931.

<sup>15</sup> *ibid.*, p. 87; 28.1.1927.

<sup>16</sup> *ibid.*, p. 127; 23.7.1929.

приезжать только по делам<sup>17</sup>. Понятно, что каждый приезд в Одессу, пусть и обедневшую, и опровинциализующуюся, доставлял массу радости. Душа и мозг освежались. Одесский говор ласкал слух. На улицах подходили продавцы газет, мусора, дворники, приветствовали, заводили самые невероятные, только в Одессе возможные беседы. После театра, в котором он выступил с несколькими ничего не значащими словами, вдоль всей улицы стояли тысячи молодых людей, не давали проехать машине<sup>18</sup>. Понятно и нежелание эмигрировать, остаться на Западе с матерью, женой, сестрой. Помимо искреннего советского патриотизма (об этом речь пойдет дальше), слишком важным было ощущение принадлежности к российскому еврейству, к той культурной (в самом широком смысле слова) среде, которой не было нигде в мире и средоточием, квинтэссенцией которой была старая Одесса. Даже для такого в целом «пронзительного» писателя, как Бабель, необычно пронзительно звучат ностальгические строки об Одессе из коротенькой заметки «Багрицкий»:

Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...

Но еврейской предыстории, еврейских традиций и привязанностей самих по себе недостаточно. Писатель или художник, или актер может с нежностью и тоскою вспоминать свою еврейскую юность, предпочитать фаршированную рыбу с огненным хреном всем яствам и брашням, лакомиться мацой и даже заглядывать в синагогу раз или два в году — это еще никак не дает ему места ни в еврейской культуре, ни в еврейской энцикло-

---

<sup>17</sup> *ibid.*, p. 323; 23.10.1936.

<sup>18</sup> *ibid.*, p. 288–289; 19.9.1935; 19.10.1935.

педии. О принадлежности к еврейской культуре можно говорить лишь тогда, когда весь свой творческий путь или существенный его отрезок складывается под воздействием еврейского самосознания.

Для Бабеля момент осознания и выбора наступил довольно рано. Первый напечатанный им рассказ, «Старый Шлойме» (киевский журнал «Огни», 9 февраля 1913), посвящен еврейской трагедии: старик-отец кончает с собой, узнав, что сын решил креститься. Рассказ, однако, настолько слаб литературно, что о нем невозможно говорить всерьез. Намного интереснее два не публиковавшиеся при жизни писателя материала конца 1915 года — «Детство. У бабушки» и отрывок «Три часа дня», оба чисто еврейские тематически и, что гораздо важнее, по жизнеощущению. Первый из них — зарисовка одного дня, проведенного в доме бабушки. И самый дом, и уклад его, и хозяйка рождают в мальчике такой отклик: «Все мне было необыкновенно в тот миг и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться»<sup>19</sup>. Знакомый быт и атмосфера вдруг преобразуются, приобретая захватывающую остроту новизны и внушая разом и ужас (или, может быть, отвращение), и ощущение «своего», родного, неотделимого, неизбывного. По сути, тут — весь еврейский Бабель, корень его социальных и эмоциональных оценок, основа его эстетики. Еврейство, будь то неколебимо традиционное, местечково-хасидское, будь то городское, просвещенное и эмансипированное, воспринимается двойственно, наследие и принимается, и отвергается одновременно. А это исключает и бытописание, и апологетику, и обличительство, характерные для старой русско-еврейской литературы, и дарит свежий и изумленный взгляд со стороны. Именно отсюда — экзотика обыденного и низменного, фантастическая острота линий, надрывный вопль красок. Но отсюда же и одиночество, неизбежная межеумочность, невозможность прибиться к какому бы

---

<sup>19</sup> Литературное наследство, т. 74, М., Наука, 1965, С. 484.

то ни было берегу, обреченность быть всегда и для всех «другим». Позиция, дающая неоценимые художественные преимущества (которые Бабель и использовал с великим успехом до конца) и задолго предвосхитившая позицию лучших мастеров американо-еврейской литературы, от Генри Рота до Сола Беллоу и Филиппа Рота. Позиция последовательного и бескомпромиссного нонконформизма, обусловленного в данном случае национально; психологическая ситуация, достаточно характерная для послереволюционного российского еврейства, — вспомним знаменитый эпизод из «Хулио Хуренито» Эренбурга, где учитель предлагает ученикам выбрать между «да» и «нет» и все отдают предпочтение «да», рассказчик же избирает «нет». Позиция, которая могла быть обусловлена и иными — социальными, религиозными, этическими, политическими — мотивами, как, например, у Андрея Платонова, писателя, очень близкого Бабелю глубинно, несмотря на поверхностное несходство. Позиция, наконец, диаметрально противоположная позиции Эдуарда Багрицкого, программно отмечающего затхлое и проеденное молью еврейское наследие:

Я покидаю старую кровать.

Уйти?

Уйду!

Тем лучше!

Наплевать!

(«Происхождение»)

и литературного антипода Бабеля, несмотря на общую любовь к старой Одессе, несмотря на личную дружбу, на горячие похвалы, которые воздал ему Бабель в упоминавшейся выше заметке<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> В томе «Детство и другие рассказы» (1979), хранящегося в библиотеке Маркиша, здесь вычеркнут следующий (на мой взгляд, важный) абзац: «Отрывок «Три часа дня» комбинирует «бессюжетное лирическое повествование, насыщенное точными психологическими деталями, образуя»

Новизна позиции определяет новый подход к сюжетному материалу. Раньше невозможно было представить себе произведение русско-еврейской литературы на нееврейский сюжет. Теперь не меньшее, а, пожалуй, большее значение приобретает авторское отношение к материалу: двойной взгляд — изнутри и извне — углубляет изображение, сообщает ему объемность, которой оно не знало и не могло знать ранее.

Но если бы «извне» определялось только отрицательно, как «не изнутри», если бы «от всего хотелось бежать» означало побег в никуда, в пустоту, ни о какой объемности, бинокулярности не было бы и речи. Революция дала Бабеля вторую точку стояния, чувство второй принадлежности, такой же бесспорной, как первая. Выше я говорил, что даже самые лучшие, самые известные у нееврейского читателя русско-еврейские писатели оставались для этого читателя чужаками. Но писатель и сам чувствовал себя чужаком в русской литературе, гостем — не более. Советская русскоязычная литература была родным домом одинаково и для Бабеля, и для Всеволода Иванова, и я убежден, что преданность Бабеля советской власти, его любовь к Советской России, постоянные уговоры и заклинания, чтобы родные вернулись из эмиграции, особенно в 1934–35 гг.<sup>21</sup>, во многом связаны именно с этим. Возвратившись из своей первой заграничной поездки, он писал, что чувствует себя хорошо на родной земле; пусть здесь бедность, пусть много печального, но это его язык, его материал, единственное, что ему впрямую и до конца интересно<sup>22</sup>. Те же чувства и мысли сохраняли силу и в 30-е годы (так, он взахлеб пишет сестре и матери о челюскин-

---

щими второй план», и напряженный сюжет «с увеличенной нагрузкой на речь персонажа» (Литературное наследство, т. 74, М., Наука, 1965, С. 484). Таким образом, задолго до «Конармии» и «Одесских рассказов», но в одно время с общей позицией, и очевидно, в связи с нею были найдены (по крайней мере, в принципе) те выразительные средства и та манера, которые стали неотделимы от имени Бабеля». (С. 331.)

<sup>21</sup> LY, pp. 255, 267, 280281; 14.4.1934, 13.12.1934, 17.4.1935.

<sup>22</sup> *ibid.*, p. 106; 20.10.1928.

ской эпопее) — несмотря ни на что. Потому что, так же как еврейское наследие, советская жизнь была его законным достоянием: более того — его созданием. «Он показывал ей Россию с такой гордостью и уверенностью, точно эта страна была создана им, Борисом Эрлихом, и ему принадлежала. Впрочем, до некоторой степени так это и было — во всем — и в международных вагонах, и в отстроенных сахарных заводах, и в восстановленных железнодорожных станциях — была капля его меду, меду или крови комиссара корпуса червоного казачества». Этот абзац из отрывка «Еврейка» (начало 30-х годов) можно без колебаний отнести к самому Бабелю.

Понятно, что, пока эта двойственная опора не была обретаена, не было и настоящего Бабеля. Ранние его рассказы одинаково слабы — вне зависимости от темы — еврейской («Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна») или нееврейской («Мама, Римма и Алла»). Первой его удаче — «Конармии» — суждено было оказаться и самой крупной, потому что нигде больше не упирался он в обе свои опоры с такой уверенностью и силою.

Кирилл Васильевич Лютов, герой-рассказчик в «Конармии», — не Бабель, хотя писатель дал ему имя, под которым сам служил в Первой Конной корреспондентом армейской газеты. Лютов — это его половина, еврейская половина, иступленно жаждущая обрести вторую, революционную, большевистскую, но — не теряя первой. «Гedaли, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного Бога в стакане чаю?..» («Гedaли»). Еврейство — ориентир и точка отсчета в неистовом, яростном и кровавом, но вожденном и недостижимом мире революции. Гибель героя и мародера Трунова не имеют к галицийскому местечку Сокаль никакого отношения, кроме географического. Но Лютов подробно (конечно, в бабелевских масштабах подробного — в двух абзацах) рассказывает о древних синагогах и рваных лапсердаках, о шумных перебранках ортодоксов с хасидами и заключает: «Томясь печалью по Тру-



нову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горла-нил вместе с ними...» («Эскадронный Трунов»). Знаменитое «Учение о тачанке» завершается никак не связанным на первый взгляд с остальным текстом, а по сути дела, важнейшим абзацем о галицийском и волынском еврействе. Сын житомирского рабби, «последний принц в династии» и «красноармеец Брацлавский», член партии, щадившийся в синагоге отца, потому что не мог оставить мать, потом постигший, что «мать в революции — эпизод», усланный организацией на фронт и принявший под командование сводный полк, умирает от тифа на грязном полу редакционного вагона. В сундучке его все-все так же перемешано, как в недолгой биографии: мандаты агитатора и памятки еврейского поэта, портреты Ленина и Маймонида, страницы «Песни песней» и револьверные патроны». «Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок... И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата» («Сын рабби»). Красноармеец Брацлавский — не только брат, он двойник Лютова. Он отдал все, ничего не прося и не притязая ни на что, кроме революционной солидарности. Но он умирает в одиночестве, под сухими, равнодушными взглядами «казаков в красных шароварах» и «двух толстогрудых машинисток в матросках», вырванный рукою «брата» из толпы «тифозного мужичья», которое «катило перед собой привычный горб солдатской смерти... сопело, скреблось, летело вперед и молчало». Он был одинок и в этой толпе, и «брат» узнает его по одиночеству: единственный из всех он протянул руку за листовкой, остальные наперерыв хватили картошку, которую швырял им из вагона Лютов. Повествование в рассказе обращено к какому-то неведомому Василию, чье имя настойчиво, почти назойливо повторяется на двух страничках пять раз. В этой настойчивости — противопоставление: брат — чужой, которому, сколько ни толкуй, сколько ни окликай его по имени, все равно ничего не объяснить.

А рабби Моталэ Брацлавский, отец «красноармейца», — свой, хотя и не брат. И диалог его с Лютовым в рассказе «Рабби» — разговор людей, понимающих друг друга с полуслова. Радость, смех, веселье — вот чего ищет Лютов, добровольно извивающийся в корчах, крови и гное классовой борьбы, но того же ищет и рабби с учениками, и старьевщик Гедали, и потому похвала Гедали хасидизму звучит с убедительностью авторского суждения. Напротив, полемика с Гедали (в одноименном рассказе), поборником «сладкой революции» и «Интернационала добрых людей», звучит совсем неубедительно. На «абстрактный гуманизм» старьевщика Лютов отвечает всего двумя предельно краткими аргументами: 1) революция «не может не стрелять, потому что она революция»; 2) Интернационал «кушают с порохом и приправляют лучшей кровью». Но это аргумент-выстрел, аргумент — удар сапогом в лицо или под ребра! Однако главное опровержение Лютова — в другом: сразу за грозным напоминанием о порохе и крови следует приведенная выше жалобная просьба насчет еврейского коржика и еврейского стакана чаю. «Нету, — отвечает мне Гедали... — Нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней. Но там уже не кушают, там плачут...» Лютову некуда пойти. Старый мир, от которого он бежал, но который притягивает, не отпускает его, разрушен новым миром, к которому он рвется всей душой и который его не принимает и отпугивает своим уродством и кровожадностью. Одиночество и отчаяние интеллигента в революции — частая литературная коллизия 20-х годов — умножены на одиночество еврея, да к тому же еще еврея особого сорта, расколотого пополам в своем отношении к еврейству, как интеллигент расколот в своем отношении к революции. В результате по силе и напряженности трагического начала (неразрешимость конфликта) «Конармия» стоит едва ли не на первом месте среди книг о Гражданской войне.

Острота конфликта усугубляется беспощадной, категорически неспособной лгать острою видения, которая кажется временами эстетски холодной:

Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его за голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись («Берестечко»).

Но сама острота видения, в свою очередь, обусловлена отстраненностью, отчужденностью, которые часто балансируют на грани активной враждебности. (А иначе жалость к «своим» — будь то по крови, будь то по борьбе — заволокла бы взор, и рисунок потерял бы в жесткости.) В том же рассказе «Берестечко» еврейский быт выписан с неприязнью, отчетливо пропускающей даже в лексике («теплая гниль старины», «удушливый тлен» хасидизма, «традиционное убожество этой архитектуры» и т. п.) и столь же отчетливо, нарочито подчеркнутой контрастом: «Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских...» Мерзость запустения разоренного панского гнезда не шокирует Лютова. Детали описания (нимфы с выколотыми глазами, обрывок письма столетней давности) звучат высокой элегией.

Но еще острее и беспощаднее бывает взор, обращенный на товарищей по борьбе. Тут к отчужденности интеллигента прибавляется национальная отчужденность — и Лютов отшатывается в ужасе. Он хочет восхищаться и благоговеть, и отсюда, от головного этого желания, и романтическая фантазмагория пейзажей, и влюбленные портреты героев (как портрет Савицкого, начдива-шесть, в первом абзаце «Моего первого гуся»), но ра-

дужная пленка романтики рвется нередко, и тогда в разрывах видны «сырые пальцы» и «мясистое омерзительное лицо» другого героя, другого начдива-шесть — Павличенко («Чесники»). Еще отчетливей ужас — в сказах. Между рассказчиком и Лютовым — пропасть непонимания и страха. Со страхом и недоумением всматривается интеллигент Лютов в дикую, дремучую подозрительность дикаря («Измена»), но намного страшнее еврею Лютову изуверская жестокость «гоев», затаптывающих врага насмерть («Жизнеописание Павличенки»), способных на убийство из-за мешка соли («Соль»), на сыноубийство и отцеубийство («Письмо»). Неверно было бы видеть в этом только моральное превосходство, тысячелетия библейского «не убий!» (об этом целый рассказ — «После боя», в заключение которого Лютов «вымаливает у судьбы простейшее из умений — умение убить человека»), в этом и тысячелетия пассивного мученичества, забитости, запуганности гетто. Но как бы то ни было, сказы эти совсем другого типа, чем, допустим, у Лескова или Шолом-Алейхема, где автор сочувственно прислушивается к душевным движениям рассказчика, они скорее — как страшные сказки о Змее Горыныче. В конце «Письма», написанного под диктовку «мальчика нашей экспедиции Курдюкова», Лютов рассматривает семейную фотографию Курдюковых, и все они — горынычи, все — чудища: и будущий белый, «плечистый стражник Тимофей Курдюков... недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз», и будущие красные, «чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых». Тут уже никакая экзотика, никакая романтика не спасают. И напротив, восточная экзотика еврейской старины («Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях») в сказообразной миниатюре «Кладбище в Козине» внушает сочувствие, даже умиление. В роли рассказчика здесь выступает сам Лютов, и голос его сливается с авторским.

Но это — не более чем исключение. В целом, как уже было сказано, автор «Конармии» стоит над своим героем. Его двупозиционность не ведет к разладу и разброду. Несмотря на отстраненность, он все-таки свой в обеих стихиях: и в старой, и в новой, и в еврейской, и в советской. Он — не с Лютовым, которому надоели евреи Берестечка и который признается: «Я устал жить в нашей Конармии...» («Вечер»). Он поучает Лютова устами Гедали, но он же резко («с полной ясностью») обрывает его жалобы словами Галина: «Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку» (там же). Эта удивительная гармоничность в раздвоенности делает «Конармию» уникальной книгой как в советской, так и в русско-еврейской литературе. Она — и самое лучшее, написанное Бабелем, и самое еврейское, несмотря на нееврейский сюжет, потому что главный ее герой — еврейская неприкаянность и тоска, перед которой засветилась надежда избыть самое себя в великом общем деле. Что надежда несбыточна, что общее дело, «приправленное лучшей кровью», обернется бездонной кровавою топью, Бабель не знал, и упрекать его в этом нелепо.

Чисто же еврейские сюжетно вещи Бабеля оказываются, в известном смысле, менее еврейскими, как раз потому, что и двойственность позиции, и ее уверенная уравновешенность в них по сравнению с «Конармией» ослаблена, а то и вовсе отсутствует, как в раннем (1918 год) рассказе «Шабос-нахаму». (Это довольно бледный пересказ нескольких анекдотов или, скорее, устных новелл о Гершеле Острополере, еврейском варианте известного почти в каждом фольклоре героя-плута. Бабель, однако придавал своему первому и не нашедшему — несмотря на подзаголовок «Из цикла «Гершеле» — продолжения опыту особое значение, потому что в «Конармии» Лютов на вопрос рабби

Моталэ: «Чем занимается еврей?» — отвечает: «Я переключиваю в стихи похождения Герша из Острополя»).

«Одесские рассказы» писались, скорее всего, в одно время с «Конармией». Но не только тема в них иная, в них иной рассказчик и иная связь между рассказчиком и материалом повествования. Бабель рассказывает о гангстерской еврейской Одессе больше от первого лица, а однажды передает слово синагогальному служке Арье-Лейбу, который отзывается о рассказчике довольно презрительно («...на носу у вас очки, а в душе осень»). Однако и поэтика, и интонация, и эмоциональный фон всех четырех рассказов одинаковы. Рассказчик так же влюблен в жирную, сочную, мясистую, полнокровную и экспансивную Одессу налетчиков, богачей и кладбищенских нищих, как сам Арье-Лейб. Арье-Лейб говорит о богаче по прозвищу «Полтора жида»: «У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила» («Как это делалось в Одессе»). То же самое — с необходимыми поправками — мог бы сказать Бабель обо всей старой еврейской Одессе и старая Одесса — о нем. Свой среди своих, от тяги прочь, от раздвоенности остаются лишь условные очки на носу, противопоставляемые орлиной зоркости биндюжников, воров и Тартаковского.

Я вовсе не хочу как бы то ни было принизить достоинства «Одесских рассказов». Я хочу подчеркнуть только одно: несмотря на ошеломительные стилистические находки и новации, несмотря на ностальгию по недавнему, но уже невозвратному прошлому, несмотря на совершенно нового и неожиданного для русско-еврейской литературы героя-бандита, «Одесские рассказы» продолжают (и, пожалуй, завершают) бытописательскую традицию этой литературы дореволюционного периода, тогда как «Конармия» открывает новый период и закладывает новую традицию.

Четыре новеллы автобиографического цикла младше «Конармии» и «Одесских рассказов»: две из них автор датирует

1925-м и две 1930-м годом. Эти грустные еврейские новеллы о грустном еврейском детстве, с погромами, с нищетой, с сумасшедшей родней (как уже упоминалось, печальные события и детали вымышлены не меньше, чем наполовину), не отличались бы, в принципе, жанрово от обильных в русско-еврейской литературе детских и юношеских воспоминаний, если бы не то, что рассказчик смотрит на минувшее из другого, уже совсем нееврейского мира. Он не порвал с этим миром демонстративно и шумно, он просто вышел, выскользнул из него (на сей раз — действительно в некое «никуда») и смотрит назад со смесью ностальгии и страха, как большинство детей, которые стали взрослыми. Еврейство здесь — не тема, а фон, на котором разыгрываются трагедии ребяческой жизни: трагедии любви, обмана, унижения. Разумеется, все они сильно обусловлены фоном, тем более что в первых двух новеллах («История моей голубятни» и «Первая любовь») это погром, но сами трагедии универсальны, не связаны ни местом, ни временем, ни родом-племенем. А ядро, ось новеллы — именно в них, в универсальных трагедиях, и, быть может, поэтому рассказчик, сосредоточившись на своих давних страданиях, выписывает их с бабелевской напряженностью и пронзительностью, погром же, убитого деда Шойла, казаков и их лошадей, самих погромщиков, наконец, разглядывает взором ясным, невозмутимым и даже любующимся иногда. В этом контрасте — не только особая сила автобиографических новелл Бабеля, но важнейшее для еврейских литератур новейшего времени жанровое новшество.

Первая пьеса Бабеля, «Закат», играет исключительную роль во всей его литературной судьбе. Написанная в 1926 году, исправлявшаяся и доделывавшаяся в 1927-м, она вышла на сцену и в печать в канун «великого перелома». И общая атмосфера, и персонажи, и даже фабула предвосхищены «Одесскими рассказами». Но уже сама по себе перемена литературного рода — с эпического на драматический — производит переворот. Исчезает влюбленный в свой материал рассказчик, и то, что звучало

анекдотом, смачной городской новеллой, «хохмой», приобретает жуткую жизненную серьезность, становится трагедией. Достаточно припомнить сюжетный зародыш «Заката» в рассказе «Отец»:

В (винном) погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Но еврейскую тему нельзя считать неоспоримой собственностью еврейской литературы: назовем хотя бы такие общеизвестные примеры, как «Уриэль Акоста» Гуцкова и «Евреи» Чирикова. Вершиной русско-еврейской драматургии эту извечную трагедию конфликта поколений делает не столько доскональное знание и совершенное чувство среды, сколько извечно еврейский угол зрения, еврейская мудрость двухтысячелетней давности. Итог событиям подводит старик Бен Зхарья, «раввин на Молдаванке», шут и балагур, «хулиган и умница»:

День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но Бог имеет городских на каждой улице, и



Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!

Что такое эти прекрасные и грозные иносказанья, «крадущиеся издалека к цели, не всем видимой», как сказал бы сам Бабель («Конец богадельни»), что такое это высокое и надрывающее сердце примирение с неизбежным, как не вариация на непреходящую горечь и мудрость Экклесиаста: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать: время насаждать, и время вырывать насаженное...» («Книга Экклесиаста», 3, 1). Все в порядке, потому что «род приходит, и род уходит, а земля пребывает вовеки» (там же, 1, 4) — и рыдания Арье-Лейба над «иссеченным и запудренным» лицом Менделя есть доподлинный, в самом классическом, аристотелевском смысле катарсис. И когда он «плачет и смеется», вытирая слезы платком, который протянул ему Мендель, — это не истерика, а катарсис, обретение душевного равновесия и бодрости духа через созерцание чужой муки. Все в порядке, жизнь продолжается.

Но пьеса названа «Закат» не даром. Она — об уходящем, не о грядущем, о разрушении, о смерти. И емкий символ заката вмещает гораздо больше, чем крушение бывшего величия и запоздалых надежд биндюжника Менделя Крика, больше даже, чем упадок старой Одессы. Рушится весь старый уклад, прахом рассыпаются самые его устои. Как ни сомнителен Мендель Крик в роли патриарха, но он отец, а мы знаем, что такое отец в еврейской традиции и, в частности, а пожалуй, и в особенности, для Бабеля. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле» («Исход», 20, 12). «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти» (там же, 21, 17). «Перед лицом седого встань...» («Левит», 19, 32). А лицо старика отца разбито и рассечено свинцовыми кулаками сыновей.

«Восходит солнце, и заходит солнце...» («Экклесиаст», 1, 5). Каким будет восходящее солнце, какой мир оно осветит, Бабель еще не знал, трудясь над «Закатом». Но натяжкой было бы утверждать, что он плакал вместе с Арье-Лейбом над закатом еврейской старины, хотя и был привязан к ней не только душевно, но прямо-таки физиологически — пуповинным шнуром. И еще большею натяжкой было бы видеть в молодых бандитах Венчике и Левке карикатурную аллегория новых, революционных порядков. Однако едва ли можно сомневаться, что скорбь и тревога решительно преобладают в «Закате» над «пузырящейся жовиальностью» («Учение о тачанке»), «Одесских рассказов».

«Закат» оказался началом и бабелевского заката. «Великий перелом» переломил хребет и ему. Будут еще взлеты, и высокие, но уверенного, последовательного подъема больше не будет. В числе главных причин — уход с российской сцены еврейства, не Менделя Крика, а всего того еврейства, которое было Бабелю родным. Ассимиляция не шла, а летела, неслась сломя голову. К новым же формам еврейской жизни, допускаясь и поощрявшимся властями в конце 20-х и в 30-е годы, Бабель остался, по-видимому, равнодушен. О Биробиджане, сколько я знаю, он не говорит нигде. В 1931 году Общество землеустройства евреев-трудящихся хотело показать ему новые еврейские сельскохозяйственные поселения на Украине. Он упоминает об этом мельком, без всякого интереса, не сообщая, воспользовался ли в конечном счете этим приглашением или нет<sup>23</sup>. Идишистская культура его по-настоящему не привлекала и не занимала, несмотря на любовь к Шолом-Алейхему, связи с еврейским театром и дружбу с Михоэлсом<sup>24</sup>, добрые отношения с некоторыми еврейскими писателями. Русско-еврейский писатель потерял почву под ногами.

И взлеты его в последнее десятилетие главным образом сопряжены с еврейской темой или лютовским мировосприятием:

---

<sup>23</sup> LY, p. 161, 164; 19.6.1931, 15.8.1931.

<sup>24</sup> *ibid.*, pp. 279, 369; 31.3. 1935, 2.12.1938.

две последние новеллы автобиографического цикла (1930), превосходный рассказ «Дорога» (1932), чисто лютовский. Лютовским духом пронизан и бабелевский шедевр «Гюи де Мопасан», опубликованный в 1932 году, но по авторской датировке относящийся к 1920–1922 гг. Я решился бы отнести сюда же еще один замечательный рассказ, «Улица Данте» (1934), потому что эмоциональный ключ его — важнейший компонент рассказа — это безысходное одиночество («Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже»). К «Одесским рассказам» примыкают «Конец богадельни» (авторская датировка: 1920–1929, опубликован в 1932 году, с подзаголовком «Из Одесских рассказов») и «Фроим Грач» (предложен к напечатанию в 1933 году, опубликован посмертно). Правда, второй из них «взлетом» не назовешь, но их объединяет друг с другом (и отъединяет от «Одесских рассказов») мотив ухода, гибели и сожаления об ушедшем, особенно, вызывающе острого во «Фроиме Граче».

Особо следует остановиться на упомянутом выше отрывке «Еврейка». Если, как предполагают исследователи, это начало романа, то роман должен был быть о новой «еврейской ситуации»: о вырванных или выведенных революцией из черты оседлости, оторванных от местечковых корней и брошенных (или ворвавшихся) в гущу русской жизни, в Москву. Но дальше начала дело, по-видимому, не пошло. Умиряющее местечко выписалось легко — пожалуй, слишком легко, с гротесковой поверхностью. В это местечко Кременец приезжает из Москвы «красный маршал», чтобы увезти с собой овдовевшую мать. Резко — опять-таки: слишком резко — звучат многие мотивы еврейской половины Бабеля: конца, заката, гибели; сыновнего долга, сыновних любви и вины; «могучей страсти семейственности, которой столько столетий держался его народ»; еврейского страха, как бы ни пришлось расплачиваться долгим несчастьем за мимолетное благополучие. Уже в этой чрезмерной резкости, гротескной или плакатной, почти лозунговой, ощущается все та же утрата двойного видения. И словесная

ткань дрябла, уныла, далека от бабелевской напряженности и праздничности. Что же до «еврейской Москвы», то о ней Бабель не сумел сказать ни слова: на приезде в столицу повествование обрывается.

В 1935 году Бабель сообщает: «Я хотел бы поведать миру все, что знаю о старой Одессе, после чего смогу перейти к Одессе новой»<sup>25</sup>. На самом деле попытку такого перехода он предпринял уже раньше, в 1931 году, напечатав рассказ «Карл-Янкель». Но попытка была неудачной, и сам Бабель это понимал. В письме от 2.2.1932 он изумляется, что критика уделяет внимание такой чуши, прямо называет рассказ плохим<sup>26</sup>. Новая Одесса не дается писателю, потому что она не мила ему. Скандал вокруг обрезания новорожденного Карла-Янкеля — дутый не сам по себе, он дутый и фальшивый для Бабеля, писатель насилует себя, но фальши скрыть не может. Фальшь — и в Овсее Белоцерковском, заготавливающим жмых при содействии Балтского и Тираспольского укомов партии (он похож на положительного еврея у Эренбурга кошерно-советского периода, на какого-нибудь Осипа Альпера из «Бури»), и в кормлении младенца киргизкою, слащавой картинке из серии «нерушимая дружба народов СССР», и в пафосе заключительных восклицаний рассказчика. Зато нет фальши, хотя есть грубый гротеск, в «малом операторе» Нафтуле Герчике; посвященные ему полторы страницы — истинный Бабель лучших своих времен.

Все 30-е годы Бабель ищет новый стиль. Жалобами на мучительные трудности поиска полна и переписка, и публичные выступления. Не только новых форм выразительности искал он, но прежде всего иной атмосферы, иной среды, новой почвы под ногами. Однако за пределами русско-еврейской литературы удача не баловала его, хотя он и прекрасно знал свою страну, Советский Союз, и любил его преданно, горячо, и сам был любим, окружен друзьями повсюду, не только в Одессе, но и в

---

<sup>25</sup> LY, p. 270; 7.1.1935.

<sup>26</sup> *ibid.*, p. 202..

подмосковной деревне, донской станице, в Донбассе, в Кабардино-Балкарии...

Как уже сказано было не однажды, причины на то разные, и каждая достаточно серьезна, но, по-видимому, очень тяжело сказалась потеря двойственной позиции, двойственного видения. Его нет и не может быть, когда глядишь на совсем чужое, например, на высшую аристократию (пьеса «Мария»), даже если капризом революции в среду ее затесался еврей-спекулянт. Кстати, Горький, которому «Мария» справедливо не понравилась, писал Бабелю: «Особенно не нравится мне Дымшиц... Вы поставили его в позицию слишком приятную для юдофобов»<sup>27</sup>. Я полагаю, что Бабелю подобные опасения и в голову не приходили. Еврей-негодяй написан еврейским писателем с той же естественностью и безоглядностью, с какой русский писатель пишет русского негодяя: ни того, ни другого не тревожит, что могут сказать по этому поводу юдофобы или русофобы... С другой стороны, нет двойного видения и тогда, когда глядишь на созданное твоими же руками. В двух отрывках из несохранившегося романа о коллективизации («Колывушка» и «Гапа Гужва») Бабель правдив, т. е. верен себе, но отстраниться от материала, отступить в сторону и не способен, и не имеет права — и изображение теряет в резкости, выпуклости, глубине, пронзительности.

Бабель — важнейшая фигура в русско-еврейской литературе советского времени, модель еврейского писателя в современной русскоязычной культуре. Вся возрождающаяся и рождающаяся наново после Сталина русско-еврейская литература ориентируется и равняется на него. Подражать ему невероятно трудно, повторить его невозможно, как неповторима его участь, неповторимы и невозвратимы старая Одесса и российское еврейство начала века. Но можно сопоставлять, примерять, учиться. Едва ли кого сегодня соблазняет вторая точка стояния Бабеля — рус-

---

<sup>27</sup> Литературное наследство, Т. 70, М., Издательство АН СССР, 1969, С. 44.

ская революция. Но в чувствах его и взглядах прощупывается возможность еще одного «раздвоения», гораздо более соблазнительного. Речь идет примерно вот о каких противопоставлениях: замкнутость, жесткость, стесненность, гипертрофированный рационализм — открытость, раскованность, полнота чувства, радость существования. Об этом — ночной разговор в спальне стариков Криков («Закат», вторая сцена), когда Нехама грызет мужа: «У людей все как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются... А у нас?..» — а Мендель рычит в ответ: «Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...» В этом — корень худо скрываемого восхищения и налетчиками, и буйным, вредным чудаком Симон-Вольфом, и дедом Лейви-Ицхоком, бывшим раввином, потерявшим место за подделку векселей, «посмешищем города и украшением его» («В подвале», «Пробуждение»). В этом — и смысл концовки «Истории одной лошади», знаменитого абзаца, ставшего крылатым: «Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером... Нас потрясли одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Не отринуть традицию, не отвернуться от собственной истории. Не погрязнуть ни в приобретениях диаспоры, ни в ее мусоре, в кафтанах и шляпах, надменной хилости тела и казуистике многослойных комментариев. Но вырваться на волю, на простор, сорваться с цепи, узнать вкус, цвет, запах, упругость всего, чего нас лишили стены гетто, черта оседлости и та невидимая черта, которою обвели себя мы сами и в которой задыхаемся столетье за столетьем. И найти гармонию в раздвоенности<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> В томе «Детство и другие рассказы» (1979), хранящегося в библиотеке Маркиша, вычеркнута концовка, 7 строк (С. 345.) (Примечание Ж. Х.)



## ПРИМЕР ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА<sup>1</sup>

*Два предварительных замечания.*

*Прежде всего, я хочу выразить глубокую признательность друзьям и коллегам, которые прочитали рукопись этого очерка о Василии Гроссмани и чьи советы оказали мне помощь, часто поистине неоценимую: Раисе Орловой-Копелевой и Льву Копелеву (Кельн), Ефиму Эткинду (Париж), Жоржу Нива (Верхняя Савойя — Женева), Феликсу Ингольду (Цюрих), Хоне Шмеруку (Иерусалим). Библиографические справки, любезно предоставленные в мое распоряжение Марком Кипнисом (Иерусалим), существенно облегчили мою работу.*

*Во-вторых, я убедительно прошу читателей отнестись к примечаниям как к интегральной и совершенно необходимой части очерка. Материалы, собранные и представленные в примечаниях, я считаю не дополнительными, но полностью равноценными тем, что нашли себе место в основном тексте.*

---

<sup>1</sup> Впервые: по-французски: 1983 Le cas Grossman. Trad. Négrel D. Paris, Julliard – L'age d'Homme. 1983. 219 С. Текст публикуется по изданию: Пример Василия Гроссмана. // Василий Гроссман. На еврейские темы. 1–2. Т. 2. Иерусалим, Библиотека Алия, 1985. С. 341–532. Примечания перенесены с конца текста в подстраничные. Длинные примечания интегрированы в текст, сохраняя ранг примечаний — они достойны соответствующего места, см. конец вводных строк выше. (*Примечание Ж. Х.*)



Полезность примера определяется, по-видимому, его поучительностью, применимостью к опыту и кругу интересов тех, к кому пример обращен.

Жизнь и творчество советского писателя Василия Гроссмана, имя которого в его стране сегодня почти забыто, а за пределами Советского Союза прежде не было известно вообще, в высокой мере поучительны для самых различных людей. Дебютировав в начале 30-х годов как небесталанный представитель своего литературного поколения, его политических и эстетических убеждений и практики, он стал первым доподлинно инакомыслящим в советской литературе, создав в романе «Жизнь и судьба» (закончен в 1960, опубликован по-русски в Лозанне в 1980, переведен на французский, немецкий, итальянский, английский, шведский) историософскую и художественную концепцию, полностью противостоящую официальной идеологии со всеми ее догматами и мифологемами. Его писательский путь отмечен не только почестями и достатком вначале, опалой и бедностью под конец, но и обстоятельствами исключительными или, во всяком случае, до той поры беспрецедентными: рукопись романа была арестована как опаснейшая крамола, а крамольник не только остался на свободе, но и продолжал печататься — и в те немногие годы, что ему осталось прожить, и посмертно. Через шесть лет после кончины Гроссмана, в 1970, на Западе вышла повесть «Все течет...», писавшаяся параллельно с романом, и с тою же (если не большею) беспощадностью и бескомпромиссностью судящая революцию, ее плоды и корни, ее творцов — Ленина и Сталина. Из тайной крамола сделалась явной, однако и тут имя Василия Гроссмана не исчезает вполне с книжных обложек и газетно-журнальных страниц, хотя по силе отрицания революции и созданного ею режима Гроссман сопоставим лишь с Солженицыным.

Как это возможно? Оплотность руководителей идеологии или разумная, целесообразная линия? Как ушли на свободу рукописи автора, не имевшего, по видимости, никаких контактов с

заграницей и, судя по воспоминаниям друзей и знакомых<sup>2</sup>, очевидным образом боявшегося этих контактов? Как, почему, в какие сроки совершилась эта метаморфоза — превращение убежденного революционера и верного, надежного защитника режима, созданного революцией, в контрреволюционера и последовательнейшего противника советской власти? Какова внутренняя связь между «Жизнью и судьбой» — второй и «подпольной» частью дилогии — и первой частью той же дилогии, романом «За правое дело», напечатанным в журнале «Новый мир» в июле — октябре 1952 года и сперва восторженно превознесенным как образец социалистического реализма в военной прозе, но сразу же вслед за тем объявленным вражеской вылазкой, идеологической диверсией? Есть ли вообще какая бы то ни было связь между Гроссманом, существующим в Советском Союзе официально, как довоенным, так и послевоенным, и автором романа и повести, вышедших на Западе?

Все эти вопросы и еще много-много других непременно зададут себе люди, профессионально или по-любительски интересующиеся советским обществом, его культурой, советской историей, социальной психологией и психологией творчества. Ответы на них, даже гипотетические, будут, вне всякого сомнения, чрезвычайно поучительны.

В числе аспектов примера Василия Гроссмана есть один, возможно и не из главных, но самый главный и самый важный для автора этих строк. Это еврейский аспект.

Уже с конца прошлого века в русскую словесность начинают проникать евреи. После революции проникновение это приобретает массовый характер. Сегодня в московском отделении Союза писателей, по меньшей мере, треть — еврейского происхождения.

Возможны, опять-таки по меньшей мере, два взгляда на этот процесс — внутренний, т. е. взгляд, проникших и продолжающих

---

<sup>2</sup> В печати об этом рассказывает Наталия Роскина. См. Роскина, Наталия. Четыре главы, УМСА-Press, Париж, 1980, С. 122–124.

проникать, и внешний — коренной, русский взгляд. Последний колеблется, в довольно широких пределах, между двумя крайностями: еврейское нашествие погубило русскую литературу — прилив новых сил (сюжетов, идей и т. п.) благотворен. Обзор соответствующих высказываний, начиная от консервативной и либеральной прессы 900-х и 910-х годов и вплоть до нынешних дней (в самиздате, в эмигрантских изданиях), был бы, в свою очередь, поучителен.

Но автора этих строк занимает по преимуществу взгляд изнутри. Еврей по рождению, приобщившись к русской словесности, в большинстве случаев — речь идет о пореволюционной поре — ощущал себя как писатель вполне и совершенно русским, насколько и ни в чем не отличным от прочих русских писателей. Бабель со своим еврейским самосознанием был исключением, правилом можно считать Каверина, или Долматовского, или Безыменского, или Крона — вне зависимости от степени их одаренности или известности. Если иные и вспоминали изредка ту среду, тот мир, откуда они вышли, это была своего рода стилизация, экзотический «местный колорит», с которым писатель — в отличие от Бабея — себя не отождествлял, на который смотрел со стороны, с русской стороны. Война и сопутствовавшая ей гибель шести миллионов евреев оживили чувство принадлежности к народу-мученику настолько, что оно, это чувство, пробилось в русскую литературу во многих и часто неожиданных точках; для примера можно назвать Павла Антокольского и Маргариту Алигер. Но партийно-государственная идеология к этому времени (1946) окончательно повернула от интернационализма к шовинизму, открыто выразившему себя в борьбе с иностранщиной и низкопоклонством перед Западом», а затем (с 1949 года) — в антикосмополитской кампании. То, что официально именовалось «советским патриотизмом», было, по существу, русским шовинизмом. Манихейство тоталитарной идеологии неизменно требует конкретного символа, противостоящего идеалу, и таким «антиидеалом», вполне логично и разумно, в согласии с

исторической традицией, стало еврейское самосознание во всех его формах и любых проявлениях. Репрессии быстро вразумили неосторожных и неразумных, пробудившееся было чувство еврейской солидарности замолкло или забилося в самые потаенные уголки сознания.

В советской историографии есть термин — «год великого перелома»: так назвал 1929 год Сталин в статье, напечатанной к двенадцатой годовщине Октябрьской революции. Термин этот точен и верен (независимо от лживого содержания, которое вкладывал в него Сталин). Именно 1929 год переломил хребет и революции, и партии, и крестьянству, и всей жизни государства и общества, только-только начинавшей укладываться на развалинах прошлого. Какой бы скудной, суровой и несправедливой ни была эта Новая жизнь, та новейшая, что привел ей на смену «великий перелом», оказалась сверхновшеством — первой в европейской истории тоталитарной системой.

Точно так же «годом великого перелома» следует считать 1953 год. Смерть Сталина переломила хребет советскому варианту тоталитаризма. Какой бы нищей и уродливой ни выглядела жизнь Советского Союза сегодня, какой бы страх и неприязнь ни внушали советская агрессивность, экспансионизм, геронтократия, материальное и социальное неравенство, сеть привилегий, полицейский надзор, репрессии и проч. и проч., не замечать различия между Россиями горбачевской и сталинской, развития и перемен последних тридцати с лишком лет — неразумно и даже опасно. Едва ли не важнейшая из перемен — нарушение того единообразия во всем, которое было частью «символа веры» тоталитарного порядка вещей и официально именовалось «рфная масса, в которую превращает общество тоталитарный режим, вновь начала кристаллизоваться; появились если и не зародыши плюрализма в западном понимании, то хотя бы возможность инакомыслия по отношению к единственно верному» учению партии.

В этих обстоятельствах самосознание российского еврейства подверглось испытанию, из результатов которого широко известны лишь самый заметный — эмиграция. Что касается писателей, то, если крайние варианты выбора остались прежними, число промежуточных позиций увеличилось, а горечь и острота реакций возросли. В этом последнем отношении очень характерны строки Бориса Слуцкого, появившиеся в самиздате где-то в середине 60-х годов и все еще, по-видимому, не проникшие в печать:

### УРИЭЛЬ АКОСТА

Созреваю или старею —  
Прозреваю в себе еврея.

Я-то думал, что я пробился,  
Я-то думал, что я прорвался —  
Не пробился я, а разбился,  
Не прорвался я, а зарвался.

Я читаюсь не слева направо —  
По-еврейски: справа налево.  
Я мечтал про большую славу,  
А дождался большого гнева.

Я, ступивший ногою одною  
То ли в подданство, то ли в гражданство,  
Возвращаюсь в безродье родное,  
Возвращаюсь из точки в пространство.

Эта горечь отторжения, неприятия довоенному поколению была незнакома.

Тот же Борис Слуцкий характерен и в другом отношении. Его живейшая заинтересованность еврейскими проблемами, еврейской трагедией, еврейским бесправием в сталинской и постсталинской России не вызывает сомнений: самиздатовский цикл его «еврейских стихотворений» известен очень широко и отчасти напечатан на Западе. Но как русско-еврейский поэт он почти

никогда не сливается, не совпадает с русским поэтом Слуцким, не только существующим открыто, печатно, но и со знаменитым в свое время самиздатовским антисталинистом. Бабелевская бинокулярность видения<sup>3</sup> (еврей и русский-советский одновременно и на равных правах) сменилась раздвоенностью. У Слуцкого она не болезненна, еврейство и русскость идут параллельно, не мешая друг другу. У многих иных раздвоенность ведет к ненависти или самоненавистничеству, или к истерическим клятвам в вечной преданности России; особенно отчетливо это видно у эмигрантов последней волны<sup>4</sup>.

Возвратимся, однако, к примеру Василия Гроссмана. Путь этого писателя в указанном выше русско-еврейском контексте оказывается, при внимательном рассмотрении, моделью, по которой проверяются Многие пути и судьбы. Именно с этой целью, главным образом, и под этим углом зрения, в первую очередь, пишется этот очерк.

---

<sup>3</sup> См. об этом мою статью «Русско-еврейская литература и Исаак Бабель» // Бабель, Исаак, Детство и другие рассказы, Библиотека Алия, Иерусалим, 1979, С. 319 сл. Английский перевод — в журнале «Commentary», November 1977. Французский перевод - в журнале «Cahiers du monde russe et soviétique», 1977, № 1–2. (См. в данном томе. Примечание к примечанию автора — Ж. Х.)

<sup>4</sup> См., например, роман москвича Феликса Светова «Отверзи ми двери», Les Éditeurs Réunis, Париж, 1978, и стихотворения эмигранта Юрия Иоффе из цикла «Вне России», регулярно появляющиеся в различных периодических изданиях.

Подробности биографии Василия Гроссмана известны плохо. В монументальном своде автобиографий советских писателей, выпущенном после войны, места для Гроссмана не нашлось. Воспоминания о нем — во всяком случае, напечатанные — скудны и, в целом, однообразны. Судьба его архива неизвестна, да если бы даже удалось установить и самый факт существования гроссмановского архива, и место его нахождения, как к нему подобраться? Можно не сомневаться, что он наглухо закрыт не только для чужих, «западных» глаз, но и для своих, любопытствующих без соответствующего на то разрешения и одобрения. Столь же малодоступна возможность опросить тех, уже немногих, кто так или иначе был близок к писателю лично.

Приходится полагаться и опираться, в первую голову, на опубликованные тексты. Большой беды в этом нет, потому что подлинная биография писателя — в том, что он написал и напечатал. Но жаль, что мы не знаем даже того, например, получил ли он в своем родном Бердичеве хоть какое-нибудь еврейское воспитание<sup>5</sup>.

Да, он родился в Бердичеве<sup>6</sup> — как будто нарочно, как на грех! Всякий, выросший в Советском Союзе, знает особый запах

---

<sup>5</sup> Под еврейским воспитанием я не имею в виду только воспитание религиозное, но приобщение к еврейской культуре в любых формах. Единственная деталь, которую мне удалось найти, — это то, что, видимо, не только сам Гроссман, но уже и его родители не знали идиш: «И в Люблине... я не встретил ни ребенка, ни женщины, ни старухи, говоривших на языке, на котором говорили мой дед и бабка». Очерк «В городах и селах Польши» (июль 1944) в книге: Гроссман, В., Годы войны, ГИХЛ, М., 1945. С. 406. Этому не противоречит недавно полученная из Москвы и заслуживающая всяческого доверия информация (источника я, по вполне понятным причинам, не называю): «Он хорошо понимал, но плохо говорил на идиш».

<sup>6</sup> Так единодушно утверждают все печатные источники. Но в частном сообщении из Москвы, на которое я ссылаюсь в предыдущем примечании (в дальнейшем я буду называть его «Московское письмо»), говорится:

самого слова «Бердичев» запах еврейского анекдота, чаще злобного и грязного, чем безобидно смешного. «Бердичев» был (и остается) в числе нескольких универсальных символов российского животного антисемитизма наряду с передразниванием еврейской картавости и «мифологемами» еврейской нечистоплотности и еврейской трусости. Гроссман родился в Бердичеве 12 декабря 1905 года и прожил там, с перерывами, до 1921.

Реальный Бердичев 900-х–910-х годов, разумеется, мало чем напоминает анекдотический. Это город, который в течение двух с половиной веков, вплоть до гибели Польши в 1793, давал приют одной из самых больших и значительных еврейских общин Восточной Европы и гордился прозвищем «Иерусалим на Волыни». Знаменитый цадик Лейви-Ицхак (Леви Ицхак), герой многочисленных хасидских легенд, был раввином в Бердичеве в конце XVIII и начале XIX столетия и остался в нашей истории под именем «Бердичевского». В первой половине прошлого века Бердичев занимал положение еврейской столицы Юго-Западного края; здесь были крупные торговые фирмы, сравнительно просвещенный зажиточный класс. Из Бердичева вышла семья Рубинштейнов, давшая России братьев-музыкантов Антона и Николая, первый из которых основал консерваторию в Петербурге, а второй — в Москве. В то же время Бердичев был твердыней хасидизма, оплотом еврейского сопротивления европейскому образованию и тяге к эмансипации и ассимиляции. На рубеже нынешнего века<sup>7</sup> евреи составляли 80 процентов

---

«Гроссман родился в семье социал-демократа (кстати — в Женеве, где его отец, инженер-химик, жил в эмиграции)...» Женевский государственный архив, где неупустительно отмечены все рождения, независимо от вероисповедания, этого не подтверждает. Не удалось найти и следов пребывания в Женеве Семена (Соломона) Гроссмана. За всем тем никак не исключается, что Василий Гроссман действительно появился на свет за границей: такую деталь биографии в 30-е — 50-е годы старались спрятать всеми возможными средствами и не открывали никому, кроме самых близких людей.

<sup>7</sup> О Бердичеве до революции см. Еврейская энциклопедия, т. IV, СПб., б. д., столбцы 211– 213 (статья Юлия Гессена).



бердичевского населения. Накануне Первой мировой войны и в военные годы большим влиянием пользовался Бунд — настолько большим, что в 1917–1919 гг. и во главе общины, и во главе городского самоуправления стояли бундовцы. В царское время погромы миновали Бердичев, зато 5–6 января 1919 здесь состоялся один из первых погромов на независимой Украине под властью Директории: 17 человек были убиты и 40 ранены, многие сотни (если не тысячи) — ограблены и избиты<sup>8</sup>. Гроссману было тогда четырнадцать лет. Не стоит забывать, что большевики положили конец не только независимости Украинской народной республики под водительством социал-демократа Петлюры, но и погромам, которые за годы 1917–1921 унесли десятую часть всего украинского еврейства (около 150000). Погромы и погромщики в несравненно большей мере, чем что бы то ни было иное, внушили евреям любовь к новому, большевистскому режиму и преданность ему<sup>9</sup>.

После революции и Гражданской войны бывшая черта оседлости начала пустеть. Сократилось число евреев и в Бердичеве — вместо прежних 80 процентов только половина от общего числа жителей. Вот как вспоминал сам Гроссман о своем родном городе в 1945 или 1946 году, когда от прежнего Бердичева не осталось уже и следа:

Еврейское население жило дружно с русским, украинским и польским населением городов и окрестных сел. За все время существования города в нем не было никаких национальных эксцессов.

Еврейское население работало на заводах: одном из крупнейших в Союзе кожевенном заводе им. Ильича, на машиностроительном заводе «Прогресс», Бердичевском сахарном заводе, на десятках и сотнях кожевенных,

---

<sup>8</sup> Les pogromes en Ukraine sous les gouvernements ukrainiens (1917–1920), Paris, 1927, P. 5–37, et Annexe N 16.

<sup>9</sup> Gitelman, Zvi Y., Jewish Nationality and Soviet Politics, Princeton University Press, Princeton, 1972, P. 158–168.

сапожных, шапочных, металлообрабатывающих предприятий, на картонажных фабриках и в мастерских. Еще до революции бердичевские мастера мягких туфель — «чувяков» — пользовались большой славой, их продукция шла в Ташкент, Самарканд и другие города Средней Азии. Так же широко известны были мастера модельной обуви и специалисты по производству цветной бумаги. Тысячи бердичевских евреев работали каменщиками, печниками, плотниками, ювелирами, часовщиками, оптиками, пекарями, парикмахерами, носильщиками на вокзале, стекольщиками, монтерами, слесарями, водопроводчиками, грузчиками и т. д.

В городе имелась многочисленная еврейская интеллигенция: десятки опытных старых врачей — терапевтов, хирургов, специалистов по детским болезням, акушеров, стоматологов; были бактериологи, химики, провизоры, инженеры, техники, бухгалтеры, преподаватели многочисленных техникумов, средних школ, были учительницы иностранных языков, учителя и учительницы музыки, воспитательницы, работавшие в детских яслях, садах, на детских площадках<sup>10</sup>.

Несомненно, эти долгие перечни есть заклинание мертвых и одновременно последняя почеть мученикам. Но очевидно и другое: никакого другого Бердичева, кроме советского, в памяти Гроссмана не было. И этот первый вывод, который я позволяю себе сделать, имеет, как мне кажется, большое значение. Еврейская тема у Гроссмана разрабатывается исключительно на уровне современности, не знает исторических корней и традиций, как не знает их, по-видимому, и сам писатель, — в отличие от русско-еврейской литературы прошлого, в отличие от Бабеля.

В 1921 году шестнадцатилетний Василий Гроссман поступает в институт в Киеве, потом переходит в Московский университет, учится химии. После университета он четыре года (1929–1933) работал в Донбассе — на шахте, в областном институте патологии

---

<sup>10</sup> «Черная книга», Иерусалим, 1980, С. 27 (очерк «Убийство евреев в Бердичеве»).

и гигиены труда, в медицинском институте. В 1933 году переехал в Москву, поступил инженером на карандашную фабрику. к этому времени он уже несколько лет как писал и печатался. Среди самых первых публикаций был очерк «Бердичев не в шутку, а всерьез»<sup>11</sup>, появившийся в последнем номере журнала «Огонек» за 1928 год. Газетно-журнальными материалами (очерками, случайными корреспонденциями) были и прочие первые литературные опыты Гроссмана. Однако в Москву он привез уже и рукопись первой повести — «Глюкауф», из жизни донецких шахтеров. Повесть попала в руки Максима Горького, который, после возвращения из эмиграции, уделял массу времени молодым и очень многим помог «выйти в писатели» (заслуженно или нет — это вопрос особый). Повесть Горький разругал, но автора назвал «человеком способным»<sup>12</sup>. Гроссман переделал «Глюкауф» и на сей раз угодил патриарху советской литературы: в конце 1934 года повесть увидела свет.

Разбор этой повести (или романа, как называл «Глюкауф» сам Гроссман) находится за пределами моей темы. Замечу только, что она ничем не отличается от остальных примеров обильной в ту пору «производственной прозы», воспевавшей индустриализацию и ее успехи. Перечень этих примеров едва ли поможет уточнить место, которое занимает среди них повесть Гроссмана; причина тут самая простая — все они, без исключения, прочно забыты читателем, хотя иные и перепечатываются в многотомных собраниях сочинений корифеев социалистического реализма. Дело, видимо, даже не столько в фальши или прямой лживости описаний<sup>13</sup>, сколько в историческом опыте, карди-

---

<sup>11</sup> Я этого очерка не читал. Сведения заимствованы из: Русские советские писатели прозаики, Библиографический указатель, том I, Л., 1959, С. 614.

<sup>12</sup> Цитирую по: Бочаров, А., Василий Гроссман, Критико-библиографический очерк, М., Советский писатель, 1970, С. 1.

<sup>13</sup> Фальшь и ложь лучше всего открываются, когда сравниваешь «производственные романы» 30-х годов с написанными на ту же тему и, главное, на том же материале произведениями конца 60-х - начала 70-х годов. Было бы очень поучительно детально сопоставить, скажем, «Время, вперед!»

нально изменившем перспективу описываемых событий. Бесмысленность трудовых подвигов и трудового энтузиазма на «великих стройках социализма» сегодня не менее очевидна, чем такая же бессмыслица самозабвения, с каким кладет шлакоблоки солженицынский Иван Денисович<sup>14</sup> в лагерной зоне, на сталинской каторге. А ведь в свое время этот «блуд труда» — по гениальному определению Осипа Мандельштама<sup>15</sup> — вызывал умиление у многих и в Советской России, и на сочувствующем «советскому эксперименту» Западе.

В отзыве о первом варианте «Глюкауф» Горький писал: «Автор рассматривает факты, стоя на одной плоскости с ними; конечно, это тоже «позиция», но и материал и автор выиграла бы, если б автор поставил перед собою вопрос: зачем он пишет? Какую правду утверждает? Торжества какой правды хочет?»<sup>16</sup> Напечатанным вариантом Гроссман ответил на все вопросы учителя с неупустительностью первого ученика. Он утверждал правду последнего, сегодняшнего номера «Правды». В повести «отражены» и косность старой гвардии инженеров, и переход лучшей ее части на сторону большевиков, и продажность рабочей аристократии, с которой, как всякому надлежало знать, беспощадно боролись и Ленин и Сталин, и счастье крестьянина, влившегося на шахте в ряды пролетариата (что раздело его до гола, лишило последнего куса хлеба и вышвырнуло в Донбасс — об этом, понятно, ни слова), и т. д. и т. п. Не осталась без освещения и международная обстановка: через образы двух зарубежных спецов — слесарей, монтирующих купленный в Германии

---

Валентина Катаева (1932) и роман Николая Воронова «Юность в Железнодорожье» (1969), изображающие строительство Магнитогорского комбината.

<sup>14</sup> Солженицын, Александр, Собрание сочинений, том 3, YMCA-Press, Вермонт — Париж, 1978, С. 67 сл.

<sup>15</sup> «Пусть это оскорбительно, — поймите: / Есть блуд труда, и он у нас в крови». Эти строки (из стихотворения «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето...») написаны в 1931 году. См. Мандельштам, О., Стихотворения, Л., Советский писатель, 1974, С. 158.

<sup>16</sup> Цитирую по: Бочаров, А., ук. соч. С. 353.

вентилятор, показана слабость немецкой социал-демократии, этой предательницы рабочего класса, разоблаченной и Коминтерном, и лично Сталиным, что также надлежало знать всякому. Не ударил лицом в грязь дебютант и по части штампов социалистического реализма, например — в любовной сцене, где она толкует о чувствах, а он о шахте (ч. 2, гл. 7). Словом, Горький недаром одобрил переработанный текст повести.

Но Горький и в тридцатые годы был не только законодателем и верховным судьей соцреализма, он сохранял и вкус, и любовь к словесному художеству, и потому так же точно недаром угадал в молодом Гроссмане человека способного. Ужас крестьянина, впервые оказавшегося под землей, написан сильно, ярко, убедительно (ч. 1, гл. 4). Удачным представляется мне также эпизод именин — с диким пьянством, со скандалом, с первыми искрами чувства молодой хозяйки и виновницы торжества к приезжему слесарю немцу (ч. 1, гл. 9).

Впрочем, интерес Горького к Гроссману был вызван не производственной повестью. Гроссман рассказывает<sup>17</sup>: «В апреле 1934 года в "Литературной газете" был опубликован мой первый рассказ "В городе Бердичеве". Горький прочел этот рассказ и в мае пригласил меня к себе в Горки». После «Глюкауф» не пригласил, а после рассказика в полтора десятка страниц — пригласил. И — опять-таки недаром.

Комиссар батальона Вавилова, — «вроде и не баба, с музеем ходит, в кожаных брюках, батальон сколько раз в атаку водила, и даже голос у нее не бабий»<sup>18</sup>, — забеременела и должна вот-вот рожать. Она получает отпуск на сорок дней и поселяется в «реквизированной комнате... на Ятках, так назывался в городе базар»<sup>19</sup>. Там она и рождает, а тем временем красные отступают,

---

<sup>17</sup> Там же, С. 8.

<sup>18</sup> Гроссман, Василий, Повести. Рассказы. Очерки, Воениздат, М., 1958, С. 88–89. Я сверил текст этого последнего прижизненного издания с первой книжной публикацией (Счастье. Рассказы, М., Советский писатель, 1935): правки практически нет.

<sup>19</sup> Там же, С. 89.

оставляя город полякам. Вавилова соглашается переждать оккупацию, которая, по заверениям ее начальника, продлится не больше месяца, но не выдерживает и уходит из Бердичева с последним красным отрядом, оставив новорожденного на руках квартирохозяев.

«Позиция» автора не вызывает сомнений: красные, безусловно, хороши, добры, честны; расстаться с крохотным сыном Вавилону побуждает внезапно нахлынувшее воспоминание о речи Ленина на Красной площади. И все же, я думаю, не только идейная однозначность рассказа привлекла внимание Горького.

Гражданская война была, вероятно, главной темой советской литературы в первые два десятилетия ее истории. Все аспекты, все подходы к теме, кроме впрямую антисоветских, были испробованы и использованы. Писали и о младенцах. Пожалуй, самым известным вариантом этого сюжета в 20-е годы было «Дите» Всеволода Иванова — история о том, как в партизанском отряде, где-то в Монголии, вдруг появляется грудной ребенок (родители, белые, убиты партизанами), и чтобы спасти его от голодной смерти, партизаны делают налет на киргизский аил и увозят кормящую мать с ее собственным малышом; потом им начинает казаться, что киргизка перекармливает своего в ущерб «приемышу», и они решают: «Пущай, бог с ним, умрет... киргизенка-то... Мало их перебили, к одному...»<sup>20</sup> На фоне этой звериной жестокости<sup>21</sup>, столь характерной для партизанских повестей и рассказов Всеволода Иванова, дебют Гроссмана казался андерсеновской сказочкой, рождественской притчей. А время кровавой правды миновало, наступило время сусальной лжи.

Но я вовсе не хочу сказать, что рассказ Гроссмана лжив. Просто точка зрения изменилась — Всеволод Иванов, десятью

---

<sup>20</sup> Иванов, Всеволод. Избранное, Харьков, Пролетарий, б. д., С. 183. После войны 1941–1945 этот рассказ не перепечатывался ни разу, ни в многочисленных «Избранных» Вс. Иванова, ни в собраниях сочинений.

<sup>21</sup> В Москве говорили, что Сталин восхищался этой жестокостью и что «Дите» было его любимым рассказом.

годами старше Гроссмана, был очевидцем и участником, Василий Гроссман вглядывается в историю, успешную подернуться дымкой государственного мифа. И эта новая точка зрения созвучна новым требованиям времени. Чисто же литературно рассказ сделан очень уверенно, умело, местами почти мастерски, и уж, во всяком случае, намного профессиональнее, чем «Глюкауф». Горький не мог не оценить этого.

Мастерски выписан, в частности, общий фон — бердичевский базар:

Весь день на Ятках кипел котел: мужики торговали белыми, точно вымазанными мелом, березовыми дровами, бабы шуршали венками лука, старухи-еврейки сидели над пухлыми холмами связанных за лапки гусей. Покупательницы дули на нежный пух меж лап и щупали жир, желтевший под теплой, мягкой кожей птиц.

Темноногие дивчины в цветных хустках носили высокие красные горшки, через край полные земляникой, и испуганно, точно собираясь убежать, глядели на покупателей. С восторгом торговали желтыми заплаканными комьями масла в пухлых листьях зеленого лопуха.

Слепой нищий, с белой бородой волшебника, молитвенно и трагично плакал, протягивая руки, но его страшное горе никого не трогало — все равнодушно проходили мимо. Баба, оторвав от венка самую маленькую луковку, бросила ее в жестяную мисочку старика. Тот ощупал луковку и, перестав молиться, сердито сказал: «Щоб тобі диты так на старість давали», — и снова протяжно запел древнюю, как еврейский народ, молитву.

Народ продавал, покупал, щупал, пробовал, поднимая глубокомысленно глаза вверх, точно ожидая, что с голубого нежного неба кто-нибудь посоветует, покупать ли щуку или лучше взять карпа. И при этом все пронзительно кричали, божились, ругали друг друга, смеялись<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Гроссман, В., Повести. Рассказы. Очерки, С. 91.

В подробной, неторопливой картине мирного изобилия нет не только хотя бы намек на трагедию, но даже драматического напряжения. Все спокойно, ласково и чуть лениво — как украинский пейзаж, как певучая украинская речь. И когда от коммерции мы переходим к войне, то и тут все остается, по сути, покойно и неподвижно:

Весь город лежал в подвалах, погребях, охал и стонал от страха, закрывал глаза, сдерживал в беспамятстве дыхание.

Все, даже дети, знали, что бомбардировка эта называется артиллерийской подготовкой и что, прежде чем занять город, войска выпустят еще несколько десятков снарядов. А потом, все знали это, станет неимоверно тихо, и вдруг, звонко цокая копытами по широкой улице, со стороны переезда промчится конная разведка. И млея от страха и любопытства, все будут выглядывать из-за ворот, занавесок, покрываясь испариной, выползая во двор.

Отряд выедет на площадь. Лошади будут приседать и храпеть, всадники возбужденно перекликаться на изумительном, простом, человеческом языке, и начальник, радуясь смирению навзничь лежащего, побежденного города, пьяно закричит, бахнет из револьвера в жерло тишины, подымет лошадь на дыбы.

И тогда со всех сторон польются пехотные и конные части, по домам забегают пыльные, уставшие люди, добродушные, но способные к убийству хозяйственные мужики в синих шинелях, жадные до обывательских кур, полотенец и сапог.

Все знали это, так как город четырнадцать раз переходил из рук в руки и его занимали петлюровцы, деникинцы, большевики, галичане, поляки, банды Тютюника и Маруси, шальной «ничей» девятым полк. И каждый раз это было, как в предыдущий<sup>23</sup>

Положительно, невозможно поверить в «страх» и «беспамятство». Не о том речь, верно или неверно «отражена действительность»: художник создает свою «действительность», никогда

---

<sup>23</sup> Там же, С. 101.



не совпадающую с доподлинной, исторической, и неразумно было бы укорять Гроссмана за то, что он не вспомнил о десятках убитых, сотнях изувеченных, изнасилованных, ограбленных. Важно одно: Бердичев Гражданской войны для Гроссмана — не «град истребления» (как назвал Хаим-Нахман Бялик Кишинев, постигнутый погромом 1903 года), а это значит, что в писательском взгляде его нет ничего специфически еврейского. Для сравнения вспомним, каким взглядом смотрит на города и местечки Украины Бабель в «Конармии».

При всем том фон колоритен и даже оригинален: несхож с обычными — от Серафимовича до Гайдара — картинками. Зато еврейские фигуры на этом фоне лжеколоритны, оттого что банальны. Еврейская семья, в которой поселяется Вавилова, — сплошь штамп, избитый шаблон: крикливость, добродушие, чадолюбие, гостеприимство, поверхностный оптимизм. Даже портреты в один-два штриха, и те штамп: «Вокруг стояли дети Магазики, семь оборванных кудрявых ангелов, и смотрели черными, как ночь, глазами на Вавилову»<sup>24</sup>. И опять-таки не об укорах речь: начинающий писатель, если только он не талант первой величины, неизбежно тянется к штампам. Но штампы появляются в первую очередь там, где писательский интерес слабее, и в этом отношении еврейские штампы показательны.

Дебют Василия Гроссмана позволяет сделать любопытные и важные для нашей темы наблюдения.

Молодой писатель обращается к недавней истории своего родного города, и это вполне естественно. Несмотря на еврейский колорит и обильный еврейский бытовой материал, рассказ «В городе Бердичеве» не имеет, однако, никакого отношения к русско-еврейской литературе<sup>25</sup>. Рассказ чисто русский, в крайнем

---

<sup>24</sup> Там же, С. 90.

<sup>25</sup> Под русско-еврейской литературой я понимаю еврейское литературное творчество на русском языке, т. е. творчество русских писателей, еврейская «ангажированность» которых составляет основную черту их литературной деятельности. См. Львов-Рогачевский, В., Русско-еврейская литература, М., Новая Москва, 1922. См. также мою статью: О русско-еврейской литературе.

случае — с уклоном в областничество<sup>26</sup>. Едва ли можно сомневаться, что автор ощущает себя русским советским писателем — и только. Едва ли можно сомневаться и в том, что он ощущает себя «реалистом», т. е. стремится быть как можно ближе к «правде жизни». Обратим внимание на одну малозаметную для неискушенного глаза деталь. Глядя, как Вавилова бежит за отрядом красных курсантов (в финале рассказа), Магазаник говорит: «Вот такие люди были когда-то в Бунде. Это настоящие люди, Бэйла. А мы разве люди? Мы навоз»<sup>27</sup>. Уже и в 1934 году упоминать Бунд в столь восторженном контексте было непросто и даже небезопасно: бундовцы, по государственной идеологии, — не герои, а враги трудового народа, агенты буржуазного национализма в рабочем движении. Но Гроссман сохранил это упоминание и в переиздании 1958 года. Легко себе представить, какой борьбы с бдительностью редакторов и цензоров это ему стоило.

Но самое важное для нашей темы наблюдение формулируется, в нарушение законов формальной логики, отрицательно: Василий Гроссман не испытывал ненависти к еврейской почве, из которой вырос, не стыдился местечкового опыта и местечковой психологии и не отмежевывался от них. Важно оно потому, что достаточно многие из числа русских писателей еврейского происхождения эти чувства испытывали — по тем или иным причинам — и обнаруживали — в той или иной форме. Два самых известных примера — это Осип Мандельштам («Шум времени»)

---

(Предварительные замечания) // Festschrift Fairy von Lilien feld, Erlangen, 1982.

<sup>26</sup> См. статью Н. Пиксанова «Областные литературы и литературное областничество» // Литературная энциклопедия, т. 8, М., Советская энциклопедия, 1934, столбцы 160–165, где дается следующее определение: «Под областной литературой разумеют совокупность литературных явлений и организаций, объединенных территориально той или иной областью, краем, большим провинциальным городом и культивирующих черты местного своеобразия».

<sup>27</sup> Там же, С. 103.

и Эдуард Багрицкий («Происхождение»)²⁸. И это спокойствие взгляда, незнание стыда говорят о том, что чувство принадлежности к России, к Советской России, и к русской литературе было органическим, не нуждалось в доказательствах и подтверждениях. А с другой стороны, и областнический уклон в рассказе лишь чуть намечен: еврейский колорит не приводит к экзотике и стилизации, какие можно найти у некоторых авторов конца 1920-х — начала 30-х годов, например у Матвея Ройзмана, особенно в романе «Минус шесть» (1928), ныне забытом, но в свое время очень популярном. И это еще одно свидетельство, что особой еврейской темой для начинающего Гроссмана не существовало.

Горьковское благословение сразу сделало Гроссмана профессиональным писателем (он тут же бросил свою карандашную фабрику) и активным участником литературной жизни столицы. Рассказ за рассказом появляются в журналах «30 дней», «Знамя», «Красная новь», в «Литературной газете», а в конце 1935 года выходит первый сборник рассказов Гроссмана под названием «Счастье». Двенадцать рассказов сборника подтверждают то впечатление, которое производит двойной дебют — «Глюкауф» и «В городе Бердичеве»: в советской прозе появился еще один способный и идейно выдержанный писатель. Рассказ, который дал название сборнику (впервые напечатан в «Литературной газете» 26 апреля 1934, т. е. через три недели после «В городе Бердичеве»), — эпизодик из жизни секретаря обкома в Сибири, который буквально убивает себя работой, так что высшее начальство силой отправляет его в дом отдыха. Но в первую же ночь неотложные дела требуют его назад. По дороге к железнодорожной станции приходится остановиться, шофер возится в

---

²⁸ О стихотворении Багрицкого «Происхождение» и главе «Хаос иудейский» из книги «Шум времени» Мандельштама писали много. Позволю себе отослать читателя к моей статье «Еще раз о ненависти к самому себе» в журнале «Двадцать два», № 16, Тель-Авив, 1980, С. 177 сл.

моторе, герой слышит стук в степи, и шофер объясняет: это молотят трактором в колхозе.

Безбородов хрипло переспросил:

— Колхоз? Трактором молотят?

И вдруг радость, ни с чем не сравнимая, охватила его.

Здесь, ночью, в предгорьях Алтая, глядя на далекий костер и прислушиваясь к стуку двигателя, он, как никогда, понял все: и громадные, темные домны, и тяжелые трактора, и весь в сизом табачном дыму свой ночной кабинет в обкоме, и великую радость и смысл своей жизни<sup>29</sup>.

На трудовой энтузиазм, с которым мы уже встретились в «Глюкауф», накладываются еще два мотива. Первый — новая элита: старые большевики, дореволюционные подпольщики, герои Гражданской войны, ставшие начальством. Второй — деревня, прошедшая через коллективизацию. Энтузиазм и старая гвардия, впрочем, играют и будут играть роль несравненно более важную, чем колхозная деревня. Все эти мотивы разрабатываются в неуклонном соответствии с генеральной идеологической линией, и никакие события, никакой жизненный опыт этой неуклонности не изменяют: вплоть до позднего бунта Василий Гроссман ни словом не обмолвится ни об агонии крестьянства в начале тридцатых годов, ни о подлинной судьбе старой гвардии, сгинувшей в сталинских чистках. Какая тут психологическая подоплека? Только ли ложь, рожденная страхом, да нет! не страхом — космическим ужасом террора? Я полагаю, что все не так примитивно, что Гроссман, как и многие иные, был зачарован не одним лишь ужасом, но и «возвышающим обманом» творимой утопии. Я хочу привести целиком лучший рассказ сборника — это всего одна страничка.

---

<sup>29</sup> Гроссман, В., *Счастье*, Советский писатель, М., 1935, С. 43.

## ЕЩЕ О СЧАСТЬЕ

Как-то мне пришлось ждать поезда на станции Лозовой. С чувством безнадежности я глядел на стрелки станционных часов. Полутемный, высокий вокзал напоминал пустой аэропланый сарай. Вдоль стен спали пассажиры. Смутно белели на темных одеждах спящих матерей полуобнаженные животы и ноги ребятишек.

Сонный стрелок, одетый в длинную кавалерийскую шинель, ходил вдоль зала. Кассир, выглядывая из окошечка, разговаривал с толстым железнодорожником в белом кителе. Они начинали смеяться, и тогда живот железнодорожника упруго трясся, а кассир скрывался за окошечком и смеялся так, точно его душили и он судорожно выкрикивал о помощи.

Станционная дверь скрипнула, и в зал вошла старуха. Крадучись, осторожно раздвигая сумрак, точно камыш, она приближалась ко мне.

Из дыр в ее одежде выступало немощное дряблое тело, почти такое же темное, как ее лохмотья. Ей, видно, не приходило в голову счистить толстую кору засохшей грязи, покрывавшую ее босые ноги. Она ерзала по скамье и чесала руками шею и бока.

Старуха, по-видимому, не замечала меня. Голова ее втянулась в плечи, рот был полуоткрыт, темные, с тусклым блеском глаза глядели упорно и тяжело. Казалось, она мучительно старалась вспомнить что-то важное, решающее.

К нам подошел стрелок. Он минуту постоял молча около нас и тихо, лениво, но внятно сказал старухе:

— Марш отсюда. Старуха не двигалась.

— Сказано, здесь сидеть нельзя, — и он легонько толкнул ее прикладом.

Старуха поднялась и пошла к выходу. Стрелок, глядя ей вслед, зевая, сказал:

— Сумасшедшая, не разрешают ей в помещении вокзала.

Снова скрипнула дверь. Я думал о том, кому нужна эта безумная старуха, кому она дорога? Как ужасно одиночество позднего вечера человеческой жизни, как страшна

нищая старость. И я решаю: ей нужно лечь на рельсы. Умереть.

Я выхожу из вокзальной залы. Синяя ночь прекрасна. Вдруг я слышу смех, придушенный, едва слышный смех. Он становится громче, так смеются счастливыцы. Да, я знаю этот неторопливый, радостный смех. я выхожу из-за дерева. Старуха, сидя в мягкой пыли привокзальной площади, купаясь в синеве и золоте южной ночи, смеялась радостно и детски, глядя на темное небо<sup>30</sup>.

Откуда взялась нищая и сумасшедшая старуха на украинском вокзале в начале тридцатых годов?

Да скорее всего, почти наверняка — из мертвой деревни, которую через тридцать лет с такою силой напишет тот же Василий Гроссман в повести «Все течет...». Но тридцать лет спустя от дурмана утопии не останется ничего, и Гроссман напишет одни только факты, которые в своей лаконичной сухости бьют наповал. В начале же своего писательского пути он, не пряча факта и не украшая его, выводит его в иной контекст, в иную, если можно так выразиться, систему координат. И, как мы видим, контекст этот совсем не обязательно должен быть пропагандистской фальшивкой. В результате получается прекрасно, мастерски сделанная зарисовка с философской окраской.

Вторая действительность, взятая сама по себе, вызывает восхищение, но рассматриваемая на фоне первой, на фоне подлинных событий тех лет, представляется вопиющей ложью.

Впрочем, и в контекстах, четко окрашенных идеологически, таланту Гроссмана случается побеждать схему, создавать фигуры, ситуации, детали, полные силы и высокого трагизма. «Запальщик» (впервые в журнале «30 дней», 1934, № 7) — вариант на тему трудового энтузиазма или, лучше сказать, фанатизма труда. Герой-шахтер смертельно болен, но ему без различны и болезнь, и измены жены: в жизни для него не существует ничего, кроме работы, он не уходит в отпуск, не просит бюллетеней.

---

<sup>30</sup> Там же, С. 32–33.

Когда же чувствует, что подошел конец, то, из последних сил, встает с постели, спускается в забой и остается там навсегда, подорвав последние в своей жизни запалы.

Образ сбит плотно и точно, не только без сентиментальности, но и без жалости к герою, без попытки внушить симпатию к его «трудовому героизму», формула которого убедительна при всей своей незамысловатости (к тому же следует иметь в виду, что это последние, предсмертные мысли запальщика): «Разве он хотел каких-то небесных даров, или прибавки жалованья, или новой квартиры? Да нет же, только одного — он хотел дожидаться того дня, когда, вместе с камнями, динамит выбросит тяжелые глыбы каменного угля. Он хотел палить бурки в своей шахте?»<sup>31</sup>. И отличный контраст к этой бесспорно духовной, а потому высокой одержимости — плотская заземленность жены:

Жена — полная, налитая, горячая, спала тут же рядом. Каждый раз, касаясь ее, Васильев вздрагивал от отвращения. Она напоминала ему жирную белую свинью, отмытую кипятком.

Прислушиваясь к тому, как она сопит во сне, Васильев морщился, а когда она начинала вдруг шлепать слюнявыми губами, тихонько ругался. Каждый раз, в одно и то же время ночи, она вставала и, сонная, шла в кухню. Она громыхала ведром, возвращаясь, что-то бормотала, зевала с завываньем и тотчас опять засыпала. Васильев закрывал глаза, чтобы не видеть этой красивой, молодой, полуголой бабы. Она была ему противна до рвоты.

Вскоре после того, как он заболел, жена сошлась со счетоводом из конторы горного цеха, Праксиным. Но это ему было безразлично. Он даже не сказал ей, что знает об этом<sup>32</sup>.

Дарование ясно ощутимо и в рассказе «Товарищ Федор» (впервые в журнале «30 дней», 1935, № 1), где в канун февральской

---

<sup>31</sup> Там же, С. 29.

<sup>32</sup> Там же, С. 20.

революции, под чужим именем, умирает в больнице от чахотки профессиональный революционер. Мысли и рассуждения о смерти и самого Федора, и, особенно, его соседа по палате обнаруживают и способность к пронизательному «анализу души», и вкус к философским размышлениям, которые позже станут у Гроссмана страстью, и не всегда благотворной.

В остальных рассказах сборника схема, как мне видится, берет верх над талантом. О чем бы ни шла речь — о тяжелой промышленности, о военной академии, мировой войне, римской истории или первобытном племени — отовсюду торчат ослиные уши лозунгов и марксистских догм: классовая борьба превыше всего, искусство принадлежит народу, герои Гражданской войны должны упорно осваивать науки и т. п. Чтобы не быть голословным, приведу абзац из «Жизни Ильи Степановича» (впервые в журнале «Знамя», 1934, № 11). Важный «командир производства», в прошлом революционер-подпольщик, прошедший через тюрьмы, ссылки и эмиграцию, работает до изнурения, день и ночь. К нему, в Москву, приезжает мать, которую он не видел десять лет — и он забывает встретить ее. Мать обижена, хотя и ни словом не упрекает сына. На другой же день тот отправляется в командировку, на открытие нового мартеновского цеха. Он смотрит как течет сталь.

И по радостному холоду, по сладкой боли в груди Ильи Степанович вдруг понял, что вот он, меч, о котором мечтал десятилетний мальчишка, меч, которому суждено совершить подвиги, побольше тех, что делали рыцари Круглого стола, меч, выкованный ими всеми, молча стоявшими в мартеновском цеху, ими, клавшими тяжелые камни фундамента нового дома. «Вот мать нужно было привести сюда», — подумал он... и ему показалось, что если бы она была тут с ним, на лице ее никогда не появлялось бы выраженье глубокого, ей самой непонятого, злого упрека, выраженье, пугавшее и даже сердившее его.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Там же, С. 16.



Я остановился подробно на первом сборнике Гроссмана, уклоняясь от своей главной темы, потому что в нем хорошо различимы основные особенности довоенного Гроссмана. До начала войны он напечатает еще десять рассказов и две маленькие повести. Почти все появятся сперва в журналах, а потом войдут в три книжные публикации — 1935, 1937 и 1938 годов. И снова мы встречаемся с двумя противостоящими группами, без третьей, переходной: либо с вещами очень слабыми, либо с удачами, литературные качества которых едва ли можно отрицать или оспаривать.

К числу первых принадлежат обе повести — «Кухарка» (впервые в журнале «Новый мир», 1937, № 9) и «Повесть о любви» (впервые в журнале «Знамя», 1937, № 8). Это бытовая проза с легкой примесью производственной (в «Кухарке»). Прислуга, весь свой век переходившая от хозяев к хозяевам, поступает на завод и счастлива безмерно в трудовом коллективе, а хозяева-мещане, несправедливо ее выгнавшие, посрамлены и наказаны: жена изменяет мужу, а муж уволен по сокращению штатов. Инженер-химик, в недавнем прошлом простой рабочий, женится — и очень счастлив, тем более что и вокруг себя, выехавши в командировку в Донбасс, он видит разительные, счастливейшие перемены (а время действия обозначено: 1933, когда на Украине еще не умолк голодный вой коллективизированной деревни!). Вот образчик авторского комментария из «Кухарки»: «Впервые в жизни встретила она с чувством рабочего товарищества, рожденным большим, сложным и тяжелым трудом, с чувством, коему в наше время суждено определять отношения всюду, где судьба ни столкнула бы человека с человеком.»<sup>34</sup> А вот рассуждения героини (безусловно положительной) о любви при социализме:

Вот об этом у нас никто не думает, а за годы революции произошла одна очень интересная вещь: раньше средняя девушка чаще обманывалась, она влюблялась в опере-

---

<sup>34</sup> Гроссман, В., Кухарка, ГИХЛМ, 1938, С. 39.

точных актеров, офицеров, всяких дураков, пустых краснобаев, была ужасная путаница, а вот теперь, — ну, как тебе сказать, — у нас у всех есть правильный идеал мужчины. Сейчас влюбляются гораздо больше в хороших людей, глубже как-то все сделалось, ближе к правде...<sup>35</sup>

Самое печальное — то, что и после войны автор не стыдился этих повестей и намеревался их переиздать<sup>36</sup>.

Из десяти рассказов лучший — «Мечта» (впервые в журнале «Знамя», 1935, № 10), о Гражданской войне, сделанный почти с бабелевской жесткостью, без идеологии и демагогии. Однако для нашей темы, а равно и для перспективы гроссмановского развития намного важнее другой рассказ той же тематики — «Четыре дня» (впервые в журнале «Знамя», 1936, № 1). Три красных командира застревают на четыре дня в городке, занятом поляками, потом находят связь с подпольем и благополучно спасаются. Один из них — еврей Фактарович (в последующих изданиях — Факторович), фанатик революции, слабый и неловкий, предельно непрактичный, но именно он находит выход из безнадежного, казалось бы, положения. Его аскетизм, поставленный на службу пролетарской идее, но восходящий к вере, к хасидскому презрению к плоти (в позднем цаддикизме) и питающийся верою же, хотя и другого толка, вызывает у автора и должен внушать читателю не сочувствие, но уважение. «Он презирал свое немощное тело, покрытое черной вьющейся шерстью. Фактарович не жалел и не любил его — не колеблясь, взошел бы он на костер, повернулся бы чухлой грудью к винтовочным дулам. С детства одни лишь неприятности приносила ему его слабая плоть... Он научился, презирая свою плоть, работать с высокой температурой, читать Маркса, держась рукой за раздутую флюсом щеку, говорить речи, ощущая острую боль в кишечнике. Да, его никогда не обнимали нежные руки»; и дальше:

---

<sup>35</sup> Там же, С. 150.

<sup>36</sup> См. Бочаров, А., ук. соч., С. 49.

И, может быть, потому, что голова его горела, он заговорил безудержно и громко о великой социалистической революции. и странное дело — хотя детские кальсоны смешно сползали с его живота, а верблюжья голова изможденного иудея тряслась на нежной шейке, и хотя за темным окном раздавался равномерный ужасающий гул молча идущих полков, не было сомнений, что сила на стороне этого верующего человека<sup>37</sup>.

Что автор не разделяет и не одобряет одержимости Фактаровича, видно и по многим деталям его внешности и поведения, и по скрытой, но достаточно понятной оценке некоторых его чувств и поступков. Так, хозяйка дома, где прячутся красные, домовитая, запасливая, но необыкновенно добрая, помогающая всем без отказа, вызывает восхищение автора, он любит ее добротой, тогда как для Фактаровича все это — лишь ненавистное «мещанство», «либерализм».

Этот сытый, спокойный и ласковый дом напоминал ему детство. Марья Андреевна характером очень походила на одну его тетку — старшую сестру отца. И он вспомнил, как два года назад, будучи следователем чека, он пришел ночью арестовывать ее мужа — дядю Зяму, веселого толстяка, киевского присяжного поверенного. Дядю приговорили к заключению в концентрационном лагере до окончания гражданской войны, но он заразился сыпняком и умер, и Фактарович вспоминал, как тетка пришла к нему в чека, и он сказал ей о смерти мужа. Она закрыла лицо руками и бормотала: боже мой, боже мой, совсем так, как это делает Марья Андреевна.

Да, с тех пор он не видел ни отца, ни матери, ни сестры. И сегодня он вспомнил их — может быть, они все умерли уже?<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Гроссман, В., Четыре дня, ГИХЛ, М., 1936, С. 55–56, 58.

<sup>38</sup> Там же, С. 66–67.

Очевидно, семья отреклась от неумного чекиста дядеубийцы; образ его в художественной системе рассказа, по меньшей мере, амбивалентен, а временами — мерзок. И это приобретает особое значение, когда мы сравниваем Фактаровича с его литературным прототипом — «красноармейцем Брацлавским» из рассказов Бабеля «Рабби» и «Сын рабби», впервые опубликованных в 1924 году и вошедших в «Конармию». От Бабеля тут почти все, вплоть до парафразированных словесных деталей: «исчахшего семита» у Бабеля — «изможденного иудея» у Гроссмана. Только Бабель — через Лютова, рассказчика<sup>39</sup>, — безоговорочно преклоняется перед своим героем, называет его «последним принцем», провозглашает свое родство с ним («...я принял последний вздох моего брата»<sup>40</sup>). Различие углов зрения русско-еврейского и русского писателей обнаруживается вполне наглядно.

В «Четырех днях» есть два чрезвычайно любопытных абзаца философического свойства. В городе, занятом поляками, наступают мирные дни. «Да, город зажил мирной жизнью; может быть, эта мирная жизнь и была самым страшным в годы гражданской войны, более страшным, чем кровавые ночные бои у переправ, чем красный террор защищавшейся революции, чем голод и пожары.

Но обыватели не томились своей страшной жизнью, они не понимали смысла шедшей борьбы, и не много сердец сжималось тоской при мысли, что спокойствие, обещанное полковником Падральским, установится на долгое время»<sup>41</sup>.

Среди самых страшных проявлений войны назван красный террор, белого же в этом списке нет; но во главе списка стоит равнодушие обывателя, ко всему мгновенно привыкающего, со всем покорно смиряющегося, — будь то террор объявленный, как

---

<sup>39</sup> О соотношении Бабель — Лютов см. мою статью о Бабеле, указанную выше.

<sup>40</sup> Бабель, И. Сын рабби // Бабель, И., Избранное, ГИХЛ, М., 1957, С. 146–147.

<sup>41</sup> Гроссман, В., Четыре дня, С. 62

после покушения на Ленина и убийства Урицкого в августе 1918, или необъявленный, как после убийства Кирова в декабре 1934, но бушевавший всюду уже в следующем, 1935, в том самом году, когда писались «Четыре дня». Страсть к обобщениям и умозрениям, о которой я уже упоминал, дважды подставит Гроссмана под тяжелейшие удары идеологической дубины — в 1946 и 1953. Но именно ей, не в меньшей мере, чем личным, житейским обстоятельствам, он будет обязан своим прозрением в 50-е годы, ибо в таких абзацах, как приведенные выше, уже заложены семена крамолы. Следует обратить внимание на то, что до войны двусмысленность в философическом облике могла проскочить сквозь сито цензуры, а после войны это стало невозможным, и не только в черные сталинские, но и в «светлые» хрущевские годы: приведенные абзацы наличествуют в изданиях 1936 и 1938 годов, но исключены в сборнике 1958 года. Я думаю, что если бы злополучная пьеса «Если верить пифагорейцам», написанная, по свидетельству автора, незадолго до войны, до войны же и увидела бы свет, она не доставила бы автору никаких огорчений. Но об этом — позже.

Когда оглядываешься на раннего Гроссмана с высот позднего — «Жизни и судьбы», «Все течет...» — с повышенным интересом всматриваешься в старых большевиков, ищешь черточек будущего Мостовского, Крымова, Абарчука, Льва Меклера. Комиссар в «Четырех днях» так же все на свете знает и так же притягивает все сердца, как Михаил Сидорович Мостовской. Но это штамп, «благополучная» половина Мостовского, героя не столько «Жизни и судьбы», сколько «За правое дело». Комиссар из «Весны» (впервые в сборнике 1936 года, датировано 1935 годом) очерчен резче, смелее: «Комиссар русской революции, он был суровой и суше комиссаров Конвента, он пришел в жизнь из тюрьмы, партизанившие командиры боялись его больше, чем врага, у него была какая-то чертова сила, он умел быть и бывал

жесток так, что товарищи пугались его...»<sup>42</sup> Вот отсюда уже прямой путь к тем, кто не знал сомнения и жалости, а потом, при Сталине, оказался сперва не удел, а после и в ГУЛАГе и там либо покаялся в смертном, неискупимом грехе, либо окончательно остервенел в нераскаянном своем изуверстве, и путь этот пролегает через авторскую переоценку непоколебимости комиссара Ладогина из рассказа «Весна».

С Ладогиным связан эпизод, имеющий некоторое значение и для нашей темы. Комиссар попадает в плен к петлюровцам. Его допрашивают.

Человек, снова покашляв глубиной горла, спросил.

— Вы еврей?

И Ладогин вдруг узнал в нем своего старого, старого знакомого, задававшего ему этот вопрос в участке, в конторе тюрьмы, в жандармском управлении, и какое-то острое, почти физическое ощущение радости прошло по всему телу, когда он подумал, что Петербург, Москва, вся Россия уже не в этих руках, что допрашивать ему приходится не в столичных городах, в домах, похожих на дворцы, а в бревенчатой комнате какой-то безвестной деревни и что борьба идет не в подполье, а открыто и широко, среди полей и лесов<sup>43</sup>.

Понятия «старый режим» и «антисемитизм» совпадают. Разумеется, это важно для человека, родившегося евреем, но не менее важно и для советского писателя довоенной поры, и для убежденного сторонника революции, старая гвардия которой ненавидела юдофобию и юдофобов. Не случайно и сама мысль эта подается через реакцию не еврея, а русского. Иначе говоря, и в этом случае мы встречаемся со взглядом не изнутри, а извне.

Тем же взглядом смотрит Гроссман и на другого еврейского своего персонажа в рассказах 30-х годов — инженера Кругляка

---

<sup>42</sup> Там же, С. 116.

<sup>43</sup> Там же, С. 106.

(«Цейлонский графит», впервые в журнале «Знамя», 1935, № 9). Снова перед нами производственная проза: идут успешные поиски отечественного сырья для карандашных грифелей взамен импортного. В ходе этих поисков главный герой рассказа, революционный эмигрант из Индии, обретает новую родину в Москве. Рядом с бесцветным индийцем, иллюстрацией коминтерновских принципов пролетарского интернационализма, фигура Кругляка кажется живой и убедительной. Он сверхэнергичен, влюблен в свое дело, легкомыслен, влюбчив и похотлив, развязен и предприимчив до наглости, общителен до назойливости. Он не стыдится своего еврейского происхождения, наоборот, подчеркивает его, вставляя словечки на идише<sup>44</sup>, украшая свои речи еврейской интонацией и еврейскими шуточками: «Я знаю?» (вместо «не знаю»); «Ну, а насчет того, чтобы посидеть, почему не посидеть в советских условиях?»; «Пусть, как говорили мои предки, я не дождусь видеть своих детей жить в социалистическом раю, если...»<sup>45</sup>

Широкая миграция еврейского населения бывшей Российской империи после революции — факт общеизвестный и обильно комментировавшийся как в Советском Союзе (в 20-30-е годы), так и за границей (вплоть до сегодняшнего дня). Один из многих ее результатов — главным образом, в первой половине 30-х годов, в начале индустриализации — появление еврея-инженера на заводах и стройках, в таких местах, в такой социальной среде, где прежде евреев знали только понаслышке. Так, в частности, появился на московской карандашной фабрике имени Сакко и Ванцетти инженер Гроссман. Но инженер Гроссман ничем не отличался от русских сослуживцев: он был ассимилирован уже во втором поколении, «его отец, Семен Осипович, был инженером-химиком, его мать, Екатерина Савельевна, была

---

<sup>44</sup> В двух местах: там же, С. 142 и 146. В первом же книжном переиздании (1938 года) эти словечки, вместе с авторскими подстрочными объяснениями, были, впрочем, выброшены.

<sup>45</sup> Там же, С. 141, 143, 112

преподавательницей французского языка», — сообщает критик Федор Левин<sup>46</sup>, хорошо знавший Гроссмана лично. Ни его отношение к окружающим, ни отношение окружающих к нему не представляло собою психологической коллизии. Психологической и социальной коллизией они станут во время войны и, особенно, в конце 40-х годов, когда еврей типа Гроссмана, давно считающий себя таким, как все», давно привыкший к мысли, что жидоедство — забытый пережиток проклятого прошлого, вдруг обнаружит, как жестоко он ошибался.

Тогда спохватится и Гроссман и напишет об этом удивительные страницы в «Жизни и судьбе». Пока же, вместе с коренными русскими, он с изумлением, как на нечто экзотическое, поглядывает на местечкового выходца, на его ужимки и ухватки, его глуповатую жизнерадостность. Конечно, Кругляк — «свой» как социальное явление, как строитель социализма, он симпатичен автору, но — вчуже. Конечно, он банален в своих еврейских качествах и проявлениях, но все же он намного характернее, чем инженер Маргулиес у Валентина Катаева в повести-хронике «Время, вперед!» — длинный нос, малый рост, шепелявость и рассеянность. Впрочем, оба одинаково лишены прошлого, взялись неизвестно откуда. Лишь русско-еврейский писатель, мне кажется, мог бы полно и внятно рассказать о таком чужаке, не только о житейской его цепкости или чудачествах, но об одиночестве, беспочвенности, культурной пустыне, шизофреническом разрыве между пролетарским мессианизмом и ностальгической тоской по отброшенным традициям. Бабель начал такой рассказ, но в самом начале и бросил (неоконченная повесть «Еврейка»).

---

<sup>46</sup> В предисловии к сборнику: Гроссман, В., Повести. Рассказы. Очерки, С. 3. Ассимилированность семьи отразилась, между прочим, и в именах-обманчиво русских: Семена Гроссмана звали на самом деле Соломоном, а будущего Василия нарекли при обрезании Иосифом. См. «Черная книга», справка «Об авторах».



Из остальных рассказов примечателен «Сын» (впервые в сборнике 1936 года, датирован 1934 годом). Старик, бывший адвокат, типичный дореволюционный интеллигент, брошен преуспевающим сыном на произвол судьбы, живет за счет «рабочего, коммуниста, которого насильно вселили к нему в комнату»<sup>47</sup>. Старик в ужасе перед жестокостью жизни, ему страшен не только сын, но

... все, все... Вот сосед Пахомов — однажды он рассказывал, как он расстреливал из пулемета белых. «Человек семьдесят их было». — «Но ведь это люди, это ужас!» — крикнул Сергей Александрович, и сосед удивился; пожав плечами, ответил: «Революция». Сын был когда-то веселым и добродушным, во время гражданской войны служил бухгалтером в курском наробразе, на фронте никогда не был, участия в революции не принимал. «Что общего у него с Пахомовым, этим сосредоточенным и уверенным человеком?.. Точно его, как и Пахомова, ожесточили годы кровавой борьбы, гражданской войны»<sup>48</sup>.

В конце концов — и в этом идейный смысл рассказа, ради этого он, очевидно, написан — старик убеждается, что Пахомов — человек, а сын — скот, что революционная жестокость — не то же самое, что несокрушимое бессердечие обывателя. Однако вопрос задан, вопрос крамольный, бередящий душу. Двадцать лет спустя он поднимется снова, и ответ будет иным — не классовым, не по шаблонам марксизма.

В «Сыне» Гроссман ссылается на Чехова, не называя его, однако, по имени, цитирует эпиграф к рассказу «Тоска». Критика 30-х годов, к Гроссману чрезвычайно внимательная и благосклонная, охотно «выводила» его из Чехова. Я не хочу углубляться в проблему литературных корней Василия Гроссмана; скажу только, что, по-моему, он учился скорее у современников,

---

<sup>47</sup> Гроссман, В., Четыре дня, С. 205.

<sup>48</sup> Там же, С. 210–211.

чем у великих предшественников. Но Чехов, по-видимому, действительно сыграл исключительную роль в его жизни — не в писательском, а именно в жизненном развитии. В романе «Жизнь и судьба» он споеет Чехову такой панегирик, вознесет его так высоко, как никто и никогда. Он противопоставит Чехова всему ужасу и мерзости советской реальности:

Чехов поднял на свои плечи несостоявшуюся русскую демократию. Путь Чехова — это путь русской свободы. Мы-то пошли другим путем (парафраза известных слов молодого Ленина, произнесенных по случаю казни его брата-народовольца в 1887 году. — *III. М.*) ... Чехов ввел в наше сознание всю громаду России... Но мало того! Он ввел эти миллионы как демократ... Чехов знаменосец самого великого знамени, что было поднято в России за тысячу лет ее истории, истинной, русской, доброй демократии... русского человеческого достоинства, русской свободы...<sup>49</sup>

В немногих мемуарах, посвященных Гроссману, об этой страсти к Чехову не говорит никто<sup>50</sup>. А между тем, судя по полутора страницам из «Жизни и судьбы», если какое-либо чтение способствовало метаморфозе советского писателя Василия Гроссмана, то это было чтение Чехова.

Зато довоенный *opus maius* Гроссмана, роман «Степан Кольчугин», написан, несомненно, в толстовском ключе. Это отмечали и критики до войны (общее число рецензий приближалось к 30!), это отметил и Илья Эренбург в воспоминаниях, написанных сразу после смерти Гроссмана. Припомнив, что «Четыре дня» понравились ему, в частности потому, что «в манере письма» было «нечто от Бабеля», Эренбург продолжает:

---

<sup>49</sup> Гроссман, В., Жизнь и судьба, L'Age d'Homme, Лозанна, 1980. С. 187.

<sup>50</sup> Только Наталия Роскина обронила мимоходом: «Я бы поверила, что Гроссман благоговел перед Толстым, перед Чеховым...», ..., Роскина, ук. соч., С. 108.

Потом я начал читать «Степана Кольчугина», он показался мне «классическим», и дальше: «В литературе учителем Гроссмана был Лев Толстой. Василий Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не страшась множества придаточных предложений...»<sup>51</sup>

«Степан Кольчугин» — один из вариантов советского романа-воспитания, изображающего, как правило, историю формирования сознательного рабочего-революционера. Такую историю предлагает читателю и Гроссман. В двух книгах задуманной трилогии, писавшихся в 1936–1941 годах, герой из мальчишки сироты, подручного на шахте и на металлургическом заводе, вырастает в профессионального подпольщика, большевика, отбывшего долгое заключение на сибирской каторге и освобожденного в канун февральской революции. Дальше Гроссман собирался писать об участии Степана в революционных событиях 1917 года, заключительная же часть романа должна была быть посвящена Коминтерну<sup>52</sup>, иначе говоря, сирота из шахтерского поселка поднимался к самым вершинам международной коммунистической иерархии. Война помешала этим планам, и третья книга осталась ненаписанной<sup>53</sup>.

Первый роман Гроссмана — самая советская, самая соцреалистическая его книга. Это не значит, что она плохая. Напротив, в ней много хороших страниц и эпизодов, есть тонко и хорошо прописанные характеры и сюжетные линии, это изящная

---

<sup>51</sup> Эренбург, Илья. Люди, годы, жизнь. Собрание сочинений в девяти томах, Т. 9, М., Художественная литература 1967, С. 407–408 (Книга пятая, гл. 20).

<sup>52</sup> Об этом Гроссман сообщил в газете «Известия» 30. 4.1941, в статье, озаглавленной «Самая широкая тема жизни».

<sup>53</sup> Из «Московского письма»: «...С детских до довольно поздних лет он благоговел перед Марксом, Плехановым и — с оговорками — перед Лениным, не только перед 1-м, но и перед 3-м Интернационалом. Но большой талант делал его зорким. Не случайно он так и не закончил «Степана Кольчугина», а когда этот роман выдвинули на соискание Сталинской премии, Сталин вычеркнул его из списка, сказав: «Меньшевистский роман».

словесность, а не топорная, аляповатая поделка, как большинство послевоенных романов (Бабаевский, Бубеннов, Панферов, Ажаев и многие иные), как немалое число довоенных: назову для примера Павленко. Мне кажется, Эренбург не прав, утверждая, что он нашел себя в годы войны, написанные прежде книги были только поисками своей темы и своего языка<sup>54</sup>. Ведь Эренбург говорит об официально существовавшем Гроссмани, подпольного он просто не знал, а между тем литературно, художественно «Степан Кольчугин» выше всего, что Гроссман сумел напечатать во время войны и после нее. И авторские вмешательства, столь характерные для Гроссмана «философствования» далеко не всегда портят повествование — вопреки мнению Эренбурга («Я как-то сказал ему, что он все уже доказал мыслями, чувствами, поведением героев, авторское отступление только ослабляет силу главы»<sup>55</sup>). Достаточно часто авторский голос звучит мудро и свободно, не ослабляет, а обостряет впечатление читателя и его мысль. «Никто не платит так жестоко, полной мерой за красоту лживых идей, как народ»<sup>56</sup>. «Злоба возникала между ними не потому, что один дворянин, а второй рабочий; злоба возникала из-за сходства их, а не от различия. Человек видит в другом свои слабости и смеется над ними, боясь и не желая в чужом несовершенстве познать свое»<sup>57</sup>.

Но, вместе с тем, ни одно произведение Гроссмана не подчинено с такой последовательностью предвзятой идеологической схеме, как его первый роман. И потому для нашей темы он интереса не представляет: ведь и Ленин и Сталин определили бесповоротно, что евреи — не нация, а стало быть, особой еврейской теме не может быть места в «книге о русском рабочем», как назвал свой роман сам автор в статье «Самая широкая тема

---

<sup>54</sup> Эренбург, И., ук. соч., С. 408.

<sup>55</sup> Там же

<sup>56</sup> Гроссман, В. Степан Кольчугин, Роман в двух книгах, Книга вторая, М., ГИХЛ, 1955, С. 217.

<sup>57</sup> Там же, С. 265.

жизни», опубликованной в «Известиях» 30 апреля 1941 года. Не может быть места, несмотря на то, что действие происходит в черте оседлости и герой неизбежно сталкивается с евреями, но евреи они — для царских сатрапов, для него они — либо товарищи по классу, по революционной борьбе, либо классовые и политические враги. Умышленной, сознательной лжи в этой авторской позиции нет. Так рассуждали и чувствовали не только троцкие, каменевы и зиновьевы разных калибров, такова была официальная и усердно пропагандируемая линия вплоть до самой войны.

И действительно, главный учитель жизни Степана Кольчугина, его партийный крестный, его идеал, Абрам Бахмутский — еврей только по имени, а по сути, и во всех деталях — русский революционер-интеллигент. И сестра Бахмутского, врач, хотя и лечит в еврейской больнице городка Б. (едва ли надо сомневаться, что расшифровывается это сокращение как «Бердичев») и говорит по-еврейски, — типичная русская курсистка, «стриженная». Очень красноречив в своей противоречивости следующий абзац:

Она обожала свой городок, считала его лучшим местом в мире. Тысяча трагедий, жизненных историй, свидетельницей которых она была, как бы стали частью ее собственной жизни. Ее восхищали старики, обездоленные, нищие ремесленники, портные, шапочники, сапожники, жестянщики и старухи, жившие в староеврейской части города<sup>58</sup>.

Если бы они на самом деле были частью ее жизни, если бы она, на самом деле, ощущала себя частью «тела народа», как ощутит себя другой врач, другая еврейка на пороге газовой камеры в «Жизни и судьбе»<sup>59</sup>, то при чем тут «восхищение»? Но в том-то вся и хитрость, что, несмотря на еврейский язык, она русская интеллигентка, с типичным русско-интеллигентским

---

<sup>58</sup> Там же, С. 295.

<sup>59</sup> С. 378.

комплексом неоплатного долга перед народом. Лишь на один миг, в одном коротеньком эпизоде проглядывает какое-то подобие еврейского мира — при встрече Бахмутского с родителями, и тогда в голосе Гроссмана начинает звучать какое-то подобие бабелевских интонаций. Старик Бахмутский, книгочей и вольнодумец, «гордился своим свободолюбием, светскостью своих мыслей. Он любил рассказывать, что отец его... был атеистом, богохульником, проклятым еврейской общиной и похороненным, как отщепенец, за оградой еврейского кладбища. Старик, смеясь, говорил, что Абрам изменил свободному скептицизму деда и отца и снова вернулся к ограниченности и фанатизму веры». Он говорит сыну: «Вы думаете, это (революция. — *Ш. М.*) новое слово? Наши прадеды, что бы ни происходило в мире, говорили: “Мы славим бога”. Вы такие же одержимые. Понять свободу так же недоступно вам, как когда-то им»<sup>60</sup>.

Подобие, скажем прямо, весьма условное и далекое, столь же далекое, как далеко от подлинного «Благословен Ты, Господи, Боже наш...» нескладное «Мы славим бога». И все же что-то бабелевское здесь есть, что-то от скепсиса старьевщика Гедали, тихо сомневающегося в революции. Но, повторяю, это микроскопический штрих, который ничего не меняет в общей картине.

---

<sup>60</sup> Гроссман, В., Степан Кольчугин, Книга вторая, С. 330–332.

Война была поворотным пунктом в жизни и судьбе Василия Гроссмана. Конечно, то же самое верно для миллионов и миллионов, но я имею в виду, прежде всего, писательскую судьбу, и я думаю, что дорога к поединку с советской властью началась для Гроссмана 22 июня 1941 года.

Гроссман провел на фронтах все четыре без малого года войны. Правда — не солдатом и не боевым офицером, а корреспондентом главной военной газеты «Красная звезда». Он видел буквально все — позор, отчаяние и ужас бегства, развалины городов и деревень, гетто и лагеря смерти, восторг победы и торжество победителей. Он прошел и проехал от Гомеля до Сталинграда и — в обратном направлении — от Сталинграда до Берлина. И непрерывно, по горячим следам, писал. Только «Красная звезда» напечатала сорок больших корреспонденций и очерков.

Вместе с Эренбургом он был самым популярным журналистом и публицистом тех лет<sup>61</sup>. Эти очерки, статьи и корреспонденции были собраны в объемистый — больше пятисот страниц — том, который вышел в августе или сентябре 1945 года. Те, кто помнит невероятные трудности советской полиграфии и скудость ее продукции во время и сразу после войны, знают, что само появление этой книги было актом признания славы Василия Гроссмана.

Перечитывая военную публицистику Гроссмана, надо, прежде всего, сделать поправку и скидку на раскаленную добела злободневность. Слова, которые сорок лет назад жгли сердце, сегодня угасли, умерли. Но среди мертвых строк и страниц не меньше

---

<sup>61</sup> Виктор Некрасов в «маленьком портрете» Гроссмана сообщает: «Газеты с его, как и Эренбурга, корреспонденциями зачитывались у нас (т. е. в частях, оборонявших Сталинград. — Ш. М.) до дыр». Некрасов, Виктор. В жизни и в письмах, М., Советский писатель, 1971, С. 150.

— если не больше — живых. В серии сталинградских очерков, которые Эренбург считал «самыми убедительными и яркими из всех наших очерков военных лет»<sup>62</sup>, есть, действительно, один из самых ярких военных портретов — не чета сусальному, насквозь фальшивому Ивану Судареву Алексея Толстого. (Впрочем, «третий Толстой» пороха не нюхал и создавал свой «русский характер» в глубочайшем тылу.) Это портрет бронбойщика Громова, человека тяжелой судьбы и тяжелого характера, человека угрюмого и злопамятного, — и все его черты и особенности служат войне, истреблению врага. «В глазах его, дерзких, глядящих прямо и придирчиво, в его недобром, чуждом всепрощению отношении к слабостям человеческим, в его резких и насмешливых суждениях о несовершенстве жизни сказывался характер недюжинный, прямой, сильный и упрямый... И весь он был охвачен тяжелой злобой человека, которого война оторвала от родного поля, от избы, от жены, родившей ему детей, — злобой недоверчивого Фомы, своими глазами увидевшего огромную народную беду... Ружье, пробивающее броню немецкого танка... было под стать его натуре, его нелегкой душе, его недобрым зеленым глазам, — всему духу человека, не прощающего обиду и помнящего добро и зло до последнего вздоха. Он не так уж сладко жил до войны. Он изведal и тяжкий долгий труд, и нужду. Но такой

---

<sup>62</sup> Эренбург, Илья, ук. соч., С. 409. Приведу, кстати, продолжение этой цитаты: «Почему генерал Ортенберг (главный редактор «Красной звезды», — Ш. М.] приказал Гроссману отправиться в Элисту и послал в Сталинград Симонова? Последнее — до любви к молодому и талантливому писателю, это понятно. Но почему Гроссману не дали увидеть развязку? Этого я до сих пор не понимаю». Свидетельство Эренбурга намекает на какие-то интриги, но важно не это; важно, что он противоречит другим источникам (книге А. Бочарова, статье Ф. Левина), согласно утверждающим, что Гроссман провел в Сталинграде пять месяцев без перерыва, с первых дней обороны до пленения армии Паулюса. Однако страницы о Калмыцкой степи в «Жизни и судьбе» заставляют думать, что прав Эренбург, что Гроссман на себе испытал чувство «тыловой» тоски в забытых Богом и людьми зимних песках.



обиды он не мог помыслить<sup>63</sup>. Он не просто жив, ярок и убедителен сам по себе, этот портрет, он может стать и станет характером в художественной системе, основанной на Правде и Свободе, — у нового Гроссмана. И вообще, связи между военными очерками и Главной Книгой, «Жизнью и судьбой», очевидны и множественны. Нам еще не раз представится случай в этом убедиться.

Нет ни малейшего сомнения, что военная публицистика Гроссмана сражалась не только против немецкого фашизма, но и за советский социализм. «Тактика наших войск отразила веками складывавшийся характер народа и одновременно черты молодой революционной страны... Во всем этом выразился дух большевистской энергии и революционная смелость решения...» «Нашу победу родила Октябрьская революция... Где бы нашлись — при сплошной неграмотности и малограмотности в старой России — миллионы людей, умеющих уверенно, властно и свободно управлять чудесными и сложными механизмами... Только сейчас, стоя под стенами Берлина... мы можем во всем масштабе оценить колоссальные силы, пробужденные революцией...»<sup>64</sup>. «Вдоль дороги русской славы, дороги могучего торжества Советского государства и советских народов...»<sup>65</sup> От советского социализма (а не только от понятной и оправданной поспешности письма) идут и лозунговые штампы типа «поднялись, как один», «в сказочно короткий срок», «плоть от плоти», «богатства народного духа», и ходульная патетика («...шли под знаком величайшего порыва, стихийного народного энтузиазма...»), и бесконечные риторические вопросы, и постоянное окарикатуривание врага, дешевые издевательства и брань (чванливость, хамство, фантастическая жадность... «дух торгашества, делячества, мелкого

---

<sup>63</sup> Гроссман, В., Годы войны, М., ГИХЛ, 1945, С. 185–187. («Душа красноармейца», 20 сентября 1942)

<sup>64</sup> Там же, С. 361 («Мысли о весеннем наступлении», 26 апреля 1944), 500 («Сила наступления», 1945).

<sup>65</sup> Гроссман, В., Повести. Рассказы. Очерки, С. 519. («На рубеже войны и мира», 1945).

жужельничества»... «дефектность и ограниченность духа и военного мышления»). Но и тут не все просто и однозначно.

Верность идеям социализма означала тогда верность Сталину. В сборнике 1945 года Сталин упоминается всего трижды, причем один раз — в контексте, по тем временам просто безумном: «Кто посмеет назвать безобразными эти развалины? Здесь Сталин сказал: "Ни шагу назад". Здесь любимцы славы, Жуков и Рокоссовский... обороняли Москву»<sup>66</sup>. Сталин, выходит, только говорил, — это было равносильно оскорблению величества. Ходили слухи, что Сталин не любил Гроссмана, Эренбург даже сообщает за что — «за любовь к Ленину и подлинный интернационализм»<sup>67</sup>. Скорее и логичнее — за недостаточность преклонения. Культ Сталина сложился еще до войны, но только в военные годы он приобрел истерически-религиозные черты, и можно предполагать, что Гроссмана это удручало. Тем более, что и во время войны он продолжал философствовать.

Философия была не слишком оригинальная, в основном и в главном она совпадала с инструкциями Отдела пропаганды ЦК, но в деталях уходила глубже, чем того требовали инструкции, и, следовательно, могла обернуться ересью. Народ требовалось восхвалять. Это было по душе Гроссману, он всегда был народолюбом, даже плебеолюбом. Слова критика: «Идея народа, его воли к свободе, его правды, святости его труда и подвига, его силы и бессмертия — такова ведущая идея творчества Василия Гроссмана»<sup>68</sup> совершенно верны, несмотря на их казенный колер. Но Гроссман принимал эту идею всерьез, без диалектических выкрутасов, предполагающих, что народ велик, мудр и т. д. лишь под руководством коммунистической партии, а партия — под руководством товарища Сталина. Подвиг народа, борющегося, по казенному толкованию, за свободу, означает для Гроссмана

---

<sup>66</sup> Гроссман, В., Годы войны, С. 468 («Москва — Варшава», 20 января 1945).

<sup>67</sup> Эренбург, И., ук. соч., С. 409.

<sup>68</sup> Гроссман, В., Повести. Рассказы. Очерки, С. 10 (из предисловия Федора Левина).

буквально торжество народной свободы. «Как хочется навек сохранить в памяти этот новый город торжествующей народной свободы, выросший среди развалин...<sup>69</sup> Равенство, братство, рожденное общей опасностью, кажутся ему началом нового стиля жизни: «Охватывает страстное желание сохранить навек замечательные черты этого неповторимого быта: этот высокий благородный стиль отношений, простоту и непосредственность людей... Пусть эту черту, этот стиль не упустят те, кто будет писать историю Сталинградской битвы»<sup>70</sup>. Внимание! Тут ведь не ностальгия по окопному братству, столь характерная для Запада 30-х годов, для «потерянного поколения», тут ведь тоска по демократии в самый разгар бойни, по демократии, которой прежде не знали. Вот чем оборачивается философствование по поводу ясного, но с диалектическим подмигиванием принципа нашей советской демократии, противопоставляемой нацистскому тотальному рабству. В очерке о «последней фронтовой поездке» Гроссман словно бы подводит итог своим размышлениям о простом человеке на войне — все добыто и достигнуто его кровью и верой, трудами и муками. Что же удивительного, что день и ночь, заслоня самые яркие и пышные картины последних дней Победоносной войны, стоит перед глазами фигура нашего красноармейца, такой, какой навечно запомнили мы ее: в продранной осколками шинели, шапке-ушанке, с Полупустым заплечным мешочком, с гранатами, заткнутыми за брезентовый пояс. Пожелаем ему от души жизни веселей и полегче, посытней, побогаче. Кто, как не он, заслужил ее!<sup>71</sup> Опять он со своим плебеем! Не понимает не чувствует, что наступают годы имперского величия, великих строек коммунизма, триумфа сталинской воли и сталинского гения, а плебей, мужик пуще прежнего будет мостить собственным телом дорогу к светлому будущему.

---

<sup>69</sup> Гроссман, В., Годы войны, С. 254 («Новый день», 19 декабря 1942)

<sup>70</sup> Там же, С. 256 257 («Военный совет», 29 декабря 1942).

<sup>71</sup> Гроссман, В. Повести. Рассказы. Очерки. С. 524.

Как и многие иные тогда, Гроссман верил, что победоносная война все переменит к лучшему. Только многие иные быстро поняли, что ошиблись, и проворно приспособились к ново-старой реальности, а Гроссман упорствовал. Народолюбческая философия военных очерков, прояснившись, освободившись от коросты казенной лжи, войдет в Жизнь и судьбу».

Но была в военном опыте Василия Гроссмана еще и особая сторона, которая, на мой взгляд, сыграла решающую роль в его судьбе. Еврейская сторона<sup>72</sup>.

Еврейская политика властей в первый период войны была двойственной. Стремясь использовать антифашистский потенциал мирового еврейства, советские руководители отказались от классовой точки зрения и от неприкосновенного ленинско-сталинского тезиса о том, что еврей не нация. Только так, во всяком случае, можно было расценить созванный уже в августе 1941 года «антифашистский митинг представителей еврейского народа», который обратился с воззванием к «братьям евреям во всем

---

<sup>72</sup> Поскольку эта сторона не столько житейской, сколько писательской судьбы Василия Гроссмана составит в дальнейшем основную тему моего очерка, я считаю необходимым здесь, в самом начале, подчеркнуть, что отстаивая свою точку зрения, отнюдь не считаю ее единственно верной и отдаю себе отчет в тех возражениях, которые могут быть (и, надеюсь, будут) сделаны. В «Московском письме» говорится: «Гроссмана потрясли антикосмополитическая кампания, процесс врачей-убийц, уничтожение еврейских писателей, деятелей искусства... Но нельзя сказать, что главным фактором пробуждения у Василия Семеновича была трагическая судьба евреев при Гитлере и при Сталине. Этот фактор был важным, существенным, но не главным... Василий Семенович никогда (это видно по его произведениям) не был бездумным рабом официальной идеологии, его окончательный разрыв с ней подготовляли годы советской жизни. Этот разрыв был для него мучителен». Разумеется, автор «Письма» обладает преимуществом знакомства (возможно, доверительно близкого) с биографией писателя, но то, что «видно из его произведений», а равно и факты истории, составляющие фон этой биографии, открыты для толкования всем одинаково. Я предоставляю читателям соглашаться или не соглашаться с моим толкованием и прошу верить, что многочисленные оговорки типа: «на мой взгляд», «мне представляется» и т. п. — не просто «манера речи», но знак уважения к чужой, иной позиции и призыва к дискуссии, к спору или, как принято говорить теперь, к диалогу.

мире». Но примерно в то же время, в августе 1941, Петр Поспелов, тогдашний редактор «Правды», принял моего отца, поэта Переца Маркиша, который хотел знать, почему не печатается специально заказанное ему патриотическое, антифашистское, пропагандистское стихотворение, и разъяснил конфиденциально: «Вы должны понять, что печатать вас сегодня — дело высокой политики». Напечатать в главной газете страны стихотворение, переведенное с еврейского (идиш), стало невозможным потому, что Сталин — возможно, не без удовольствия — капитулировал перед гитлеровской антисемитской пропагандой, призывавшей русский народ покончить с жидо-большевизмом. Перемена атмосферы наверху быстро нашла сочувственный отклик внизу: в феврале 1943 года Илья Эренбург, выступая на пленуме президиума Еврейского антифашистского комитета (этот комитет был создан в апреле 1942), говорил о подъеме антисемитизма в стране и о необходимости бороться с ним. К концу войны антисемитизм был уже известным, хотя и по-прежнему негласным, государственным принципом, а бытовое, на уровне улицы и коммунальной квартиры, жидоедство никого уже не удивляло.

Мы видели, что довоенный Гроссман был совершенно чужд специальным еврейским интересам в литературе, да и в жизни, по-видимому, тоже. В военных очерках он говорит о русском народном характере с такой теплотой, с какой только свой может говорить о своих. я не могу удержаться от того, чтобы не привести длинную цитату из очерка «Власов» (1 ноября 1942): в ней не только русская душа, какую ее видел Гроссман, в ней душа бердичевского еврея умиленно сливается с русской душой и говорит ей — по солженицынскому рецепту<sup>73</sup> — «я — твоя».

Когда читаешь воспоминания о войне французов, англичан, американцев, все они пишут, что на войне, в бою, они становятся иными, что весь душевный мир их изменяется,

---

<sup>73</sup> См. Август четырнадцатого, гл. 62 (по русскому изданию: Париж, YMCA-Press, 1971. С. 537).

что они переоценивают все ценности, что казавшееся им дорогим и близким вдруг становится ненужным, смешным.

А русский человек, воюющий в пламени горящего, сотрясаемого взрывами Сталинграда, — такой же неизменный, ясный, простой, бесконечно скромный, каким знаем мы его и в великом мирном труде. Так же бережно хранит он письма, пришедшие из дальних деревень, так же любовно говорит о ребятишках своих и стариках, покурит, вздохнет, задумается, когда ему не в меру тяжело, кипит чай среди развалин дома, окруженного немецкими автоматчиками, и верит в то, что добро есть добро, что нет ничего сильнее в жизни, чем правда.

И здесь, на переправе, идет во время дневного отдыха обычная, прекрасная своей святой будничностью жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед, русская печь, хитро и умело построенная в земле, печет пышный, легкий подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня, и отчаянно парятся в ней, лущают себя вениками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжелые бомбы немецких пикировщиков. При слабом свете, проникающем в блиндаж, пишут бойцы письма, не забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтобы, не дай бог, не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабу Марию Семеновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив»<sup>74</sup>.

Мне представляется, что это объяснение в любви убедительнее, чем формальное, но брошенное невзначай: «Таких людей, как Власов, немало в нашем народе...»<sup>75</sup> Формально или по сути, как бы там ни было, а Гроссман был русским — и тогда, и раньше, и после, вне зависимости от гримас, насмешек и нахмуренных бровей тех, кому это не по вкусу, будь то бдительные сталинские

---

<sup>74</sup> Гроссман, В., Годы войны, С. 208–209 («Власов», 1 ноября 1942).

<sup>75</sup> Там же, С. 211.

кадровики или мастера культуры, будь то новые, сегодняшние блюстители чистоты российской расы и русского слова.

Однако война и сопряженная с нею Катастрофа европейского еврейства<sup>76</sup> напомнили Гроссману о его происхождении, и он принял это напоминание с той серьезностью, с тем чувством долга, которые отличали его во всем.

Знаменитый польский поэт XX века Юлиан Тувим (1894–1953) был поляком не в меньшей мере, чем Василий Гроссман — русским. Но в эмиграции, в Нью-Йорке, в апреле 1944 он написал статью «Мы, польские евреи...»<sup>77</sup>, которая считается манифестом ассимилированного еврейства всех стран Европы. «Кровь бывает двух сортов, — писал Тувим, — та, что льется в жилах, и та, что, льется из жил... Изучать первую — дело физиологов. Кто приписывает ей... какие-то особые качества и тайные силы, тот в конечном счете, как мы видим сегодня, обращает города в пепел, истребляет миллионы людей... Вторая... — невинная кровь замученных, кровь, не скрытая в артериях, но явившаяся взорам. Таких потоков мученической крови мир еще не видывал, и самыми широкими, самыми глубокими потоками струится кровь евреев (не «еврейская кровь») ... Потоки эти уже сливаются в бурные, пенистые реки». Лишь то родство, те узы связывают, которые основаны на второй крови — крови мучеников, пролитой злодеями.

Во введении к этому очерку я упомянул, что «синдром Тувима» в той или иной форме обнаружился у многих писателей.

---

<sup>76</sup> Лев Копелев справедливо указал мне на неудачность термина «Катастрофа», возникшего, по всей очевидности, как примитивный, без раздумий (первое значение в известном «Иврит-русском словаре» Ф. Шапиро) перевод еврейского *shoah*. Между тем еврейское слово намного выше стилистически: см. в библейских контекстах — Исаия, 47,11, Софония, 1,15, Псалмы, 34,8; ср. также стилистический уровень английского и французского эквивалентов (*Holocaust, holocauste*), я не решаюсь, однако, заменить этот термин, широко распространенный в русских изданиях как в Израиле, так и на Западе.

<sup>77</sup> Впервые статья была напечатана в лондонском эмигрантском журнале «Nowa Polska», 1944, № 8, С. 491 сл.

Только у многих, у подавляющего большинства он прошел, а у Гроссмана остался, укрепился и, по слову одной мемуаристки<sup>78</sup>, дошел до степени «помешательства». Этому способствовали и общая обстановка, и частные обстоятельства Гроссмана, и его натура.

Среди частных обстоятельств военной поры главным была гибель матери Гроссмана в бердичевском гетто, Та же мемуаристка сообщает: «Роман Гроссмана «Жизнь и судьба» посвящен памяти его матери Екатерины Савельевны, не уехавшей из Бердичева Из-за того, что не на кого было оставить больную племянницу Наташу. Она была учительницей французского языка, люди, видевшие ее в гетто, рассказывали Гроссману, что она продолжала там заниматься с детьми. О последних ее минутах никто не мог рассказать, — он ездил в Бердичев, разыскивал очевидцев, — все были расстреляны вместе с нею»<sup>79</sup>. В рукописи, с которой набирался роман на Западе, посвящения нет, но, по сути, мемуаристка совершенно права: дух матери Штрума, персонажа, с которым, без сомнения, идентифицирует себя автор, присутствует неотступно.

Военный журналист Гроссман сам был в числе первых очевидцев последствий Катастрофы, в числе первых, кто собственными глазами увидел опустевшие гетто, противотанковые рвы, набитые трупами, фабрики смерти. Но первым откликом его был не репортаж, а рассказ, «Старый учитель» (впервые в журнале «Знамя», 1943, №№ 7–8). Судя по хронологии, это был даже не столько отклик очевидца (наступательные операции на Украине начались позже, с конца августа 1943), сколько первая попытка представить себе — по чужим свидетельствам — что произошло и продолжает происходить.

Действие начинается 5 июня 1942 года и заканчивается месяц с небольшим спустя. Немцы занимают «маленький

---

<sup>78</sup> Роскина, Наталия, ук. соч., С. 113.

<sup>79</sup> Там же.



городок»<sup>80</sup> на Украине, такой маленький, что гетто устраивать нет смысла, и евреев выводят за город и расстреливают в овраге. Обстоятельно разработана фактическая, очерковая сторона рассказа: предательство и героизм, детали поведения оккупантов и оккупированных, евреев и нееврея, подробности «акции»... Но сторона эта, вероятно, самая важная для читателя тогда, когда рассказ впервые увидел свет, теперь отступила на второй план перед раздумьями, как авторскими, так и читательскими, Т. е. рождающимися в ответ на авторские, а также в ответ на известные сюжетные ситуации.

Прежде всего, важно отметить, что Гроссман впервые создает еврейский рассказ не по сюжету только и не по корням и истокам персонажей, но по сознательному и свободному выбору, сделанному главным героем. Восьмидесятидвухлетний учитель Розенталь всю жизнь был еврейским учителем и сознавал себя таковым. «Пятьдесят лет он был школьным учителем в маленьком, скучном городке. Когда-то он учил детей в еврейской профессиональной школе (совершенно очевидно, речь идет о школе ОРТ<sup>81</sup>. — *Ш. М.*), потом, после революции, он преподавал алгебру и геометрию в десятилетке. Ему надо было жить в столице, писать книги, печататься в газетах, спорить со всем миром»<sup>82</sup>. Почему же он, выпускник университета, не выбрал иной судьбы? Да скорее всего потому, что еврейская судьба принудила — недаром же пошел он с университетским дипломом в школу ОРТ. Но, независимо от причин, независимо от сожалений, что «жизнь не удалась ему»<sup>83</sup>, он отдает себе отчет и в своем положении, и в

---

<sup>80</sup> Гроссман, В., Годы войны, С. 145.

<sup>81</sup> Общество Распространения Труда среди евреев (первоначально общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев России), основанное в 1880 г. и процветающее поныне (разумеется — за пределами бывшей Российской Империи). Оно устраивало и содержало еврейские профессиональные и ремесленные школы. Одна из таких школ (женская) работала в Бердичеве. См. Еврейская энциклопедия, т. XI, СПб, б. д., столбцы 924–926 и т. XIII, столбец 675.

<sup>82</sup> Там же, С. 162.

<sup>83</sup> Там же.

своей ответственности, из этого положения вытекающей: «Всю свою Жизнь прожил он с этими людьми, с ними должен прожить он свой горький последний час»<sup>84</sup>.

Всю свою долгую жизнь старый еврейский учитель был человеком мысли — в лучшей еврейской традиции, и накануне смерти он, признаваясь, что «чем больше думаешь о жизни, тем меньше ее понимаешь»<sup>85</sup>, хочет все же додуматься: убийство народа — как это возможно? Какой в нем смысл для самих убийц? Ответ Гроссмана, если и не полностью стандартен, то слишком прост. Гитлеровцы, «великая ложь жизни»<sup>86</sup>, создали каторжную иерархию, в которой самая нижняя ступень отведена евреям как назидательному примеру — «чтобы самый страшный удел казался счастьем по сравнению с уделом евреев»<sup>87</sup>. Иными словами, в антисемитизме гитлеровцев нет ничего мистического, это простой расчет, «арифметика зверства»<sup>88</sup>. Из своей общей схемы учитель Розенталь делает частный вывод: «Больше всего я боялся... что фашистский расчет окажется верным». Но «страшная судьба евреев вызывает у русских и украинцев лишь горестное сочувствие... Я вижу, конечно, и равнодушие. Но злобу, радость от нашей гибели я видел не часто...»<sup>89</sup> Самое любопытное в этих нехитрых и никак не противоречащих официальной линии рассуждениях — формула принадлежности к большинству, к русским и украинцам: «Народ, с которым я прожил всю жизнь, который я люблю, которому верю...»<sup>90</sup> Совпадение с формулой принадлежности к братьям по рождению и по неизбежной гибели — дословное. Возможно, это случайная неряшливость, рассказ писался в лихорадочной военной спешке, но более вероятным мне кажется другое: герой, который в этой детали точно

---

<sup>84</sup> Там же, С. 164.

<sup>85</sup> Там же, С. 151.

<sup>86</sup> Там же, С. 148.

<sup>87</sup> Там же, С. 156.

<sup>88</sup> «Это простая арифметика зверства, а не стихийная ненависть». Там же.

<sup>89</sup> Там же, С. 157–158.

<sup>90</sup> Там же, С. 148.

отражает и выражает своего создателя, никогда не задумывался над тем, кто он такой. Но это не бабелевская двойная принадлежность, дарящая бинокулярную остроту зрения, а скорее отсутствие принадлежности — за счастливой ненадобностью, которой кладет конец война. Накануне «акции» соседи приходят к учителю за советом, и один из них говорит: «Ну что ж, — сказал Мендель печник, — это судьба. Соседка сказала моему сыну: «Яшка, ты совсем не похож на еврея, беги в деревню», и мой Яшка сказал ей: «Я хочу быть похожим на еврея; куда поведут моего отца, туда пойду и я»<sup>91</sup>. Вот это и есть настоящая позиция Гроссмана и всех прочих ассимилированных, но с чуткою совестью евреев при столкновении с антисемитской угрозой, и не только смертельной, как гитлеровская, но и сравнительно безобидной, как сегодняшняя советская.

Еврейская пассивность до сих пор остается для нас. Мучительной проблемой. Мучила она и Гроссмана. На том же совете у старого учителя звучит такая реплика: «Одно я могу сказать: ... если придется, я не умру, как баран». И учитель откликается: «Вы молодец, Кулиш, вы сказали настоящее слово»<sup>92</sup>. Оно не только настоящее, оно единственное слово протеста. и ему отвечает единственное же действие:

Когда колонна евреев миновала железную дорогу и, свернув с шоссе, направилась к оврагу, молотобоец Хаим Кулиш набрал воздуха в грудь и громко, перекрывая гул сотен голосов, закричал по-еврейски:

— Ой, люди, я отжил!

Он ударил кулаком по виску шедшего рядом солдата, свалил его, вырвал у него из рук автомат и, не имея времени понять чужое, незнакомое оружие, размахнулся тяжелым автоматом наотмашь, как бил когда-то молотом, ударил по лицу набежавшего сбоку унтер-офицера<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Там же, С. 164.

<sup>92</sup> Там же.

<sup>93</sup> Там же, С. 167.

Но суть не в том, что акт сопротивления единичен, суть в том, что он выдуман, и источник у него — литературный, и заимствует Гроссман у самого себя. В рассказе 1935 года «Четыре дня», о котором уже говорилось выше, юноша, который попал в облаву, но бежал, рассказывает: «Когда всех начали бить, возле меня стоял один еврей, грузчик, и он вдруг страшно закричал: "Ой, люди, я отжил" — и ударил того, коротенького по морде, и он упал, и я сам Видел, как они его зарубили»<sup>94</sup>.

Из единственной книги о Гроссмане<sup>95</sup> известно, что «Старый учитель» был инсценирован автором и в этой пьесе, неведомо когда написанной, не увидевшей ни сцены<sup>96</sup>, ни печатного станка, «изображение активного сопротивления немцам усилено». Но самоубийственные подвиги грузчика в Гражданскую войну и молотобойца во Вторую мировую представлены автором как взрыв активного отчаяния, чтобы резче высветить фон, главное — отчаяние глухое и отрешенное. Гроссман нашел прекрасную в своей лаконичности аллегорию и этому, второму отчаянию. Мальчик Виталик Вороненко «обижает маленькую Катю Вайсман», отец сердито кричит на сына, потом добавляет: «И что за девочка такая, ей-богу, стоит, как овца, открывает глаза и не плачет даже. Хоть бы убежала от дурака, а то стоит и терпит...»<sup>97</sup>

Катя Вайсман участвует в последнем перед оптимистическим эпилогом эпизоде рассказа, также нагруженном символически и едва ли не важнейшем в рассказе. Гроссман подводит к нему исподволь. Уже в самом начале учитель думает о «вечно удивляющем» его чуде человеческой доброты<sup>98</sup> и старается вычитать его в глазах Кати, которая угостила старика холодным

---

<sup>94</sup> Гроссман, В., Четыре дня, С. 82.

<sup>95</sup> См. Бочаров, А., ук. соч., С. 155.

<sup>96</sup> Автор «Московского письма» сообщает, что пьесу «Старый учитель» собирався ставить в Московском государственном еврейском театре Соломон Михоэлс.

<sup>97</sup> Гроссман, В., Годы войны, С. 159.

<sup>98</sup> Там же, С. 144.

блином. Потом жители городка смотрят, как везут по улицам тело покончившего с собою еврейского доктора. Все были его пациентами, но никто не плачет и не снимает шапки. «В страшные эти времена кровь, страдания и смерть никого не трогали, потрясала людей лишь любовь и доброта»<sup>99</sup>. В предпоследнюю свою ночь, перебирая «огромный ворох... воспоминаний», учитель ни о чем не скорбит и страстно хочет одного лишь — чуда, которого он не мог понять, любви<sup>100</sup>. И наконец, в суতোлке на краю оврага, куда сбросят тела убитых, Катя теряет мать и бабушку и оказывается рядом с учителем. Он поднимает ее на руки.

«Как утешить ее, чем обмануть?» — думал старик, и бесконечно горестное чувство охватило его. Вот и в эту последнюю минуту никто не поддержит его, никто не скажет ему слова, которое хотел он и жаждал услышать всю жизнь ... Девочка повернулась к нему. Лицо ее было спокойно; то было бледное лицо взрослого человека, полное снисходительного страдания. И во внезапно пришедшей тишине он услышал ее голос.

— Учитель, — сказала она, — не смотри в ту сторону, тебе будет странно, — и она, как мать, закрыла ему глаза ладонями<sup>101</sup>.

Любовь и доброта оказываются единственным противовесом тотальному зверству, причем любовь понимается в самом широком смысле, но прежде всего — как со-чувствие, со-страдание, внимательные, теплые ладони семейной, прежде всего материнской привязанности. И материнские ладони Кати Вайсман, по видимому, неотделимы от ее «овечьего» терпения, которое можно было бы назвать и более звучным словом — непротivление злу насилием. Что же до оптимистического эпилога (партизаны,

---

<sup>99</sup> Там же, С. 159.

<sup>100</sup> Там же, С. 162.

<sup>101</sup> Там же, С. 168.

мщение, страх предателя и палача), то его искусственность, неорганичность в рассказе отметил даже советский критик<sup>102</sup>.

От этого эпизода, как, впрочем, и от всего рассказа, путь к Главной Книге, к «Жизни и судьбе», намечается ясно, отчетливо, как на уровне сюжета, так и концептуально. Врач Софья Левинтон, не узнавшая семейной любви и привязанности и задыхающаяся в газовой камере с чужим мальчиком Давидом на руках, — очевидный вариант старого учителя. Иконников — Морж, прошедший через все варианты идеологических и религиозных искушений и погибающий в немецком лагере, пишет перед смертью трактат о доброте, где есть такие строки: «И вот, кроме грозного большого добра, существует житейская человеческая доброта. Это доброта старухи, вынесшей кусок хлеба пленному... доброта крестьянина, прячущего на сеновале старика-еврея... Это частная доброта отдельного человека к отдельному человеку, доброта без свидетелей, малая, без мысли. Ее можно назвать бессмысленной добротой. Доброта людей вне религиозного и общественного добра». и хотя она бессильна, эта доброта, но она же — единственное «зернышко человечности», и «могучее зло бессильно в борьбе с человеком, в бессилии бессмысленной доброты тайна ее бессмертия»<sup>103</sup>. Это «оправдание доброты», апология индивидуального Доброго действия — идеи первостепенной важности для позднего Гроссмана — вне всякого сомнения, восходят к «Старому учителю»...

Но ни в этих идеях, ни в иных аспектах идейного заряда «Старого учителя», ни в характерах ничего специально еврейского нет. Еврейской в нем является лишь ситуация да болевая реакция на чудовищность этой ситуации, что и естественно, и характерно для еврея поневоле, страдающего «синдромом Туви-ма». Нет оснований причислять рассказ «Старый учитель» к произведениям русско-еврейской литературы, несмотря ни на фабулу, ни на чувства автора, ни на мужественно избираемую им

---

<sup>102</sup> См. Бочаров, А., ук. соч., С. 159–160.

<sup>103</sup> Гроссман, В., Жизнь и судьба, С. 278–280.

позицию: я хочу быть похожим на еврея... Я надеюсь, со мною согласится каждый, кто читал Эли Визеля или Динура-Кацетника, или даже Шварц-Барта. К сожалению, примера из русско-еврейской литературы я привести не могу.

Первое упоминание о евреях в корреспонденциях встречается в очерке «Украина», датированном «Октябрь 1943 года»: говорят, что в Киеве немцы пытаются замести следы и жгут трупы, зарытые в Бабьем Яру. Очерк был напечатан в «Красной звезде» 12 октября 1943. к этому времени Гроссман уже собственными глазами увидел, что произошло с евреями Левобережной Украины: после летней победы на Орловско-Курской дуге он прошел с войсками до Днепра. Но ничего, кроме глухого упоминания о Бабьем Яре, он позволить себе не мог: о еврейской трагедии приказано было говорить вскользь, между прочим, чтобы, как гласили официозные разъяснения, не лить воду на мельницу немецкой пропаганды, чтобы, упаси Бог, не создавалось впечатления, будто война ведется в защиту евреев. О еврейской трагедии, о катастрофе Гроссман смог рассказать не русскому, а еврейскому читателю — в газете на идише «Эйникайт» («Единство»), органе Еврейского антифашистского комитета: газета уходила на Запад, в еврейские общины США, Великобритании (отсюда ее название) и регулярно публиковала материалы о немецких зверствах. Собираение таких материалов было одной из главных задач, с самого начала возложенных начальством на Еврейский антифашистский комитет. Очерк Василия Гроссмана «Украина без евреев» был напечатан в «Эйникайт» в ноябре–декабре 1943<sup>104</sup>.

---

<sup>104</sup> Очерк печатался в двух номерах газеты, от 25 ноября и от 2 декабря, в конце второй половины значится: «Продолжение следует». Но продолжения не последовало. Григорий Аронсон полагает, что на очерк был наложен цензурный запрет (Книга о русском еврействе, 1917–1967 / под ред. Я. Г. Фрумкина и др., Нью-Йорк, Союз русских евреев, 1968, С. 145; статья Аронсона озаглавлена «Еврейский вопрос в эпоху Сталина»). Это возможно, но возможно также, что Гроссман, предельно перегруженный работой

Здесь мы находим скорбный перечень убитых, подобный тому, что я привел в начале своего очерка, только намного более долгий и скорбный, более всего похожий на поминальную молитву, потому что открывается он зачином «Народ злодейски убит», и это «злодейски убит» проходит рефреном, повторяющимся 24 раза:

Злодейски убиты старые ремесленники...; злодейски убиты ломовые извозчики, трактористы, шоферы, дровосеки; злодейски убиты водовозы, мельники, пекари, повара; ...злодейски убиты ученые бактериологи и биохимики...; злодейски убиты бабушки, которые умели вязать носки и печь печенье, варить бульон и делать штрудель с орехами и с яблоками, и злодейски убиты бабушки, которые не были большими умелицами, — они умели только любить своих детей и детей своих детей; злодейски убиты жены, которые были верны своим мужьям, и злодейски убиты легкомысленные жены; злодейски убиты красивые девушки... студентки и веселые школьницы; злодейски убиты некрасивые и глупые; злодейски убиты горбатые, злодейски убиты певуны; злодейски убиты слепые; злодейски убиты глухонемые; злодейски убиты скрипачи и пианисты; злодейски убиты трехлетние и двухлетние; злодейски убиты восьмидесятилетние старики с катарактами на мутных глазах, с холодными прозрачными пальцами и тихими голосами... и злодейски убиты плачущие младенцы, которые жадно сосали материнскую грудь до послед него своего мгновения. Все злодейски убиты, многие сотни тысяч, миллион евреев на Украине<sup>105</sup>.

В этих строках, которые я цитирую в обратном переводе с идиш, и русский оригинал которых, возможно, сохранился в каком-нибудь запертом на семь замков архиве и еще выйдет когда-нибудь на свет, голос Гроссмана звучит так резко, так

---

для «Красной звезды», просто не сумел дописать корреспонденцию для Эйникайт. В любом случае мы остаемся в области догадок.

<sup>105</sup> Эйникайт, 25.11.1943.



вызывающе по-еврейски, как нигде и никогда, ни до того, ни после. Умышленно или нет, интонации и повторы эти безошибочно вызывают в нашей памяти «Плач Иеремии», «Книгу Иова», многие страницы молитвенника. «За грех, которым согрешили мы пред Тобою умышленно и коварно, и за грех, которым согрешили мы пред Тобою речами уст своих; ...за грех, которым согрешили мы пред Тобою насилием руки нашей, и за грех, которым согрешили мы пред Тобою осквернением Святого Имени...»<sup>106</sup> Но когда с патетических вершин обобщений Гроссман спускается к конкретным воспоминаниям детства на Украине, то эти картины оказываются шаблонными, давно примелькавшимися: старики с молитвенниками в руках, уважаемые местечковые сапожники, черноглазые дети, торговки конфетами и яблоками... Снова появляется взгляд со стороны, внимательный, но поверхностный.

Гроссман пишет:

С тех пор, как существует человечество, не было еще такой страшной бойни, никогда не убивали так организовано, в таком массовом масштабе, так жестоко невинных и незащитных людей. Это величайшее преступление, какое помнит история... Ни Нерон, ни Калигула, ни татарские ханы, ни монголы — никто на земле не пролил столько крови, не совершил таких преступлений.<sup>107</sup>

Это было опасное заявление. Я уже говорил, что о Катастрофе было приказано упоминать между прочим, в ряду других преступлений нацизма, отнюдь не выдвигая и не выпячивая ее. Такое выпячивание вело и ведет до сих пор к обвинениям в буржуазном национализме и сионизме. Но Гроссман упорно твердил свое, хотя и в менее категорической форме, чем в статье, предназначенной только для еврейских глаз. По-русски громче

---

<sup>106</sup> Из службы на Судный День.

<sup>107</sup> Эйникайт, 2.12.1943.

всего это сказано в очерке «Треблинский ад» (впервые в журнале «Знамя», 1944, № 11).

Если бы за всю свою творческую жизнь Василий Гроссман не написал ничего, кроме этого очерка, то и тогда его имя должно было бы сохраниться в еврейской истории: то было первое в мире детальное Описание лагеря уничтожения, оборудованного газовыми камерами, описание, принадлежавшее не свидетелю<sup>108</sup>, а писателю. При многих фактических неточностях (назову лишь одну: Гроссман считал, что Треблинка была самой крупной фабрикой смерти, крупнее Освенцима и всех остальных, что в Треблинке было уничтожено три миллиона человек) изображение конвейера смерти, от высадки на «вокзале» до выгрузки трупов из камер, и сегодня производит необыкновенно сильное впечатление. Изобразив «еврейский лагерь-плаху», какой «не знал род человеческий от времен первобытного варварства до наших жестоких дней»<sup>109</sup>, показав «величайшее преступление фашизма»<sup>110</sup>, показав скотство палачей и человечность жертв, рассказав о безнадежном, стихийном героизме одиночек и о прекрасно подготовленном, рассчитанном до малейших подробностей восстании в августе 1943 года, разрушившем «всемирную плаху», Гроссман, этот неутомимый философ, готовый всегда и все объяснять и истолковывать, всех поучать и наставлять, только кричит от нестерпимой боли: «Все это правда! Дикая последняя надежда, что все это сон, рушится... и кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку...»<sup>111</sup> Сила воображения

---

<sup>108</sup> Первый свидетельский отчет о Треблинке и о лагерях смерти вообще дал бывший заключенный этого лагеря Янкель Верник (Yankiel Wiernik), один из нескольких уцелевших участников восстания в Треблинке в августе 1943. Его показания вышли по-польски в мае 1944, несколько позже появился английский перевод (в США). Нет ни малейшего сомнения, что Гроссман с воспоминаниями Верника не был знаком.

<sup>109</sup> Гроссман, В., Годы войны, С. 413, 410.

<sup>110</sup> Там же, С. 415.

<sup>111</sup> Там же, С. 446.

изменяет ему: «Найдем ли мы в себе силу задуматься над тем, что чувствовали, что испытывали в последние минуты люди, находившиеся в этих камерах?.. Нет, нельзя представить себе того, что происходило в камере...»<sup>112</sup> и сила аналитического разума изменяет тоже. Он отказывается понять, как эмбрионы расизма, казавшиеся «комичными в высказываниях второсортных профессоров-шарлатанов и убогих провинциальных теоретиков Германии прошлого века... в течение нескольких лет превратились в смертельную угрозу человечеству...» Он только взывает: «Тут есть над чем задуматься!»<sup>113</sup>

И призыв этот не был риторической фигурой. Гроссман, действительно, задумался — собственным умом, серьезно, основательно, по-старомодному тяжеловесно, как он думал всегда, но с тою смелостью отчаяния, какой не знал раньше и к которой его обязывали смерть матери и убийство народа, Бердичев и Треблинка. Вопросы, которые он задавал себе, были безобидны лишь до тех пор, пока они оставались риторическими. Но с того момента, как судьба заставляет преодолеть барьер страха и инерции, человек и писатель гроссмановского типа вступает на путь, который ведет к трагедии с абсолютно неизбежностью, и любой вопрос, любое утверждение становится грозно двусмысленным или, лучше сказать, обоюдоострым. Художник менее упрямый, более сговорчивый дальше двусмысленности и не идет. Так было с известным фильмом Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм»: параллели между гитлеровским и сталинским вариантами тоталитаризма были очевидны, но и декорум был соблюден — с помощью лицемерного дикторского текста, «страхующего опасные намеки. Гроссману подобная дипломатия давалась очень худо. В «Треблинском аде» читаем:

Даже читать об этом бесконечно тяжело. Пусть читатель поверит мне, не менее тяжело и писать об этом. Может

---

<sup>112</sup> Там же, С. 433–434.

<sup>113</sup> Там же, С. 447.

быть, кто-нибудь спросит: «Зачем же писать, зачем вспоминать все это?»

Долг писателя рассказать страшную правду, гражданский долг читателя узнать ее. Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и пройдет мимо, оскорбит память погибших. Всякий, кто не узнает всей правды, так никогда и не поймет, с каким врагом, с каким чудовищем вступила в смертную борьбу наша великая, наша святая Красная Армия»<sup>114</sup>.

Он и рассказал всю правду, какую знал. Только узнал не вдруг и рассказал не сразу, но, в конце концов, не солживил ни в чем, в отличие от Михаила Ромма и многих иных. Не солживил и не сфальшивил ни молчанием, ни подмигиванием, ни казенным, мертвым словом, подпускаемым время от времени для камуфляжа. Так еврейский опыт повел его к «Жизни и судьбе». И тогда, придя к Главной Книге, продумав все, над чем следовало задуматься, и четко, однозначно все выговорив, он совершил то, что казалось немыслимым, — представил себе происходившее в камере. Эти главы «Жизни и судьбы» (Часть II, гл. 42–49) выросли из «Треблинского ада», но превосходят свой источник настолько же, насколько портрет, писанный мастером, превосходит любительскую фотографию; равных им нет ни по-русски. Ни — боюсь сказать — на других языках. Но мне жаль, что в романе не нашлось места для одного из лучших абзацев очерка, жаль по-читательски, и я приведу эти несколько строк целиком:

Весь процесс работы треблинского конвейера сводился к тому, что зверь отнимал у человека последовательно все, чем пользовался он от века по святому закону жизни. Сперва у человека отнимали свободу, дом, родину и везли на безыменный лесной пустырь. Потом у человека отнимали на вокзальной площади его вещи, письма, фотографии его близких, затем за лагерной оградой у него отнимали мать, жену, ребенка. Потом у голого человека

---

<sup>114</sup> Там же, С. 438.

забирали документы, бросали их в костер: у человека отнято имя. Его вгоняли в коридор с низким каменным потолком — у него отняты небо, звезды, ветер, солнце<sup>115</sup>.

В конце лета 1944, когда Гроссман ходил по Треблинке и писал о ней, он был членом Еврейского антифашистского комитета: третий пленум комитета «доизбрал» его в первые дни апреля того же года, и под обращением к евреям всего мира, принятым «третьим митингом представителей еврейского народа» 2 апреля 1944 года в Москве, значится и его подпись. Гроссман вошел в комитет, чтобы принять участие в работе над «Черной книгой».

Эренбург сообщает:

В конце 1943 года, вместе с В. С. Гроссманом, я начал работать над сборником документов, который мы условно называли «Черной книгой». Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории<sup>116</sup>.

В докладе ответственного секретаря Еврейского антифашистского комитета Шахно Эпштейна на том же третьем пленуме «Черной книге» был посвящен особый раздел: «Проведена большая подготовительная работа по составлению и изданию «Черной книги» фашистских зверствах над еврейским населением во временно захваченных советских районах и оккупированных странах. «Черная книга» явится обвинительным актом еврейского народа против фашистской Германии и ее сателлитов... Она будет издана на русском, английском, еврейском, древнееврейском, испанском, немецком и других языках». Далее назывались организации за рубежом, участвующие в составлении и издании «Книги», — из США, Великобритании и Палестины, —

---

<sup>115</sup> Там же, С. 433.

<sup>116</sup> Эренбург, И., ук. соч., С. 411.

и сообщалось, что «каждая из перечисленных стран выделяет своих представителей в редакционный совет» и, наконец, что «создана специальная литературная комиссия, под председательством И. Эренбурга, по составлению и изданию «Черной книги на русском языке»<sup>117</sup>.

Эренбург продолжает: «"Черная книга" была закончена в начале 1944 года. Я поместил в "Знамени" несколько отрывков. Наконец книгу отпечатали. Когда в конце 1948 года закрыли Еврейский антифашистский комитет, книгу уничтожили»<sup>118</sup>.

Уже простое сопоставление этих трех цитат показывает, насколько неточен и неряшлив Эренбург в этом эпизоде своих воспоминаний (как, впрочем, и во многих других, если не во всех эпизодах). Совершенно очевидно, что в начале 1944 года работа над «Книгой» была в самом разгаре, публикации на идише и на русском, появившиеся в 1944–1945 годах, носили характер предварительный. Впрочем, это относится скорее к биографии Эренбурга, нежели Гроссмана, поскольку основным составителем, редактором, организатором, главной движущей силой всего дела был Эренбург. Гроссман, несомненно, читал все, но непосредственно ему принадлежали следующие материалы: литературная обработка восьми документов (свидетельских показаний, дневников и т. п.), очерки «Убийство евреев в Бердичеве» и «Треблинка» (сокращенный вариант «Треблинского ада») и общее предисловие, написанное, по всей очевидности, в 1946 году<sup>119</sup>.

Очерк о Бердичеве, где, как уже упоминалось, погибла мать Гроссмана, написан по собственным впечатлениям писателя.

---

<sup>117</sup> Еврейский народ в борьбе против фашизма, Материалы III антифашистского митинга представителей еврейского народа и III пленума Еврейского антифашистского комитета в СССР, М., Дер эмес, 1945, С. 89–90.

<sup>118</sup> Эренбург, И., ук. соч., С. 418.

<sup>119</sup> Об этом свидетельствует упоминание о начавшемся Нюрнбергском процессе (декабрь 1945), а также тот факт, что рукопись «Черной книги», в том виде, в каком она известна ныне по иерусалимской публикации, поступила в Палестину в 1946 году.

Эти же впечатления, эти же факты, собранные на развалинах бердичевского гетто, в поисках следов убитой Екатерины Савельевна Гроссман, нашли себе место в последнем письме Анны Семеновны Штрум к сыну («Жизнь и судьба», Часть I, глава 18).

Очерк:

«Немцы вошли в город в понедельник 7 июля 1941 года в 7 часов вечера»<sup>120</sup>.

Роман:

«Седьмого июля немцы ворвались в город»<sup>121</sup>.

Очерк:

«4 сентября, спустя неделю после организации гетто, немцы и предатели-полицейские предложили 1500 молодым людям отправиться на сельскохозяйственные работы... в этот же день все они были расстреляны между Лысой Горой и деревней Хажиним. Палачи умело подготовили казнь, настолько тонко, что никто из обреченных, до самых последних минут, не подозревал о готовящемся убийстве... Им даже намекнули, что по окончании работ каждому будет разрешено взять немного картошки для стариков, оставшихся в гетто»<sup>122</sup>.

Роман:

«Сегодня немцы угнали восемьдесят молодых мужчин на работы, якобы копать картошку, и некоторые люди радовались — сумеют принести немного картошки для родных. Но я поняла, о какой картошке идет речь.»<sup>123</sup>

Немалое число деталей в еврейских главах романа восходит к «Черной книге», а есть и целые главы, вышедшие из того же источника, в их числе — глава о бухгалтере Науме Розенберге, которого немцы сделали «брэннером», сжигателем полусгнивших

---

<sup>120</sup> Черная книга, С. 28.

<sup>121</sup> Жизнь и судьба, С. 46.

<sup>122</sup> Черная книга, С. 30.

<sup>123</sup> Жизнь и судьба, С. 52.

еврейских трупов, прежде брошенных в общие ямы, а теперь подлежащих уничтожению — для сокрытия следов. Эта глава — 44-я Первой части — рождена «рассказом рабочих города Белостока, Залмана Эдельмана и Шимона Амиэля, сообщенным майором медицинской службы Нухимом Полиновским и подготовленным к печати Василием Гроссманом»<sup>124</sup>

Но главная связь опять-таки обнаруживается за событиями, за сюжетом.

Гроссмановское предисловие, во всяком случае в том, что касается общих соображений, концепций автора, кажется сегодня, на первый взгляд, достаточно примитивным. Недаром единственный авторитет, к которому апеллирует Гроссман, — это Сталин, его ответ Еврейскому Телеграфному Агентству в 1931 году: «Антисемитизм... является наиболее опасным пережитком каннибализма... Коммунисты ...не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма... Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью»<sup>125</sup>. И Гроссман вторит, да еще с каждением, от которых в годы войны воздерживался:

Черным идеям расизма советский народ и его Красная Армия противопоставили идеи советского гуманизма, в которых воспитаны красноармейцы, офицеры и генералы, вероломной и тупой стратегии немецко-фашистского командования Красная Армия противопоставила дальновидную и исполненную глубокого понимания движущих сил борьбы замечательную сталинскую стратегию<sup>126</sup>.

Растерянности и недоумений, которые он испытал, глядя на остатки тревлинского лагеря, тревлинского ада, больше нет. Средневековые антисемитские бредни возрождались гитлеровцами для того, чтобы «затемнить сознание народных масс»,

---

<sup>124</sup> Черная книга, С. 216.

<sup>125</sup> Там же, С. 5–6.

<sup>126</sup> Там же, С. 4.



чтобы подорвать идею братства трудящихся всего мира, без чего немислима реакционная захватническая война?»<sup>127</sup>. Теперь Гроссман знает, зачем немцы на всех оккупированных территориях выводили евреев под корень: чтобы обмануть все остальные народы и скрыть от мира свое подлинное лицо. Сначала, прикрываясь «черным туманом» расизма и антисемитизма, нацисты уничтожили «силы сопротивления немецкого народа»; потом, начав войну в Европе, под тем же прикрытием «готовили... кровавую расправу с поработченными народами»; наконец, «кровавая расправа над миллионами советских граждан и, в первую очередь, над евреями» целью своей имела «парализовать волю к сопротивлению свободолюбивого советского народа». Причем все это «являлось лишь первыми пробными шагами к реализации намеченной Гитлером программы истребления славянских народов», все было последовательными этапами одной «невиданных масштабов, величайшей в истории провокации»<sup>128</sup>. Но «мудрый разум народа разгадал, для чего затеяли фашисты чудовищную, кровавую провокацию». Русские и украинцы, белорусы и литовцы делали все возможное для спасения евреев; «лишь моральное отребье, подонки человечества, жалкие кучки уголовников и садистов вняли преступному зову гитлеровских пропагандистов»<sup>129</sup>. Да и сами евреи, хотя были захвачены врасплох и поначалу не могли представить себе, что их ожидает, хотя под немцами остались, главным образом, небоеспособные и слабые, все же пытались бороться и нередко боролись успешно.

Здесь примитивны и обесцвечены даже слова, не только мысли.

---

<sup>127</sup> Там же, С. 6.

<sup>128</sup> Что имеет в виду Гроссман под словом «провокация», не совсем ясно, но он употребляет его уже в «Старом учителе». Учитель Розенталь говорит: «Больше всего боюсь я... того, что народ, с которым я прожил всю свою жизнь... поддастся на темную подлую провокацию». Гроссман, В., Годы войны, С. 148.

<sup>129</sup> Черная книга, С. 15.

И все же, повторяю, так нам кажется только сегодня и только на первый взгляд.

Уцелевшие остатки европейского еврейства, равно как и евреи всего мира видели в Советском Союзе и его армии спасителей, заступников, освободителей. Даже бывшие польские евреи, испытавшие на собственном опыте, что такое советская власть и советские порядки, и спешившие вернуться в Польшу, разделяли этот взгляд. Тем естественнее и органичнее был он для Гроссмана, тем охотнее принимал и пропагандировал писатель официальные догмы.

Но догмы догмами, а практика практикой. К началу 1946 года не только бытовой, но и государственный антисемитизм в Советском Союзе уже не был тайной ни для кого из заинтересованных непосредственно лиц. (Не был он тайной, впрочем, и за пределами Советского Союза<sup>130</sup>.) в активную стадию государственный антисемитизм вступит позже, а пока главным его проявлением было молчание о Катастрофе; да и вообще слова «еврей» стараются избегать в каких бы то ни было контекстах<sup>131</sup>. Напомнить в полный голос о том, что произошло, напомнить об опасности антисемитизма для любого народа, в том числе и для свободолюбивого советского, да еще со ссылкой, хотя бы и устаревшей, на Сталина было на редкость важно; возможно, Гроссман надеялся, что такое напоминание, если оно будет одобрено свыше, изменит всю ситуацию. Или, по меньшей мере, уймет самых ретивых юдофобов, не позволит ситуации ухудшиться. Любил Гроссман Сталина или не любил — вопрос особый, но в 1946 году ни Гроссман, ни кто бы то ни было иной из обычных, т. е. не витавших в эмпиреях верховной власти людей и

---

<sup>130</sup> Достаточно сослаться на бюллетень «Joint Rescue Committee» при Еврейском Агентстве, выпущенный в марте 1945. Этот бюллетень подробно цитирует Григор Аронсон в указанной выше статье.

<sup>131</sup> Официозные и даже официальные объяснения в этот период сводились к тому, что немцы отравили сознание народа и бороться с отравой надо очень осторожно, исподволь, чтобы не спровоцировать взрыва антисемитизма.

помыслить не мог, что безнаказанность хулигана на улице и наглая улыбка начальника отдела кадров санкционированы одной и той же непререкаемой волею, и воля эта — Сталина, т. е. Государства, Партии, Советской власти; что все эти понятия — синонимы, в 1946 году уже не сомневался никто. Значит, надо только обуздать распоясавшихся неочерносотенцев, напомнить им святы азы марксизма сталинизма, надо припугнуть их именем и авторитетом Сталина и, конечно, довести до сведения самого Сталина, что происходит, потому что он, конечно же, понятия об этом не имеет, вводимый в заблуждение какими-то недобросовестными людьми. Я совершенно уверен, что, несмотря на вопиющую глупость этого мифа, Гроссман верил в него свято, когда писал предисловие к «Черной книге». Если бы он не верил, он не посмел бы повторить еще раз: «Можно с полной уверенностью сказать, что за всю историю человеческого рода не было совершено преступления, подобного этому»<sup>132</sup>. Если бы не верил, он никогда не отважился бы на следующие слова:

Всюду и везде — при наступлении на трудящихся, при расправе с интеллигенцией, при расправе с прогрессивными течениями в науке, литературе и искусстве, при погромах, учиняемых в научных учреждениях и университетах, при пересмотре школьных программ — фашисты прежде всего поднимали шум по поводу евреев. Евреи объявлялись универсальным источником зла буквально везде и всюду — в профсоюзах, в государственных учреждениях, в заводских цехах, в редакциях журналов и газет, в торговле, в философии, в музыке, в адвокатских обществах, в медицинской науке, в железнодорожном транспорте и т. д.<sup>133</sup>

Рука не поднялась бы вывести эти слова, потому что и в начале 1946 года они звучали убийственно опасным намеком. Прошло полгода — и доклад Жданова, постановление ЦК о журналах

---

<sup>132</sup> Черная книга, С. 2.

<sup>133</sup> Там же, С. 6.

«Звезда» и «Ленинград» грозно прояснили намек. А через три года намек превратился в очевиднейшую параллель. Оставалось либо зажмуриться, оберегая свою веру, либо расстаться с верою. Выбор Гроссмана нам известен.

20 августа 1946 года — важный и черный день в истории Советского Союза после войны: в этот день газета «Культура и жизнь» напечатала пространное сообщение, озаглавленное «о журналах «Звезда» и «Ленинград». Из постановления ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 г.» Искушенные в чтении между строк, чуткие к намекам советские люди мигом сообразили, что означает это «из: наверху, т. е. в ближайшем окружении «хозяина», Сталина, объявлена новая война — война всему, что хоть на миллиметр уклоняется от свыше утвержденной идеологической линии, война «буржуазной культуре Запада»<sup>134</sup>. По сути вещей не о культуре шло дело, не о двух литературных журналах, совершивших тяжкие идеологические ошибки, и не о Зощенко с Ахматовой, назначенных главными козлами отпущения. Постановление, так никогда полностью и не опубликованное, означало вступление Советского Союза в холодную войну, было первым документом, первым манифестом этой войны. Именно в эти дни, между 15 и 20 августа, произнес свой знаменитый доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград» Жданов. По неизвестным причинам доклад увидел свет<sup>135</sup> на месяц позже — 21 сентября, но зато уже в главной газете страны, в «Правде» что означало: борьба «на идеологическом фронте» против «безыдейности и пошлятины», «клеветы на нашу советскую культуру, на социализм», против «преклонения перед буржуазной культурой ...

---

<sup>134</sup> The Central Committee Resolution... Bilingual edition, Royal Oak, Mich., 1978, P. 4.

<sup>135</sup> Текст, известный повсюду под названием «Доклад Жданова», был в действительности «сокращенной и обобщенной стенограммой» двух докладов, произнесенных Ждановым на двух собраниях — ленинградского партийного актива и ленинградских писателей. См. Память. Исторический сборник, Выпуск 2, УМСА-Press, Париж, 1979, С. 448, 452.

находящейся в состоянии маразма и растрепанности»<sup>136</sup> и т. п. есть долг и задача всей страны, не только писателей, музыкантов, художников, но всех без изъятия, разумеется — под неослабным наблюдением партии. В докладе Жданова уже заключался весь набор не только «идей», но и бранных штампов<sup>137</sup>, которые, в различных комбинациях, составляли единственное содержание советской критики в течение следующих восьми лет, до начала «оттепели».

И сразу же, одновременно, в том же номере, «Культура и жизнь дала понять, кто главный носитель идеологической заразы — низкопоклонства перед Западом. Самой первой жертвой патриотической, антинизкопоклонской критики оказался Исаак Маркович Нусинов, хорошо известный и как ветеран марксистского литературоведения, и как активнейший участник еврейской (идиш) литературной жизни. Знаменитый советский поэт Николай Тихонов выступил со статьей под названием «В защиту Пушкина». Эта была рецензия на книгу Нусинова «Пушкин и мировая литература», вышедшую в 1941 (!) году. Тихонов обвинял Нусинова в клевете на Пушкина и на Россию: неправда, что Пушкин чему-то учился у Запада, что-то заимствовал у европейских умов и талантов — самородный русский гений в этом не нуждается. Заодно Тихонов наклеил на Нусинова ярлык космополита, «беспачпортного бродяги в человечестве», воскресив забытое ругательство Белинского, которое тот придумал в полемике против «западников» в 1840-х годах<sup>138</sup>. В 40-х годах нашего

---

<sup>136</sup> The Central Committee Resolution, PP. 28, 32, 34, 35.

<sup>137</sup> Хочется обратить внимание на то, что Жданов впервые ввел в советский идеологический оборот и термин «железный занавес», заимствованный из Фултонской речи Черчилля (март 1946), но, конечно, совсем по-иному истолкованный: «Как бы буржуазные политики и литераторы ни старались скрыть от своих народов правду о достижениях советского строя и советской культуры, как бы они ни пытались воздвигнуть железный занавес, за пределы которого не могла бы проникнуть за границу правда о Советском Союзе...» — Там же, С. 36.

<sup>138</sup> И. М. Нусинов был близким другом моего отца. Он рассказывал отцу, что пытался спорить, защищаться — написал статью «В защиту истины»,

века оно переменяло адрес и звучало безошибочным синонимом «еврея», «жида». Кто не понял Или не захотел этого понять сразу же, убедился в своей неправоте два с половиной года спустя, когда началась всенародная кампания по борьбе с космополитизмом и устойчивое словосочетание «безродный космополит» стало «эвфемизмом» столь же однозначным, как сегодня «сионист».

Такова была общественная атмосфера осенью 1946 года; в этой атмосфере было прочитано и осуждено первое произведение Гроссмана, напечатанное после войны, — пьеса «Если верить пифагорейцам».

Она появилась в июльском номере журнала «Знамя» за 1946 год, со следующим предупреждением «От автора»: «Эта пьеса была написана незадолго до войны... Ныне, после войны, я вновь перечел пьесу... Исчезли ли навечно мысли и чувства того, лежавшего перед войной времени? Стоит ли верить пифагорейцам? Легла ли непроходимая грань между тем временем, которое люди называют предвоенным, и тем, которое называется послевоенным? Поразмыслив, я решил, что во мне не хватит разумного оптимизма, чтобы назвать эту пьесу целиком и полностью устаревшей, и я решил ее напечатать<sup>139</sup>.

По моему убеждению, во всем наследии Гроссмана нет ничего хуже этой пьесы. Вся насквозь она фальшива, ложнопатетична, псевдофилософична. Все сюжетные линии надуманы, ходульны — и история старого изобретателя, закоренелого неудачника, умирающего в тот час, когда приходит успех; и история обюрократившегося коммуниста, которого постигает справедливая кара — исключение из партии за потерю чувства нового; и история счастливой любви интеллигентной девушки к простому

---

которую сам Александр Фадеев поначалу обещал помочь поместить в той же «Культуре и жизни» как ответ Тихонову. Разумеется, ничего из этого не вышло, а Фадеев забыл о своем неосторожном обещании... «...и я решил ее напечатать». — Знамя, 1946, № 7, С. 68.

<sup>139</sup> Знамя 1946, № 7. С. 68.

рабочему; и история несчастной любви, с покушением на самоубийство и с полным исцелением от страсти при помощи бодрого труда и прилежного учения. Невыносимо фальшивы и речи персонажей. Девушка любовно чистит грязный сапог своего любимого, рабочего-выдвиженца, и при этом наставляет неудачного своего вздыхателя-интеллигента: «Неврастеник!.. Вы со всеми вашими философскими потрохами не стоите вот этого сапога!»<sup>140</sup>

Критика растоптала, раздавила Гроссмана. Но критиковали его совсем не за то, за что стоило и следовало, а за пропаганду чуждой советским людям, злоредной, идеалистической философии пифагорейцев. Это обвинение должно было удивить даже самых ограниченных и толстокожих. Старик-изобретатель увлекается философией и много раз, как лейтмотив, повторяет заимствованное из очень популярной когда-то в России книги Теодора Гомперца «Греческие мыслители» (русский перевод вышел в 1911–1913 гг.) Пифагорейское изречение о вечном круговороте, вечной повторяемости всего сущего. Однако его опровергают бесспорно положительные персонажи — старый рабочий-коммунист, бывший рабочий и участник революции, сделавшийся ученым и полковником артиллерии. Первый кричит в ухо умирающему: «Не по кругу жизнь идет, слышишь, Андрей Александрович, а вперед, грудью! Твой светлый разум победил...»<sup>141</sup> Второй объясняет внуку Андрея Александровича: «Ваш дед считает, что в мире совершается вечный круг... Не верю я в это. Мир жаждет движения вперед. И в этом движении, рожденном величайшей и прекрасной революцией, смысл и счастье нашей жизни!»<sup>142</sup> Правда, он же у гроба старика признается своей бывшей, но все еще любимой жене, которая заявляет, что покойный со своими пифагорейцами был положительно неправ, что никаких повторений нет и быть не может: «Глядя на

---

<sup>140</sup> Там же, С. 91.

<sup>141</sup> Там же, С. 106.

<sup>142</sup> Там же, С. 87.



тебя, я думаю: как горько, что они не правы, — пусть будут правы, пусть повторится...»<sup>143</sup> Но и за всем тем любой, кто умеет читать по-русски, способен увидеть полную абсурдность предъявленного Гроссману обвинения<sup>144</sup>.

---

<sup>143</sup> Там же, С. 107.

<sup>144</sup> Главный удар был нанесен в «Правде», где со статьей «Вредная пьеса» (4 сентября 1946) выступил один из самых высокопоставленных и самых страшных критиков эпохи зрелого сталинизма Владимир Ермилов. Самый тон этого выступления мне представляется важным документом, который стоит напомнить старшему поколению и довести до сведения и сознания младшего. Поэтому позволю себе процитировать подробно. «Кто же в наши дни, кроме невежд или философских шулеров современного буржуазного декаданса, или, наконец, людей с мистико-идеалистическим вывертом в мозгах, может всерьез задумываться над вопросом: надо ли верить пифагорейцам? Неужели же автор всерьез задумал пьесу, посвященную столь актуальному» для широкого советского читателя вопросу: является ли правильным реакционно-идеалистическое учение, берущее истоки в одной из философских школ античной древности... учение об извечной циклической повторяемости всех периодов и явлений, о движении человечества не вперед, а по кругу, о «суете сует» и даже о... переселении душ и физических оболочек из одних эпох в другие эпохи и оболочки! Известно, что идеологи декаданса и такие мракобесы, прямые предшественники фашизма, как Шпенглер, Ницше, охотно на разные лады развивали подобного рода реакционные идейки. Они, эти идейки, в моде и сейчас у всех врагов прогресса и демократии, у всех тех, кто хочет привить молодежи наплевательское, циничное отношение к истории и к современности... с недоумением и возмущением мы убеждаемся в том, что В. Гроссман кокетничает с глубоко чуждой советским людям философией... В. Гроссман попытался показать советскую действительность в кривом зеркале пифагореизма. Он не заметил, как скатился на путь буржуазного декаданства, беспринципного заигрывания с реакционными идеями... Он решил опубликовать свое убудочное произведение... в скверные, однако, игрушки играет В. Гроссман, и в клеветническую, пасквильную картинку они складываются!.. Если бы В. Гроссман в самом деле хотел полемизировать с пессимистическими идеями вечного круговращения, то он должен был бы раскрыть новые закономерности нашего нового социалистического общества. Но у нас нет никаких оснований думать, что В. Гроссман хотел полемизировать с упадочническими идеями... Чем же кончилось заигрывание Гроссмана с пифагорейцами? Тем, что он написал двусмысленную и вредную пьесу, представляющую злостный пасквиль на нашу действительность, на наших людей... карикатуру на советское общество. Выходит, что не большевистская партия, с ее передовой идеологией, философией диалектического материализма, руководит

Нет ни малейшего сомнения, что видел ее и автор. Но защищаться он не мог — защищаться было смертельно опасно, строжайше запрещено, разрешено было только каяться. В том же номере «Знамени», где появилась пьеса Гроссмана, увидели свет стихотворения Михаила Исаковского «Враги сожгли родную хату...» (о горе солдата, вернувшегося с войны в свою сожженную дотла деревню, где погибла вся его семья) и Павла Антокольского «Невечная память». (поэт оплакивает мучеников Катастрофы и безумие человечества, допустившего Катастрофу)<sup>145</sup>. Оба стихотворения и оба поэта, столь разные, я бы даже сказал — противоположные по всем показателям, подверглись убийственной критике в печати и на собраниях в Союзе писателей — за пессимизм, упадничество, отсутствие бодрости и безоблачной веры в счастливое будущее, ибо только бодрость и вера нужны советскому человеку вообще и советской молодежи в частности и в особенности. Оба поэта признали свои ошибки. Каялся ли Гроссман, неизвестно<sup>146</sup>, но, во всяком случае, ему следовало понять и признать, что, говоря словами его авторского предуведомления, между предвоенным и послевоенным временем действительно легла непроходимая грань, что теперь, если хочешь быть цел и благополучен, лучше не философствовать хоть на волос самостоятельно, лучше не повторять сомнительные

---

советским обществом. Нет, в пьесе Гроссмана идеологическое руководство передается какому-то обломку старого мира, в котором смешались в одну кучу толстовство, пифагореизм, свои собственные доморощенные реакционные идейки». Многие из этих формулировок Ермилова были повторены буквально, слово в слово через шесть с половиной лет, при расправе над романом «За правое дело».

<sup>145</sup> Именно это стихотворение Антокольского я имел в виду во вступлении к настоящей работе.

<sup>146</sup> «Московское письмо» отвечает на этот вопрос категорически: «...Нет, никогда не каялся в том, что написал, презирал кающихся». Но именно категоричность этого «никогда» внушает некоторые сомнения в точности ответа: в 1953 году Гроссман признал свои ошибки публично («...В письме Секретариату Союза писателей после критики «За правое дело» Гроссман признал, что в романе уделено недостаточно внимания описанию рядовых бойцов...» — Бочаров, А., ук. соч., С. 190).

идеи и афоризмы, хотя бы и сопровождая их самыми сокрушительными опровержениями. Идейных неприятелей теперь следовало только бранить, и как можно грубее, повторять же, и как можно чаще, следовало только слова классиков марксизма, прежде всего — великого Сталина, и русских «революционных демократов» по строго установленному ждановским докладом списку: Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Салтыков, Щедрин, Плеханов<sup>147</sup>. Но, по-видимому, Гроссман этого по-настоящему не понял и, главное, не принял...

Я думаю, что в ударе, обрушившемся на Гроссмана, антисемитских резонов не было: ведь вместе с ним под карающую руку попал и такой образцово русский человек, как Михаил Исаковский. Зато следующий удар был уже неприкрыто погромным.

В самый разгар войны<sup>148</sup> Гроссман начал писать роман о Сталинграде. Под названием «За правое дело»<sup>149</sup> он был напечатан

---

<sup>147</sup> The Central Committee Resolution, pp. 24–27. Что я не преувеличиваю и не шаржирую, подтверждается как всей массой критической продукции 1946 — 1953 годов (творчество Ермилова может служить прекрасным образцом этой продукции), так и личными воспоминаниями каждого из нас, сознательных свидетелей, очевидцев зрелого сталинизма. Я помню, например, как в 1948 — 1949 гг. наш преподаватель марксизма-ленинизма заклинал нас, студентов-первокурсников филологического факультета Московского университета, даже не заглядывать в реакционные писания, которые он разоблачал в своих лекциях, — в Шопенгауэра, в Ницше... Я помню, как в 1950 году на государственном экзамене по тому же марксизму-ленинизму выпускник, инвалид войны, коммунист (правда, надо признаться, еврей) получил двойку только за то, что ссылаясь на протоколы съездов партии 20-х годов, которые он имел неосторожность прочитать... Я помню, как «макет», т. е. напечатанный типографским способом, в виде книги, но предназначенный для обсуждения текст новой «Истории философии», подготовленный в 1951 или 1952 году, был украшен следующей формулировкой: «идеалистическая сволочь Гегель». См. также статью Александра Некрича «Поход против "космополитов" в МГУ (Континент, 1981. № 28, С. 301 сл.).

<sup>148</sup> В 1943 году, т. е. сразу после окончания Сталинградского сражения. См. Бочаров, А., ук. соч., С. 15.

<sup>149</sup> В названии был понятный тогда для каждого намек на слова В. Молотова из его выступления по радио в первый день войны, 22 июня 1941: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». По сообщению Б.

в четырех номерах «Нового мира» (№№ 7–10) в 1952 году. Отрывки из незавершенной работы печатались в газетах и журналах с февраля 1945 по август 1949 года. Хронология этих «предпубликаций» довольно красноречива. Не считая самой первой (17 февраля 1945), все остальные приходятся на май 1948 — август 1949. Из библиографического указателя<sup>150</sup> видно, что в августе 1946 — апреле 1948 и в сентябре 1949 — июне 1952 Гроссман не напечатал ни строки. Первое двухлетие молчания объясняется тем, что опальный писатель должен был дожидаться если не прощения, то хотя бы некоторого забвения своих грехов: молчание было вынужденным. Но почему затем, напечатав за пятнадцать месяцев восемь отрывков из романа, он вновь умолкает почти на три года? Объяснения, как мне представляется, надо искать в общей ситуации тех лет.

Параллельно с усилением холодной войны усиливалось и давление внутри страны — террор, как физический<sup>151</sup>, так и идеологический. 13 января 1948 года был убит председатель Еврейского антифашистского комитета актер Соломон Михоэлс. По официальной версии, он попал под колеса грузовика, шофер которого скрылся бесследно, но уже в те январские дни поползли слухи, что это дело МГБ и что это только начало: за евреев возьмутся всерьез. Действительно, в ноябре того же года был закрыт и комитет, и еврейское издательство «Дер эмес», причем закрытие производил лично министр государственной безопасности и оно, как две капли воды, было похоже на погром. В типографии

---

Закса, бывшего сотрудника «Нового мира», «Гроссман назвал свой роман «Сталинград». Фадеев возражал: слишком ответственно... Кто-то придумал: «Правое дело». Фадеев прибавил спереди «за». Гроссман согласился» (Борис Закс, Немного о Гроссмане, Континент, № 26, С. 355). Воспоминания Закса подтверждаются тем обстоятельством, что в 1949 году Воениздат выпустил в виде брошюры отрывок из романа под названием: «На Волге. (Главы из романа «Сталинград»)».

<sup>150</sup> Русские советские писатели прозаики... С. 624–625 (Перечень выявленных первых публикаций).

<sup>151</sup> О послевоенных волнах террора см. Солженицын, А., Архипелаг ГУЛАГ, том 1, Париж, YMCA-Press, 1973, С. 92–103.

издательства солдаты ломали наборные машины и готовые печатные формы. Именно тогда, в ноябре 1948 года, и погибла «Черная книга»<sup>152</sup>. В конце ноября начались аресты членов президиума и ответственных сотрудников закрытого комитета. Забирали и «рядовых» членов комитета (к числу которых, как я уже упоминал, принадлежал с 1944 года Василий Гроссман), и тех, кто формально к комитету не принадлежал, но был так или иначе связан с еврейской культурой. В разгар этих арестов 28 января 1949 года, в «Правде» появилась статья под названием «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» — сигнал к началу тотальной антисемитской кампании, официально именованной кампания по борьбе с космополитизмом». Чтобы никто не усомнился в том, кто такие «безродные космополиты», враги всего русского, советского, социалистического, идеологические диверсанты, очернители нашей жизни и наших достижений, газеты и журналы впервые в истории советской печати прибегли к приему «раскрытия скобок», т. е. вслед за литературным псевдонимом, звучавшим вполне пристойно, по-русски, в скобках приводилась подлинная, непристойно-еврейская фамилия замаскировавшегося врага, например: Б. Яковлев (Хольцман). По всей стране проходили собрания и митинги с разоблачениями локальных, «своих», космополитов, причем не только в театральных или писательских организациях, но буквально везде — в вузах, исследовательских институтах, крупных больницах, даже на больших заводах. И, разумеется, — новые аресты, тоже повсюду. Но кроме арестов, космополитская кампания сопровождалась массовыми увольнениями с работы; за мнимые идеологические грехи теряли службу, понижались в должности преподаватели, ученые, врачи, инженеры; не было такой

---

<sup>152</sup> Я уже цитировал Эренбурга, который утверждает, что книгу отпечатали, а затем уничтожили. По моим сведениям, за точность которых я, впрочем, не ручаюсь, до печати дело так и не дошло и уничтожен был не тираж, а матрицы. Во всяком случае, сколько мне известно, никто и никогда не видел этой книги в отпечатанном виде.

группы интеллигенции, которая осталась бы не затронутой этими чистками.

Конечно, жертвами кампании были далеко не одни евреи, наоборот, в общем числе пострадавших они составляли меньшинство и, возможно, не слишком значительное. Но атмосфера антисемитской травли, созданная прессой и речами на собраниях, казалась важнее фактов и цифр, которых к тому же никто и не мог знать<sup>153</sup>

Вполне правдоподобно предположить, что Гроссман умолк, боясь за свой роман, боясь, как бы публикация новых отрывков не навлекла гнева литературного и партийного начальства и, тем самым, не закрыла бы книге в целом дорогу в печать.

Что думал он о событиях тех послевоенных лет, когда писал роман о Сталинграде, мы не знаем и гадать об этом на основании скудных мемуарных данных, которыми мы располагаем, не имеет смысла. Зато мы знаем, каков был плод его чуть не десятилетнего труда. Мы знаем, что не только Твардовский, главный редактор «Нового мира», но и Фадеев, главный хозяин советской литературы, генеральный секретарь и председатель правления Союза писателей СССР, всячески поддерживал Гроссмана, видимо считая его роман выдающимся произведением социалистического реализма<sup>154</sup>. и первые отклики на роман были вполне

---

<sup>153</sup> Так было и позже, в январе — марте 1953, в деле куда более открыто юдофобском - в деле врачей, когда газеты кричали о еврейском заговоре. Но когда после 4 апреля (официальное сообщение о невиновности «врачей-убийц») стали подсчитывать число евреев и неевреев среди арестованных, оказалось, что последних было, по меньшей мере, в три раза больше, чем первых.

<sup>154</sup> Ср. Борис Закс, ук. соч., С. 355. На редкость интересную поправку к свидетельству Закса делает «Московское письмо»: «Процесс публикации романа разворачивался трагически, трагичный конец был как бы предуганен всем ходом событий. По настоянию Твардовского и Тарасенкова, а затем Фадеева, без которых роман не увидел бы света, Василий Семенович внес в роман несколько мест, положений и даже персонажей. Так, потребовалось, чтобы у физика еврея Штрума был русский учитель, более крупный физик. Так возникла та фигура, которая оказалась весьма удачной, и она-то вызвала негодование критики. Так бывает только у

благоприятны: рождение эпопеи, историческая правда, верное изображение советского человека, психологическая глубина, выразительный образ великого Сталина, на мудрые высказывания которого автор неизменно ориентируется во всех своих оценках, и т. д.<sup>155</sup> Сегодня с этими суждениями (в их соцреалистической интерпретации, понятно!) трудно не согласиться. Гроссман, действительно, создал добротное, но идейно выдержанное эпическое повествование. Неблагоприятное, в целом, впечатление,

---

талантливых писателей. С другой стороны, под нажимом вышеуказанных товарищей возникла глава о Сталине (до этого Сталин упоминался только по делу, как Верховный). Этой главкой Василий Семенович был недоволен, стыдился ее, но уже было невозможно ее снять».

<sup>155</sup> Приведу несколько мест из рецензии Бориса Галанова, в ту пору литературного сотрудника «Правды», помещенной в довольно важном журнале «Молодой коммунист», главном теоретическом органе комсомола (1953, № 1, С. 117-123): «Книга эта — итог богатых наблюдений писателя, накопленных им в дни войны. Она волнует своим эпическим характером, правдивым изображением размаха народной войны, героики Сталинградской обороны. с большой силой в романе переданы писателем величие и красота борющегося и побеждающего народа... Святая любовь к социалистической родине лежит в основе их поступков и именно поэтому непоколебимая воля защитников Сталинграда, их сила, мужество, решимость воспринимаются нами не как некие отвлеченные, общечеловеческие качества, а как коренные, типические черты характера советского человека... В оценках событий Отечественной войны писатель опирается на высказывания товарища Сталина, на гениальный анализ военных действий, содержащийся в выступлениях товарища Сталина, в приказах Верховного Главнокомандующего. Образ великого вождя обрисован на страницах романа скупо и вместе с тем чрезвычайно выразительно... Мудрые высказывания товарища Сталина не раз приводятся в тексте романа, точно прожектором освещая картину гигантского сражения. в характеристике Гитлеровской армии писатель также исходит из оценки, данной товарищем Сталиным немецкому фашизму... Даже самые печальные страницы романа согреты светлым, оптимистическим чувством, в душах людей нетленно живет глубочайшая вера в торжество нашего правого дела». Главный недостаток книги, по мнению Галанова, в том, что в ней нет «крупных и ярких образов», включившихся активно в действие», а также в том, что «недостаточно показана та огромная повседневная политико-воспитательная работа, которую вела партия на фронте через политработников». Эта статья обошлась Галанову дорого: его выгнали из «Правды».

которое оно производит сегодня<sup>156</sup>, означает только то, что литературная добротность и идейная выдержанность образца 1946–1952 годов — вещи, на самом деле, несовместимые и что роман заслуживал благосклонности первых своих критиков.<sup>157</sup>

### *Примечание 156*

В романе «За правое дело» есть неоспоримые литературные достоинства, хорошие и даже прекрасные эпизоды, например, боя за Сталинградский вокзал (С. 587–620, по изданию 1955 г.) встреча майора Березкина с женой и дочерью (С. 504–510), бомбардировка Сталинграда (С. 359–363), степной пейзаж (С. 148–150), пейзаж военной Москвы (С. 123). Я приведу лишь крохотную (по масштабам романа) картинку, легко вынимающуюся из контекста:

Она увидела лежавшую посреди бульвара старую, бедно одетую женщину с волосами, склеенными кровью, а рядом с ней на коленях стоял полнолицый человек в нарядном сером плаще и, поддерживая старуху, говорил:

— Мама, мама, да что с вами, мама, скажите, мама, мама!

Старуха погладила по щеке стоящего на коленях мужчину, и Женя, точно в мире не было ничего, кроме этой морщинистой

---

<sup>156</sup> Длинное примечание 156 см. отдельно в тексте. (*Примечание Ж. Х.*)

<sup>157</sup> Замечу кстати, что, по-видимому, роман был встречен благожелательно и читателем, возможно — в силу того, что он все же выделился на фоне литературной продукции последних лет жизни Сталина. Во всяком случае, многие сохранили добрые воспоминания об этой книге. Так, профессор-лингвист Виктор Давидович Левин, читательские качества которого вне всяких подозрений, сказал мне летом 1981 года: «Прекрасная была книга!» — «А вы пробовали ее перечитать?» — «Нет». В этом-то все и дело: старый читатель продолжает смотреть на КНИГУ глазами 1952 года и помнит не роман, а свои тогдашние впечатления от него, да еще страшную судьбу Гроссмана. Роскина (ук. соч., С. 119) тоже сохранила добрые, в целом, воспоминания о романе и тоже, скорее всего, его не перечитывала, о чем свидетельствует, например, такое ее утверждение: переделывая журнальный вариант, Гроссман «сделал то, что от него требовали, а именно — вставил главы о Сталине» (там же, С. 11). В действительности никто и никогда от Гроссмана этого не требовал, новых глав о Сталине писатель не добавлял, а старые сократил, так что в отдельном издании Сталина меньше, чем в журнальном варианте.



руки, увидела все, что выражала она: и ласку матери, и просьбу младенчески беспомощного существа, и благодарность сыну за любовь, и слезы, и утешение сыну за то, что он, достигший силы, так слаб и беспомощен, и прощение ему в том, в чем он виноват, и расставание с жизнью, и желание дышать и видеть свет.

Женя, подняв руки к жестокому, рычащему небу, закричала:

– Что вы делаете, злодеи, что вы делаете? (С. 377).

Но все же общий тон романа определяют не эти эпизоды и детали, а, в лучшем случае, вялость, стесненность дыхания, внутренняя фальшь при внешнем правдоподобии (см., напри мер, отнюдь не «нагруженную» идейно главу о шахтере Новикове — Часть вторая, гл. 46), в худшем же — напыщенность, риторика, ненавистное автору «Жизни и судьбы» старание поспеть за временем. Вот несколько образцов разного рода:

И все эти случайные воспоминания, внезапные, мимолетно возникшие мысли объединились вокруг большого и важного, самого главного и значительного. Партия посылала на трудную работу знакомого Спиридонову человека, партийного товарища, большевика. И те великие связи, которые определяли жизнь страны, с какой-то особой силой вдруг ощутил в душе своей Степан Федорович, с той особой силой, с которой всегда ощущается самое главное, сокровенное в дни тяжелых испытаний.

Партия организовывала батальоны, полки, дивизии!

Партия организовывала военно-промышленную мои страны!

Партия напутствовала сыновей своих словами правды, суровой, как сама жизнь. Сколько веры в победу в этих суровых словах правдыю (С. 54–55)

Централизованная мощь государства — Комитет Оборона организовал перемещение миллионов людей и огромных масс промышленного оборудования из западных районов на восток, Где планирующий разум Советского государства создал. мощную угольную и металлургическую промышленность Урала и Сибири... Партия повела рабочие батальоны на трудный подвиг сквозь мрак сибирских ночей, под вой метелей, среди сугробов снега... Бесперывно идущая вверх кривая военного производства сулила победу советским рабочим и инженерам в битве за количество и качество военных моторов. (С. 184–185)

Его по-новому заняла не новая для него мысль, что внешне резкие различия советских людей, наружность, профессия, сфера интересов часто поверхностны и мешают определить единство. (С. 218)

В эти минуты Крымова охватило состояние высшего напряжения всех душевных сил, состояние, подобное вдохновению. Дело было не только в решимости отдать свою жизнь, дело было в страстном трудовом порыве вложить с наибольшим смыслом все свои силы в борьбу. (С. 394)

### Мысли Штрума:

Казалось, он достиг того, о чем мечтал в юности. И все же его не оставляла душевная неудовлетворенность. Минутами ему представлялось, что главный поток жизни идет мимо него, и ему хотелось слить воедино, соединить свою кабинетную работу с тем огромным делом, которое творилось на заводах, в шахтах, на стройках страны... (С. 106–107)

Говорит Александра Владимировна Шапошникова: «...Ты органически не можешь понять, что работа в огромном коллективе - источник постоянной моральной зарядки» (С. 56).

О тезисе Гераклита «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку») «Но кого из тех, кто жил в России в советское время, удивляла истина, озарившая грека? Она ныне из области философского мышления возведена в ощущение действительности, общее академикам и рабочим, колхозницам и школьникам (С. 33).

Удивительно, что эмигрантский рецензент этого не заметил (см. Анатольева, Н., В неравном бою, // Грани, № 18, 1953, С. 109–117; в этой статье дан подробный и полный обзор антигроссмановской кампании 1953 года).

*(Конец примечания 156 — Ж. Х.)*

Но Гроссману и его доброжелателям не повезло.

В тот самый месяц, когда появился первый из четырех номеров «Нового мира» с романом Гроссмана, шли тайные заседания Военной Коллегии Верховного суда СССР по делу Еврейского антифашистского комитета, закончившиеся 32 смертными приговорами. В ноябре 1952 года, сразу после того, как вышел в свет последний из этих четырех номеров, начался процесс Сланского-Геминдера в Праге. Впервые в послевоенные годы прозвучали обвинения в сионизме, впервые еврейское происхождение обвиняемых подчеркивалось в обвинительных актах и выставлялось в качестве корня и истока их преступлений против народа и социализма и в пользу американского империализма. Пражский процесс с первого дня (22 ноября) до приведения в исполнение 11 смертных приговоров (3 декабря) освещался в печати неопустительно, ежедневно, так что читателям «Правды» и «Известий» было вполне ясно: беда надвигается не только на чешских и словацких евреев, но и на наших — российских, советских. 13 января 1953 года газеты сообщили о раскрытии заговора еврейских врачей, которые по заданию мирового сионизма взялись истребить руководителей партии и государства. Все советские люди призывались к неусыпной бдительности в разоблачении врагов, которые наконец были названы своим настоящим именем — евреи. Философ Дмитрий Иванович Чесноков, только что избранный членом Президиума ЦК, один из последних сталинских фаворитов, уже готовил труд, доказывавший, что евреи по самой своей природе всегда были врагами народа и социализма; при этом он ссылался на опыт товарища Сталина и его соратников, разгромивших оппозиционеров всех мастей в 20-е и 30-е годы, — все оппозиционеры были евреи. Одновременно с теоретической работой принимались меры практического характера — шла подготовка к окончательному решению еврейского вопроса» в советском варианте: к депортации евреев, по собственному их желанию, в Сибирь. И если слухи о тайном процессе по делу Еврейского антифашистского комитета не просачивались вовсе, о

судьбе убитых не знали даже их семьи, то теперь, в январе 1953, Москва, да и вся страна вслед за Москвой, гудели от слухов, очевидно, умышленно распускавшихся самим МГБ.

В этих обстоятельствах представлять роман, написанный евреем, как образец советской эпопеи было немислимо.

Снова следует признаться, что мы не знаем, откуда вышел приказ уничтожить Гроссмана, ясно только, что из сфер самых высоких, может быть — и от самого Сталина<sup>158</sup>. Во всяком случае, 13 февраля 1953 года, ровно через месяц после первого сообщения об «убийцах в белых халатах», в «Правде» появилась статья писателя Михайла Бубеннова, конкурента Гроссмана по военной теме и одного из самых черных антисемитов советского литературного мира. Вот главные пункты этого обвинительного заключения.

Гроссману «не удалось создать ни одного крупного, яркого, типичного образа героя Сталинградской битвы... Образы советских людей... обеднены, принижены, обесцвечены». Гроссман не создал ни одного яркого образа коммуниста и вообще не показал партию как организатора победы...». Не показал он также и «массового трудового героизма рабочих Сталинграда». Вместо всего этого он вывел на первый план «обывательскую, серенькую, с мелкими страстишками» семью, главное внимание уделив профессору Штруму. (В накаленной антисемитской атмосфере тех дней это расшифровывалось мгновенно и однозначно: выбрал в главные герои человека с еврейской фамилией.) Штрум «не имеет никакого отношения к войне» (снова вполне понятный намек: евреи не воевали), но без конца рассуждает о ней. «Вместо мыслей подлинных представителей народа автор с настойчивостью, достойной лучшего применения, передает нам мысли, рассуждения Виктора Штрума». (Читай: какое дело

---

<sup>158</sup> Ср. Свирский, Григорий, на лобном месте, Overseas Publications, Лондон, 1979, С. 72–73. По Свирскому Бубеннов отправил Сталину письмо-донос, а Сталин переслал его в «Правду» со своими поправками. Надо, однако, иметь в виду, что книга Свирского - источник весьма мало надежный.

еврею Гроссману до мыслей и чувств простого русского человека?) Из-за пристрастия к «серым, бездействующим персонажам» Гроссман оставил в тени подлинного героя — «могучего русского советского человека, с богатой и красивой душой, беспредельно любящего Родину». Рассуждения Штрума и его учителя, старого академика, о гитлеровской Германии — «болтовня, только мешающая понять... сущность фашизма». В них слышатся отголоски «все той же, издавна и горячо любимой Гроссманом... реакционной теории пифагорейцев... Идейные пороки романа «За правое дело» не новы — это рецидивы старых ошибок писателя. Судя по всему, В. Гроссману не удалось еще вырваться из плена порочных «теорий». В то время, когда Коммунистическая партия, товарищ Сталин призывают к изучению объективных экономических законов<sup>159</sup> развития общества, В. Гроссман устами своих героев проповедует внеисторические реакционные идеалистические взгляды». Далее Бубеннов упрекает Гроссмана в том, что он «неверно осмыслил подвиг советских Воинов» — вместо «презрения к смерти» и «веры в победу» подчеркнул «мотивы обреченности и жертвенности», а также в том, что роман плохо построен композиционно и плохо написан, что, впрочем, понят но: «Идейная слабость... повлекла за собой и слабость художественную». В заключение Бубеннов ругает критиков, которые «безудержно восхваляли» роман Гроссмана на обсуждении в Союзе писателей («Раздавались голоса: «Роман "За правое дело" — это советская «Война и мир», «энциклопедия советской жизни») и в печати.

В феврале — мае 1953 года разные газеты и журналы, в том числе «Известия», «Литературная газета», главный теоретический журнал партии «Коммунист», напечатали еще десять статей и заметок<sup>160</sup>, повторивших на все лады бубенновские

---

<sup>159</sup> Намек на последнее сочинение Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», которое вышло в свет в 1952 году и — в принудительном порядке — изучалось всем взрослым населением СССР.

<sup>160</sup> Длинное примечание 160 см. отдельно в тексте. (*Примечание Ж. Х.*)

изобличения, часто — в намного более грубой и прямо непристойной форме.

### *Примечание 160*

Я процитирую некоторые из них.

Из статьи А. Лекторского «Роман, искажающий образы советских людей» (Коммунист, 1953, № 3, С. 106-115):

Доморощенная философия В. Гроссмана... состоит из обрывков идеалистической философии энергетизма, «подсознательного» фрейдизма, мистико-дуалистической философии извечной борьбы двух неизменных и вечных начал в мире: добра и зла, света и тьмы... Такая «философия» ведет прямо в плен идеологии буржуазного национализма и расизма, как бы ни открещивались от этой «идеологии» на словах главные герои романа Гроссмана... Образ Штрума является фальшивым образом, клеветой на передовых советских ученых... Автор романа «За правое дело», опираясь на свою гнилую философию, не сумел отразить в своем произведении..., организующую и направляющую роль партии Ленина — Сталина... В карикатурной форме изображены писателем многие видные военачальники и командиры... в злостно-клеветнических тонах автор характеризует офицеров Наркомата обороны... В. Гроссман нарушает основной закон реалистического искусства, выдавая нехарактерные, нетипичные для нашей действительности персонажи за решающие... Простые советские люди - бойцы Советской Армии, рабочие, колхозники — Изображаются писателем в большинстве случаев примитивными, мало культурными, а порой и глупыми... В. Гроссман, хотел он этого или не хотел, извратил облик человека эпохи социализма и создал, по существу, пасквиль на советских людей и советский быт.

Из редакционной статьи «О романе В. Гроссмана «За правое дело» (Молодой коммунист, 1953, № 4, С. 127–128):

Вопреки глубочайшему сталинскому анализу истинных причин второй мировой войны, возникновения фашизма В. Гроссман рассматривает эти события с точки зрения извечной борьбы некоего отвлеченного добра со столь же отвлеченным злом... Создается впечатление, что эти идеалистические, антимарксистские взгляды сродни не только героям, но и автору... Людей

с мелочными душонками В. Гроссман выдает за типичную советскую семью... В романе «За правое дело» искажен духовный облик советских людей, опошлены их высокие патриотические чувства... «Правда» и «Коммунист» совершенно правильно критиковали журнал «Молодой коммунист» за опубликование ошибочной статьи Б. Галанова «Эпопея народной борьбы» в № 1 журнала. В этой статье порочный роман В. Гроссмана без всяких на то оснований был отнесен к числу выдающихся произведений и совершенно не были вскрыты идеалистическая философия, коренные идейные и художественные пороки романа». Последние две фразы — хороший образец самобичевания, или, лучше сказать, самооплевания, столь характерного для интеллектуальной жизни в сталинской России.

Журнал «Звезда» (Ленинград) поместил в майском номере подборку из трех писем читателей, военных и бывших военных (С. 186-188). В первом из них инженер-капитан Н. Лещинский разоблачает «глубоко чуждую марксистско-ленинской философии» концепцию Гроссмана, которая есть не что иное, как «месиво реакционных теорий», и которая «справедливо вызывает суровое осуждение со стороны советских читателей». Два других письма (под заголовками «Это не герои Сталинграда» и «Нечему учиться у таких героев») утверждают, что «пустые, никудышные, ущербные образы, созданные писателем, не имеют никакого отношения к подлинным, живым героям бессмертной Сталинградской эпопеи», что Гроссман «пренебрег важнейшим требованием социалистического реализма», а именно — обязанностью писателя «выявлять и показывать лучшие душевные качества и типичные положительные черты характера рядового советского человека, создавать яркие художественные образы, достойные подражания».

Особого внимания заслуживает статья Мариэтты Шагинян «Корни ошибок» (с подзаголовком «Заметки писателя»), напечатанная в газете «Известия» 26 марта 1953. Шагинян, известная и старая уже в ту пору (она родилась в 1888 году) писательница, прекрасно образованная и бесспорно одаренная, близкая ко многим великим фигурам русского «серебряного века», казалось бы, не могла участвовать в погроме. Именно поэтому ее «лепта» самая грязная.

...Роман В. Гроссмана не похож на то, что мы пережили сами, своим сердцем, видели своими глазами... с каждой его страницей, с каждым авторским «обобщением»... мы чувствуем нарастающую фальшь, удаление от правды. Искажение действительности... Советский писатель, странным образом, дает нам

пережить не правдивое, подъемное чувство веры в свои силы, в победу, в мощь нашего строя, в организующую волю партии, а унижительное, обывательское, заячье ощущение Великой Отечественной войны как чего-то стихийного, случайного и страшного... Мотивы обреченности, жертвенности, постоянно подчеркиваемые автором, порою звучат как пораженчество, создавая извращенную картину живой действительности... То, что рассказывает В. Гроссман о легендарных героях Урала, о производственниках, дававших вооружение Красной Армии, является грубым извращением жизненной правды и вызывает в читателе чувство Гневного протеста и в то же время стыда за автора, недоумения, как мог художник написать эти пустые, ничтожные страницы... Советский писатель, 35 лет проживший в мире социализма, не смеющий не знать великого учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, внезапно решил поставить все вещи с ног на голову, объявив, что не бытие определяет сознание, а придуманный им «закон морали» определяет сознание...

Далее Шагинян подробно объясняет безосновательность и бесплодность попыток Гроссмана «вести рассказ «под Льва Толстого» и, в частности, упрекает его в «подчеркивании выдуманной «правды» как главного своего героя, вылившемся в порочный по духу, натуралистический по форме «объективизм», и заключает следующим абзацем:

Роман В. Гроссмана о Великой Отечественной войне советского народа проникнут духом «перепуганного интеллигентика»; «философия» автора ущербна, реакционна, как небо от земли далека она от марксистско-ленинского понимания явлений общественной жизни; под механическим подражанием стилистической манере Л. Толстого скрывается неумение или нежелание автора глубоко познать и правдиво отразить самый трудный период жизни нашего социалистического общества.

Я так подробно останавливаюсь на этом «избиении лежащего» не только потому, что оно в высокой степени показательно для духа времени, для характеристики эпохи, а между тем наглухо забыто, и надо добавить: забыто умышленно — следов его не найти ни в монографии о Гроссмане А. Бочарова, на которую я уже ссылался неоднократно, ни в общих работах по истории литературной критики в Советском Союзе, я думаю, что оно глубоко повлияло на Гроссмана, что эти потоки грязи, лжи, брани, угроз, прямой и злостной клеветы, нутряной ненависти, наконец, раскрыли ему глаза на многое, чего он раньше не хотел



замечать, я думаю также, что единодушные участники избиения — от неведомых сержантов запаса до генерал-лейтенантов действительной службы, от темного, дремучего Бубеннова до просвещенной и утонченной Шагинян — сыграли в этом прозрении важную роль.

*(Конец примечания 160. — Ж. Х.)*

Проворно отрекся от своего протеже и Александр Фадеев<sup>161</sup>. Ударила по своему бывшему сотруднику и военная газета «Красная звезда», для которой Гроссман писал — и с таким успехом! — всю войну.

Гроссман покался, написал письмо в Союз писателей, признавая свои ошибки и правоту критиков. Но не покаяние спасло Гроссмана, а смерть Сталина. В обстановке «оттепели», которая дала себя знать сразу же (4 апреля газеты сообщили, что заговор врачей-убийц — выдумка, провокация МГБ), травля Гроссмана была анахронизмом, делом инерции, скорее даже редакционно-издательской (статьи и читательские отклики заказаны, прямого указания прекращать кампанию нет, почему бы и не напечатать готовые материалы?), чем идеологической. Действительно, уже в 1954 году роман вышел отдельным изданием с Поправками — против журнального варианта — весьма незначительными и, в сущности, ничего не менявшими. Несмотря на это, Фадеев снова поддержал Гроссмана своим авторитетом и именем, написав соответствующее письмо в издательство<sup>162</sup>. Критика же на этот раз была безмолвна: ни одного отзыва о так называемом «исправленном варианте в печати не появилось, хотя Книга вышла

---

<sup>161</sup> В выступлении на Президиуме правления Союза писателей 24 марта 1953 Фадеев не просто повторил обвинения из «Правды» и «Коммуниста», но и объявил Гроссмана еврейским националистом. См. Литературная газета, 28 марта 1953; см. также Ямпольский, Борис. Последняя встреча с Василием Гроссманом. //Континент, № 8, С. 149.

<sup>162</sup> См. Фадеев, А. За тридцать лет. М., Советский писатель, 1957, С. 794–796.

двумя изданиями в Военном издательстве (1954 и 1955) и еще одним в «Советском писателе» (1956).

По тем временам это была не амнистия, а реабилитация, признание, пусть только де-факто, правоты автора и неправоты партийной критики. Прежний путь снова открывался перед Василием Гроссманом — путь официально признанного и преуспевающего советского писателя. Казалось, он и двинулся этим путем. В конце 1955 года, к пятидесятилетию со дня рождения, он получил достаточно высокий орден (Трудового Красного знамени), и Секретариат Союза писателей поздравил его с юбилеем, отметив, что Гроссман «более двадцати лет неустанно и плодотворно работает на благо советской литературы»<sup>163</sup>. В 1958 году Военное издательство выпустило большой (более 500 страниц) сборник повестей, рассказов и очерков 30-40-х годов, своего рода итог, знак взаимного примирения. В предисловии к сборнику, написанном авторитетным и умным критиком и литературоведом Федором Левиным, нет, разумеется, и намека на погром 1953 года, напротив, все, написанное Гроссманом, кроме пьесы «Если верить пифагорейцам», оценивается в высокой степени положительно, в том числе — и «За правое дело»: «...займет значительное место в советской литературе», «...широкое полотно, отразившее народный характер войны и величие народного подвига», Гроссман «сделал своим героем народ и правду о нем...» и т. п. И общий вывод: «Велика его любовь к народу, к родной земле, к социалистическим основам, на которых строится наша жизнь... Он страстно предан идее мира, идее справедливой человеческой жизни, которая возможна только в нашем социалистическом обществе»<sup>164</sup>. Но в то самое время, когда критик писал эти строки, Гроссман писал «Жизнь и судьбу».

---

<sup>163</sup> Цитирую по Левин, Ф. Василий Гроссман // Гроссман, В., Повести. Рассказы. Очерки, С. 6.

<sup>164</sup> Там же, С. 14.

Выбор, и выбор бесповоротный, был сделан. К сути его и мотивам я вернусь позже, после разговора об обоих романах. А пока проследим судьбу «Жизни и судьбы».

Гроссман закончил роман в 1960 году и отнес его в журнал «Знамя». Логичнее было бы обратиться в «Новый мир», потому что, несмотря на перемену названия<sup>165</sup>, это была все же «вторая книга» дилогии: в конце как журнального, так и книжного вариантов «Правого дела» значилось — «Конец первой книги». Но у Гроссмана вышла размолвка с главным редактором «Нового мира» Твардовским<sup>166</sup>, и еще до окончания работы он заключил договор со «Знаменем». Главный редактор «Знамени» Вадим Кожевников переотправил роман в отдел культуры ЦК<sup>167</sup>, не извещая, конечно, об этом автора. Прошло несколько месяцев —

---

<sup>165</sup> Возможно, что, по авторскому замыслу, название должна была переменить вся дилогия. Не случайно А. Бочаров, один из немногих (если не единственный), кто обследовал архив Гроссмана, назвал главу о «Правом деле» «Жизнь человека и судьба человечества» (Бочаров, А., ук. соч., С. 178). Еще один намек мы находим в тексте главы: «Основной круг его философской проблематики — жизнь и судьба...» (там же, С. 186). Однако во втором томе «Записок об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской (УМСА-Press, Париж, 1980, С. 601) приводится важная для истории романа цитата из самого Гроссмана: «В 1960 году, в № 21 газеты «Советский воин» он сообщил читателям: «...я закончил большой многоплановый роман «Жизнь и судьба». Работал над ним около десяти лет. В этой книге действуют многие герои, известные читателям по роману «За правое дело». Ясно, что Гроссман избегает прямо называть Вторую книгу продолжением Первой. Это подтверждается и Московским письмом»: «Василий Семенович считал, что «Жизнь и судьба» — вещь самостоятельная, хотя и связанная с первой книгой».

<sup>166</sup> По сообщению Н. Роскиной (ук. соч., С. 115), причиной ссоры было то, что Твардовскому «не понравился рассказ Гроссмана "Тиргатен", и между ними произошел резкий разговор».

<sup>167</sup> Не вполне ясно, прочел ли он роман сам. Е. Г. Эткинд в предисловии к роману пишет: «Читали роман несколько членов редколлегии... донос... написали... втроем: Вадим Кожевников... Людмила Скорино и Александр Кривицкий» (Жизнь и судьба, С. V). Б. Закс (ук. соч., С. 356) сообщает: «Как стало известно впоследствии, стоило в "Знамени" ознакомиться с романом всего лишь одному члену редколлегии, как рукопись тут же переотправили в ЦК». Если версия Закса верна, то этим членом редколлегии был, видимо, Б. Галанов, как это явствует из мемуаров Н. Роскиной (ук. соч., С. 115).

ответа из «Знамени», т. е. по сути дела из ЦК, не было. Тем временем Гроссман помирился с Твардовским и попросил его прочитать роман. Борис Закс сообщает<sup>168</sup>:

Он прочитал роман сам, дал прочесть нескольким членам редколлегии. По поводу возможности опубликования романа у него не возникло ни малейших иллюзий. Роман явно непроходим, его не то что в «Знамени» — ни в каком другом — журнале не напечатать. В романе нарушены все табу... Ситуация была абсолютно безнадежной, ничего утешительного сказать Гроссману Твардовский не смог.

Помню, как сидел он у себя в кабинете, облокотившись на письменный стол и, в буквальном смысле слова, схватившись за голову.

— Господи, — с горечью говорил он, — неужели у этого человека нету ни одного друга, который объяснил бы ему, что нельзя, невозможно было отдавать этот роман в «Знамя»!

Почти год ждал Гроссман ответа и наконец-то дождался: ему вернули рукопись, коротко сообщив (от редакции, разумеется, без всякой ссылки на ЦК), что, мол, роман антисоветский».

Вскоре после этого, в феврале 1961<sup>169</sup>, к Гроссману домой явились сотрудники КГБ с ордером на арест рукописи. Они забрали все, что нашли дома, включая черновики, записи, фрагменты, потом спросили (и Гроссман ответил), где находятся остальные экземпляры или их части, какие машинистки перепечатывали рукопись. Объехали всех и вся, изъяли все, включая экземпляр, хранившийся в сейфе «Нового мира». Ходили слухи, что у машинисток отобрали даже ленты машинок и использованную копирку. Операция продолжалась два дня.

---

<sup>168</sup> Ук. соч., С. 35–358.

<sup>169</sup> Ср. там же, С. 358.

По общему суждению<sup>170</sup>, в недрах ЦК судьбу романа решил (лучше бы сказать: приговор роману вынес) заведующий отделом культуры Дмитрий Поликарпов.

Гроссман попытался сопротивляться — написал письмо в Политбюро. Его принял сам Сулов, главный идеолог партии. Сулов сказал, что о возврате или напечатании романа не может быть и речи, и напечатан он может быть не раньше, чем через 200–300 лет<sup>171</sup>.

Борис Закс сообщает<sup>172</sup>, что Твардовский уговаривал Гроссмана «согласиться на некоторые уступки, что дало бы возможность начать хлопотать о возврате рукописи...» Гроссман отказался наотрез: «Уступить я не могу. Больше раком становиться не буду. Характер не тот...» я думаю, что этот разговор (Закс присутствовал лично, разговор происходил в его квартире) точно отражает психологическое состояние Гроссмана, бесповоротность выбора. И потому мне кажется, что сведения, — которые мне удалось получить, но проверить которые я не могу, — будто существовал другой, «облегченный» вариант «Жизни и судьбы», не заслуживают доверия. С другой стороны, совершенно обосновательно предположение Закса, что Гроссман сам переправил копию рукописи на Запад, этим, дескать, объясняется покорность, с какою он выдал КГБ все экземпляры романа, этим объясняются и жалобы друзьям, что «ему нестерпимо не хватает рукописи, хотя бы черновой, что ему хочется еще поработать над

---

<sup>170</sup> Роскина, ук. соч., С. 119; Ямпольский, ук. соч., С. 139; Некрасов, Виктор, Взгляд и нечто, Часть вторая. //Континент, № 13, С. 57.

<sup>171</sup> Ямпольский, Б., ук. соч., С. 140. Ямпольский рассказывает о приеме у Сулова со слов самого Гроссмана. Несколько иную версию, и также со слов самого Гроссмана, дает Роскина (ук соч., С. 119). Слова о том, что роман сможет увидеть свет не раньше, чем через 200–300 лет, она приписывает не Сулову, а Твардовскому: «Как рассказал мне Василий Семенович, Твардовский ему сказал, что он не спал двое суток, был в необыкновенном волнении от того, что он прочел. Что же касается публикации романа, то Твардовский сказал, что она будет реальной через двести пятьдесят лет» (там же, С. 115).

<sup>172</sup> Ук. соч., С. 361.

романом, а у него нет ни клочка...». И покорность, и жалобы были «на самом деле, трезвым, умным расчетом, уловкой, доведенной до конца»<sup>173</sup>. Теперь с полной достоверностью известно, что рукопись раздобыл, переснял на пленку и пленки переслал за границу один из ведущих диссидентов второй половины 70-х годов, писатель Владимир Войнович: он рассказал об этом сам, на Франкфуртской книжной ярмарке 1984 года, представляя критикам и журналистам немецкий перевод «Жизни и судьбы»<sup>174</sup>.

Если не всем, то очень многим свойственно мыслить с помощью параллелей, примеров. Когда я думаю о дилогии Гроссмана, мне, вероятно по причине классического образования, постоянно приходит на ум Прокопий Кесарийский, византийский историк VI века. Он написал и издал два сочинения, в которых прославлял военные успехи и государственную мудрость императора. Но после смерти Прокопия увидело свет еще одно его сочинение — яростный памфлет против деспотизма государя, развращенности его жены, пороков его придворных и приближенных. Главное из хвалебных сочинений называлось «История»,

---

<sup>173</sup> Там же, С. 360. Говоря о жалобах Гроссмана друзьям, Закс, по всей вероятности, заимствует у Бориса Ямпольского (ук. соч., С. 139-140): «И вот теперь, в нашу последнюю встречу, он мне с бессильной мольбой сказал: - Мне хочется работать над рукописью, исправлять, переделывать, а нет ее», «Московское письмо» подтверждает мои догадки: «Василий Семенович, перед тем как сдать рукопись в «Знамя» (ужасная его ошибка!), попросил «одного друга» прочесть весь роман снова и 1) сказать, есть ли возможность напечатать роман, 2) отметить места, которые и показывать нельзя». Друг сказал, что роман у нас не напечатает, и отметил те места, которые надо снять. На первое за явление Василий Семенович откликнулся так: «Я не такой трус, как ты, я не буду писать в стол!» Все отмеченные места он, однако, снял». В «Письме» говорится далее, что это составило в общем около 20 страниц, что купировал он иногда целыми страницами, иногда же отдельными фразами в 2-3 строки, но что в изданной в Лозанне книге изъятые места присутствуют. (Отсюда следует, что на Запад попала фотокопия не того экземпляра, который побывал в редакции «Знамени» и в ЦК, а другого, не купированного. — Ш. М.) После ареста рукописи Василий Семенович к ней не прикасался, у него ее не было».

<sup>174</sup> Выступление Вл. Войновича напечатано в журнале «Посев», 1984, № 11.

памфлету потомки дали заголовок «Тайная история». Не суть ли «За правое дело» и «Жизнь и судьба», с соблюдением всех необходимых пропорций, «История» и «Тайная история» наших дней? При всей соблазнительности параллели — едва ли.

Тайная история у Прокопия не отрицает, не зачеркивает явную. Деспот Юстиниан остается, за всем тем, созидателем великой державы и великой системы права. Тайное лишь дополняет, поправляет, углубляет явное. У Гроссмана между двумя романами лег кризис мировоззрения, духовный переворот. Писатель по-прежнему поклоняется «народу и правде о нем», как сказал Федор Левин, по-прежнему ненавидит фашизм, но понимание вещей и событий — народа, его свободы, его мук и мучителей, государства, партии, всего и всех — стало другим, во многом противоположным. «Жизнь и судьба» — действительно антисоветское произведение, равных которому по силе и последовательности критики в литературе еще не было. Солженицын придет позже.

Единство диалогии — в предмете повествования, в непрерывности фабульных линий. Действие продолжается около года, слета 1942 по конец весны 1943, и все сконцентрировано вокруг событий в Сталинграде. Гроссман, и в самом деле, шел, не таясь, за Толстым «Войны и мира». Связующий центр сюжета — история одной большой семьи, судьбы всех персонажей первого и даже второго планов так или иначе с нею соотносятся, история страны и мира, большая история проходит сквозь малую и отражается в ней. Глава этой семьи — вдова Александра Владимировна Шапошникова. Она живет в Сталинграде с младшей из трех своих дочерей и с внуком от старшего сына. Внук, шестнадцатилетний мальчик, уходит в народное ополчение, затем попадает в действующую армию, воюет в Сталинграде. Средняя дочь погибает во время бомбардировки Сталинграда. Александра Владимировна уезжает в Казань, к старшей дочери, эвакуировавшейся из Москвы со своим мужем, Виктором Павловичем Штрумом, крупным ученым, физиком-теоретиком. Смертельно ранен

и умирает в госпитале другой внук Александры Владимировны. Гибнет в гетто мать Штрума. Двое друзей семьи случайно оказываются в руках немцев и тоже гибнут: старый большевик Мостовской — в лагере для военнопленных, военный врач Левинтон — в газовой камере лагеря смерти. Штрум делает гениальное открытие, но попадает в опалу и даже ждет ареста, однако звонок Сталина возносит его на вершины славы и почестей. Учитель Штрума, великий физик Чепыжин, отказывается принять участие в работах над атомным оружием... (Я только называю, и то лишь выборочно, отдельные эпизоды — мало-мальски подробный пересказ содержания диалогии занял бы добрый десяток страниц.) и все это, повторяю, не просто на фоне и не в переплетении даже, но в функциональной и органической зависимости от хода боев в Сталинграде и вокруг Сталинграда, от мужества, малодушия, страданий, честолюбия, страха, тщеславия и всех прочих великих и малых доблестей и пороков, чувств и страстей многих сот тысяч русских и немцев.

Но во всем остальном Вторая книга оторвана от Первой с резкостью, которая кажется умышленной: автор не то чтобы отрекался<sup>175</sup> от своего прошлого (это было не в характере Гроссмана) — он просто не принимает его в расчет, не видит нужды сводить концы с концами». Я начну с общих идей, поскольку автор сам выдвигает их на первый план, обнажает историософский, социологический, политический характер своей прозы, — в многочисленных авторских отступлениях, размышлениях, нарушающих эпическое повествование, эпическую иллюзию и колеблющихся количественно от одной фразы (обычно афористической) до целых глав.

Та «еретическая» концепция в Первой книге, которая стала главным объектом критического избиения, предложена, однако, не «от автора», а в виде разговора Штрума с Чепыжиным. Мысли Чепыжина сводятся к следующему. Гитлеризм «изменил...

---

<sup>175</sup> Московское письмо: «От "За правое дело" Василий Семенович никогда не отказывался».



положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, неизбежный при капитализме... полез вверх... а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стало уходить вглубь...». Но энергия народного разума» неистребима, равно как и «народная мораль, которая основана «на уверенности в праве на свободный труд, на равенство, на свободу всех трудовых людей, живущих на земле». Наука не есть чистый разум, равнодушный к страданиям человечества, напротив, «кровные, душевные связи объединяют науку с жизнью народа...». «Вершины будущего уже близки, но рядом с ними темнеет фашистская бездна». Наша победа неизбежна. «Я вижу величайшую духовную силу нашего народа. Я вижу могучую жизнотворящую энергию большевиков... Вопрос создания коммунистического общества — это залог дальнейшего существования людей на земле, иначе истребительная сила, созданная современной наукой, попав в руки фашизма, обратит мир в развалины»<sup>176</sup>. (Совершенно очевидно, что ничего, подрывающего основы советского строя или государственной идеологии, здесь нет.)

В «Жизни и судьбе» Гроссман к этой концепции не возвращается. Только раз, и то мимоходом, Штрум вспоминает о чепыжинской «квашне»<sup>177</sup>. Зато происходит новый разговор с Чепыжиным, в котором тот высказывает вот что: «Мне представляется, жизнь можно определить как свободу. Основной принцип

---

<sup>176</sup> Гроссман, В. За правое дело, Воениздат, М., 1955, С. 136–139. Цитаты, начиная с «кровные, душевные связи...», заимствованы из журнального варианта: «Новый мир», 1952, № 7, С. 104–105. Но, в чуть измененных формулировках, те же мысли остались и в отдельном издании. Все же надо заметить, что эта глава подверглась существенным переделкам. в журнале Штрум только слушал, в книге он дополняет и даже возражает - с позиций классовости. «Теперь, в пору империализма, Гитлер, идя к власти, знал, что предлагает товар, который не залежится: у него родня и среди промышленников, и в прусском дворянстве, и в офицерстве, и в мещанстве» (С. 136). Схема с квашней не годится, «она сулит застой: ведь по такой схеме и революционная борьба рабочего класса не может изменить общество...», а между тем опыт социалистического строительства в СССР показывает, что это не так!» (С. 139-140) и т. д.

<sup>177</sup> Жизнь и судьба, С. 55.

жизни — свобода. Вот тут и пролегла граница — свобода и рабство, неживая материя и жизнь... Вся эволюция живого мира есть движение от меньшей степени свободы к высшей». По мере роста свободы человек сравнивается с Богом и даже посмотрит на Бога сверху вниз». Штрум возражает:

Я испытывал, слушая вас, не радость, а отчаяние. Вот мы мудры, и Геркулес нам кажется рахитиком. И в это же время немцы убивают еврейских стариков и детей, как бешеных собак, а у нас происходил тридцать седьмой год и сплошная коллективизация, с высылкой миллионов несчастных крестьян, с голодом, с людоедством... Знаете, мне все казалось раньше простым и ясным. А после всех ужасных потерь и бед все стало сложно, запутано. Человек посмотрит сверху вниз на Бога, но не посмотрит ли он сверху вниз и на дьявола, не превзойдет ли и его? Вы говорите: жизнь — свобода, но думают ли так люди в лагерях?.. Вот скажите мне, превзойдет ли тот, будущий человек в своей доброте Христа? Вот главное!.. Не превратит ли этот человек весь мир в галактический концлагерь?» На эти вопросы Чепыжин отвечает лишь косвенно, но зато более чем веско: «Я решил не участвовать в работах, связанных с расщеплением атома. Нынешних добра и доброты не хватает человеку для разумной жизни... Что же будет, если в лапы человеку попадут силы внутренней энергии атома? Ныне духовная энергия находится на жалком уровне. Но в будущее я верю. Верю, что развиваться будет не только мощь человека, но и любовь, душа его»<sup>178</sup>.

В этом важнейшем для идейного содержания книги разговоре, где оба собеседника выражают мысли автора, сконцентрирована почти вся проблематика романа, во главе с «вопросом вопросов» — о свободе и рабстве<sup>179</sup>.

---

<sup>178</sup> Там же, С. 481–483.

<sup>179</sup> На ключевой характер этой проблемы указал Е. Эткинд в предисловии к роману (С. IX).

На шкале ценностей «Правого дела» выше всего поставлен труд<sup>180</sup>. Свобода понимается как нечто само собой разумеющееся и не требующее раздумий, а по сути дела лишена содержания. Так не задерживалось в ушах и в мыслях слово «свобода» из неременной заключительной фразы каждого приказа Верховного главнокомандующего: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». В «Жизни и судьбе» необходимость свободы, жажда свободы, высшее счастье, которое дарит свобода, — неумолкающий лейтмотив, я уже ссылался на гимн русской демократии и русской свободе. Этот гимн — часть долгой и крайне вольнодумной беседы, которую ведут Штрум и его приятели, забывая о смертельной опасности, которой чреватые подобные беседы. И сразу вслед за тем Штрум делает свое великое открытие. Разве это случайно, спрашивает он себя, что открытие пришло тогда, когда ум его был далек от мыслей о науке, когда захватившие его споры о жизни были спорами свободного человека, когда одна лишь горькая свобода определяла его слова и слова его собеседников?»<sup>181</sup> В дни войны люди обретали свободу речей, о какой они и думать забыли, и в этом были и великая радость, и великая трагедия разом, и так было не только в тылу, но и на фронте<sup>182</sup>. и потому апофеоз свободы совпадает с апофеозом героизма — в главах о доме «шесть дробь один»<sup>183</sup> на самом переднем крае сталинградской обороны. Дом защищает горстка людей, среди которых властвует дух полнейшей свободы, подлинной демократии, и потому, несмотря на неисчислимое превосходство врага, они не отступают, и потому, несмотря на величие их воинского подвига, они вызывают у партийного руководства не восторг, а подозрение и ненависть. Рабство обложило свободу со всех сторон, настолько, что единственной реальностью в целом мире загнанному человеку

---

<sup>180</sup> См., например, С. 263, 317, 453–464.

<sup>181</sup> «Жизнь и судьба», С. 193.

<sup>182</sup> Там же, С. 192, 267, 556.

<sup>183</sup> Часть первая, гл. 58–61, Часть вторая, гл. 17– 20, 23.

кажутся лишь тюрьма да приемная МГБ<sup>184</sup> — Москва, Кузнецкий мост, 24. Лукавая история незаметно превращает свободу из цели войны в ее средство, в бутафорскую приманку. Описание капитуляции немцев в Сталинграде («мировом городе эпохи Второй мировой войны») завершается такими строками:

Мировой город отличается тем, что у него есть душа.

И в Сталинграде войны была заключена душа. Его душой была свобода.

Столица антифашистской войны обратилась в онемевшие, холодные развалины... советского областного города.

Здесь, через десять лет, тысячные полчища заключенных воздвигли мощную плотину, построили одну из величайших в мире государственную гидроэлектрическую станцию.<sup>185</sup>

Слово «государственная» вставлено не случайно: главный носитель рабства, главный рабовладелец в современном мире — это тоталитарное государство. Его символ — концлагерь, как социалистический, так и национал-социалистический, различия нет. Гроссман показывает и тот и другой, и в обоих звучат разговоры о свободе. Разговор в социалистическом концлагере происходит между двумя старыми большевиками, один из которых — в прошлом учитель и наставник другого. Умиравший учитель кается перед учеником, исповедуется ему: «Мы ошиблись... Сего не искупить никаким покаянием... Мы не понимали свободы. Мы раздавили ее. И Маркс не оценил ее: она основа, смысл, базис под базисом»<sup>186</sup>. Иначе говоря, в основании ошибки, которую представляет собою «советский эксперимент», лежит неуважение к свободе.

---

<sup>184</sup> Там же, С. 336.

<sup>185</sup> Там же, С. 356.

<sup>186</sup> Там же, С. 123.

Свободе посвящены и две «авторских» главы<sup>187</sup> — два отступления, философско-лирическое и философско-политическое. Оба непосредственно связываются с еврейской линией, о месте и значении которой в романе я буду говорить ниже особо. Лирическое поставлено сразу после эпизода с газовой камерой, равного которому нет, по-моему, не только в романе, но и во всем, что написано Гроссманом, и может быть, во всем, что написано о лагерях смерти. Это отступление явным образом предназначено играть роль катарсиса. «Человек умирает и переходит из мира свободы в царство рабства. Жизнь — это свобода, и потому умирание есть постепенное уничтожение свободы...» С угасанием сознания уничтожается индивидуальная Вселенная, единственная и неповторимая.

В ее неповторимости, в ее единственности душа отдельной жизни — свобода. Отражение Вселенной в сознании человека составляет основу человеческой мощи, но счастьем, свободой, высшим смыслом жизнь становится лишь тогда, когда человек существует как мир, никогда никем не повторимый в бесконечности времени. Лишь тогда он испытывает счастье свободы и доброты, находя в других то, что нашел в самом себе.

Очевидна связь этой главы с беседой Чепыжина и Штрума — с тою разницей, что здесь в нескольких фразах намечена целая философия свободы, отчасти напоминающая бердяевскую<sup>188</sup>. Как бы то ни было, совершенно очевидно, что фундамент, на котором покоится все мировоззрение автора «Жизни и судьбы», есть свобода.

В отступлении политическом, где истребление евреев немцами рассматривается в сопоставлении с истребительными

---

<sup>187</sup> Часть первая, гл. 50 и Часть вторая, гл. 50.

<sup>188</sup> Я не уверен, читал ли Гроссман Бердяева, вполне возможно, что и нет, но ситуации вполне сходны: оба разуверились в революции, в марксизме, в социализме.

кампаниями Сталина, Гроссман спрашивает: «Претерпевает ли природа человека изменение, становится ли она другой в котле тоталитарного насилия? Теряет ли человек присущее ему стремление быть свободным?» и отвечает, напомнив о восстаниях в гетто и в лагерях смерти, о Берлинском восстании 1953 года и Венгерском восстании 1956 года: «При родное стремление человека к свободе неистребимо... Тоталитаризм не может отказаться от насилия. Человек добровольно не откажется от свободы. В этом выводе свет нашего времени, свет будущего.»<sup>189</sup>

Оптимизм гроссмановского мировосприятия определяется верой в неуничтожимость тяги к свободе. Неуничтожима, бессмертна также «бесмысленная доброта»: это, как я уже имел случай говорить, проповедует в немецком концлагере русский каторжник Иконников-Морж. Но мы только что видели (в первом из двух отступлений): Гроссман прямо связывает свободу с добротой как две самые великие ценности жизни. Отсюда следует, что трактат о добре и доброте в такой же мере принадлежит герою, как и автору. Этот трактат (Часть вторая, гл. 16) — вторая половина фундамента, второй идеологический «пилон» романа. Я позволю себе процитировать еще:

Добро не в природе, не в проповеди вероучителей и пророков, не в учениях великих социологов и народных вождей, не в этике философов... И вот обыкновенные люди несут в своих сердцах любовь к живому, естественно и непроизвольно любят и жалеют жизнь, радуются теплу очага после трудового дня работы и не зажигают костров и пожаров на площадях...

В ужасные времена, когда среди безумий, творимых во славу государств и наций и всемирного добра, в пору, когда люди уже не кажутся людьми, а лишь мечутся, как ветви деревьев, и, подобно камням, увлекающим за собой камни, заполняют овраги и рвы, в эту пору ужаса и

---

<sup>189</sup> «Жизнь и судьба», С. 139.

безумия бессмысленная, жалкая доброта, радиевой крупницей раздробленная среди жизни, не исчезла...

Вред, изредка творимый обществу, классу, расе, государству бессмысленной добротой, меркнет в свете, который исходит от людей, наделенных ею.

Она, эта дурья доброта, и есть человеческое в человеке, она отличает человека, она высшее, чего достиг дух человека. Жизнь не есть зло, говорит она... Она сильна, пока нема, бессознательна и бессмысленна, пока она в живом мраке человеческого сердца, пока не стала орудием и товаром проповедников...

...Потеряв веру найти добро в Боге, в природе, я стал терять веру и доброту.

Но чем шире, больше открывалась мне тьма фашизма, тем ясней видел я — человеческое неистребимо продолжает существовать в людях на краю кровавой глины, у входа в газовню... я увидел, что не человек бессилён в борьбе со злом, я увидел, что могучее зло бессильно в борьбе с человеком...

История людей не была битвой добра, стремящегося победить зло. История человека — это битва великого зла, стремящегося размолоть зернышко человечности. Но если и теперь человеческое не убито в человеке, то злу уже не одержать победы<sup>190</sup>.

Как и свобода, доброта присутствует во многих эпизодах и ситуациях романа, проходит сквозь них ключевым словом или понятием. Но что гораздо важнее, на мой взгляд, в историософской концепции автора она слита со свободой неразрывно, выступает обязательной поправкой, необходимым ограничением к жажде свободы. с особенной наглядностью это видно в сцене избиения пленного. Какой-то полковник пнул сапогом обессиленного немца, ползущего через дорогу на четвереньках. «Руки и ноги его расплзлись в стороны. Он взглянул снизу на ударившего его: в глазах немца, как в глазах умирающей овцы, не было

---

<sup>190</sup> «Жизнь и судьба», С. 278–280.

ни упрёка, ни даже страдания, одно лишь смирение». Один из героев второго плана, подполковник Даренский, видит это, сатанеет от возмущения и чрезвычайно резко обрушивается на Полковника, т. е. старшего по званию, что пахнет немалыми неприятностями («Полковник с ненавистью сказал ему: — Ладно, подполковник Даренский, вам это даром не пройдет...»). Затем Даренский едет на машине, а навстречу, не иссякая, движутся толпы пленных. И Гроссман замечает: «Но случай с пленным не открыл его сердца добру. Он словно сполна истратил отпущенную ему доброту»<sup>191</sup>. Даренский сам страдал долго и безвинно, был посажен в 1937 году, был жертвой злобы и зависти начальства уже во время войны. Теперь он чуть ли не впервые в жизни действует как свободный человек, и действие это вызвано бессмысленной добротой. Но доброта его скудна и случайна — и Гроссман с горечью противопоставляет душевную черствость победителей той доброте, которую пробуждают неудачи и поражения. Он продолжает, вспоминая поездку Даренского в Калмыцкие степи в самые тяжкие дни Сталинградской обороны:

Какая бездна лежала между той калмыцкой степью, которой он ехал на Яшкуль, и нынешней его дорогой.

Он ли стоял в ночном тумане, под огромной луной, смотрел на бегущих красноармейцев, на змеящиеся шеи верблюдов, с нежностью соединяя в душе всех слабых и бедных людей, милых ему на этом последнем крае русской земли?<sup>192</sup>

Самое любопытное то, что в главах, на которые намекает Гроссман, этой нежности к слабым и бедным нет, зато есть — свобода: «Есть у степи одно особо замечательное свойство... Всегда и прежде всего степь говорит человеку о свободе... Степь напоминает о ней тем, кто потерял ее»<sup>193</sup>. Доброту со свободой

---

<sup>191</sup> Там же, С. 497–498.

<sup>192</sup> Там же, С. 498.

<sup>193</sup> Там же, С. 194.



соединяет старый калмык, случайно встреченный Даренским в степи, и Даренский завидует ему. Возможно, что здесь — просто авторская небрежность, она неизбежна в таких монументальных вещах, как «Жизнь и судьба» Но мне кажется, дело здесь в другом. Кто говорит свобода, говорит доброта; без доброты подлинной свободы, как ее понимает Гроссман, нет. В Калмыцких степях Даренский впервые в жизни соприкасается со свободой, а стало быть, и доброта не могла не коснуться его души.

Из этих двух фундаментальных понятий вытекает весь новый Гроссман целиком, как то, что продолжает (хотя и в преображенном виде) прежнего, так и то, что противостоит ему. Полный и подробный анализ диалогии не входит в мою задачу, да и материал она дает исполинский: это, действительно, «энциклопедия советской жизни», даже две энциклопедии — казенная и свободная от казенной фальсификации. Я ограничусь немногими деталями.

Народолюбство в самом широком смысле слова было присуще русской литературе еще в первой половине прошлого века и стало непрерывающейся традицией от первых славянофилов до последних соцреалистов, неопочвенников и Солженицына. Вопрос только в том, какое содержание вкладывает писатель в свою любовь к народу, а тут возможности очень широки. Гроссман, довоенный и военный, многократно свидетельствовал свою любовь к простому, трудовому народу, то же происходит и в «Правом деле». Нет оснований сомневаться в искренности этого чувства, но совершенно очевидна его стандартная безликость. Гроссман «Жизни и судьбы» уточняет и индивидуализирует предмет своей любви.

Во-первых, классовая принадлежность ничего не определяет и не решает. Можно быть и простым, и даже «работящим и честным», и в то же время отличаться «беспредельно естественным равнодушием к людям, к общему делу, к чужому страданию»<sup>194</sup>.

---

<sup>194</sup> Там же, С. 506. Ср. также С. 87: «Люди, которых Людмила с надеждой и любовью объединила в семью труда, нужды, добра и горя, точно сговори-

В то же время простые люди — вовсе не просты: они и умны, и проникательны, и смелы — часто в большей мере, чем поклоняющаяся им и все же вззирающая на них сверху вниз «народническая» интеллигенция»<sup>195</sup>. Доброта и чистота, потенциально скрытая в них, велика<sup>196</sup>, и в кризисных ситуациях, в минуты истины интеллигент тянется мыслью к ним, к простым людям. Штрум, совершивший смертный грех предательства, горестно размышляет: «Ради чего совершил он страшный грех?.. Все в мире ничтожно по сравнению с правдой, чистотой маленького человека... Не к подвигу надо стремиться, не к тому, чтобы кичиться и гордиться этим подвигом. Каждый день, каждый час, из года в год нужно вести борьбу за свое право быть человеком, быть добрым и чистым»<sup>197</sup>.

Демократизм, «народничество» Гроссмана окрасились индивидуализмом и морализмом — тем самым «абстрактным гума-

---

лись вести себя не по-людски. Они точно сговорились опровергнуть взгляд, что добро можно заранее уверенно определить в сердцах тех, кто носит замасленную одежду, у кого потемнели в труде руки».

<sup>195</sup> Там же, С. 171–172:

Для Сережи, прожившего всю жизнь в интеллигентной среде, стала очевидна правота бабушки, всегда твердившей, что простые рабочие люди — хорошие люди.

Но умненький Сережа сумел заметить бабушкин грех — она все же считала простых людей простыми.

В доме «шесть дробь один» люди не были просты. Греков поразил как-то Сережу словами:

— Нельзя человеком руководить, как овцой, на что уж Ленин был умный, и тот не понял. Революцию делают для того, чтобы человеком никто не руководил. А Ленин говорил: «Раньше вами руководили по-глупому, а я буду по-умному».

Никогда Сережа не слышал, чтобы с такой смелостью люди осуждали наркомвнудельцев, погубивших в 1937 году десятки тысяч невинных людей.

Никогда Сережа не слышал, чтобы с такой болью люди говорили о бедствиях и мучениях, выпавших крестьянству в период сплошной коллективизации.

<sup>196</sup> Там же, С. 360.

<sup>197</sup> Там же, С. 587.

низмом», который вменяли ему в вину палачи «Правого дела» и которого, в действительности, в Первой книге не много.

Фашизм был и остается для Гроссмана абсолютным выражением Зла, всего худшего, что есть в человеке и в человечестве. Но понимание фашизма изменилось — расширилось. Это уже не чепыжинская квашня, о которой я говорил выше, не великая ложь<sup>198</sup>, не научно предсказуемое и объяснимое следствие классовой борьбы<sup>199</sup>, но антипод свободы и доброты. Стало быть, в эту категорию войдет любая тоталитарная власть, сокрушающая человеческую свободу ради каких бы то ни было соображений — расы, класса, религии, светлого будущего, единства Партии или величия Государства. Так возникает параллель «фашизм — коммунизм», не равенство, не тождество, но именно параллель. Гроссман не уравнивает их на уровне идеологии, потому что видит и принимает в расчет различие принципов и целей, ни даже на уровне практики, хотя бедствия, которые они несут человеку, простому человеку, просто человеку, вполне сопоставимы. Он не становится на позицию черного пессимизма «чума на оба ваших дома». Недаром один из самых дорогих автору героев — майор Ершов, крестьянский сын, потерявший в раскулачиванье всех близких, и вождь сопротивления в нацистском концлагере. Гроссман пишет о нем:

Иногда он спрашивал себя, почему ему так ненавистны власовцы? Власовские воззвания писали о том, что рассказывал его отец. Он-то знал, что это правда. Но он знал, что эта правда в устах у немцев и власовцев — ложь.

Он чувствовал, ему было ясно, что, борясь с немцами, он борется за свободную русскую жизнь, победа над Гитлером станет победой и над теми лагерями смерти, где погибли его мать, сестры, отец<sup>200</sup>.

---

<sup>198</sup> См. За правое дело, С. 350.

<sup>199</sup> См. прим. 175.

<sup>200</sup> Жизнь и судьба, С. 212.

Мне кажется, нельзя понимать и принимать буквально, как авторскую точку зрения, разговор Лисса, «представителя Гиммлера при лагерном управлении с заключенным Мостовским, старым большевиком. Лисс почтительно именует Мостовского «учителем» и старается доказать ему, что война гитлеровской Германии и сталинской России — трагическая ошибка, что коммунизм и национал-социализм — не только смертельные враги, но и родные братья («Мы — форма единой сущности, — партийного государства»), что Гитлер многому научился у Сталина, а Сталин у Гитлера и т. д.<sup>201</sup> Как-никак, а весь этот разговор — все-таки провокация, и мы узнаем об этом от самого Лисса<sup>202</sup>. Но если в то время, когда протекает действие романа, в дни и месяцы Сталинградской битвы, свобода и доброта, бесспорно и безоговорочно, на советской стороне, то в исторической перспективе дегенерирующий коммунизм заступит место фашизма. И в этом смысле некоторые высказывания Лисса можно рассматривать как авторские пророчества *post factum*, и в первую очередь — следующее: «Наша победа — это ваша победа... А если победите вы, то мы и погибнем, и будем жить в вашей победе. Это как парадокс: проиграв войну, мы выиграем войну, мы будем развиваться в другой форме, но в том же существе?»<sup>203</sup>.

Историзм — сила Гроссмана, оберегающая его от опасности плоской карикатурности, примитивного памфлета, достаточно частого у прозревших и одумавшихся и не менее примитивного, чем оды и панегирики у кондовых соцреалистов. Я не буду цитировать соответствующие места из Первой книги<sup>204</sup> —

---

<sup>201</sup> Часть вторая, гл. 13 (С. 267–276).

<sup>202</sup> Там же, С. 323: «Садясь в машину, он вспомнил о Мостовском. Вероятно старик, сидя в изоляторе, день и ночь старается разгадать, с какой целью вызывал его Лисс... Всего лишь потребность проверить кое-какие мысли, да вот желание написать работу "Идеология врага и ее лидеры"».

<sup>203</sup> Там же, С. 271.

<sup>204</sup> См. За правое дело, С. 5–6, 33–35, 54–55, 120–123, 178–180, 182–186, 241–248 и много других мест, до конца романа. Два самых пламенных панегирика (или, если угодно, акафиста) Сталину остались только в журнальном варианте: Новый мир, 1952, № 8, С. 129–30 (Часть вторая, гл.

восхваления счастливой довоенной жизни, силы колхозного строя, организующей роли партии, сталинского гения вообще и военного в особенности, — не буду разбирать и противостоящих им мест во Второй книге, в первую очередь двух глав со Сталиным<sup>205</sup>, хотя такое сопоставление чрезвычайно содержательно и вполне заслуживает особой работы. Историзм автора «Жизни и судьбы» лучше всего, как мне кажется, раскрывается в образах старых большевиков.

Их много в романе, но интереснее всего в данном случае те, кто пришел из Первой книги, — Мостовской, Крымов, секретарь Сталинградского обкома Пряхин. Пряхин — самый молодой и самый благополучный, в его партийной карьере не было заминок, он твердо верует, не мудрствует лукаво и слепо

---

1) и № 9, С. 11–12 (Часть вторая, гл. 41). я приведу частично первый из них: он показателен для движения от журнального варианта к книжному, и к тому же тексты в старых журналах менее доступны.

Сталин знал все то, что испытали за этот год тысячи и миллионы советских людей. Вместе с ними пережил он горечь дней и недель отступления.

В его глазах стояло зловещее зарево, и он вдыхал горький дым пожарищ.

...Как шумели вершины сосен, когда осенний ветер доносил их торжественную и гневную печаль до шагавшего в бессонные ночи по своему кабинету Сталина.

В этот год войны его обжигал великий гнев против злодеев, заливших кровью советские земли...

Горе и гнев солдат, потерявших матерей, невест, сестер, горе седых отцов, потерявших надежду увидеть своих пропавших без вести сыновей, были и его гневом, и его горем. Организатор мощи советской военной промышленности знал ту ненависть, что жила в душах сельских учителей, школьников, профессоров, студентов...

С ним делили свой гнев рабочие, инженеры, глядевшие на взорванный Днепрогэс...

Организатор боевой силы Советской Армии, ее танковых и артиллерийских корпусов, ее стрелковых и воздушных дивизий готовил гибель немецко-фашистской империи.

В дыму, пыли и пламени огромного сражения мысль Сталина прозревала час решающего перелома в ходе войны, подготовленного в тяжких боях и в труде...

<sup>205</sup> Часть третья, гл. 11 и 15 (С. 449–451, 456–457).

повинуется. Его кредо: «Большевик должен делать то, что нужно партии, а значит — народу. Раз он по-партийному понял время, следовательно, линия его правильная»<sup>206</sup>. Мостовской — старик, у него за спиной и подполье, и ссылка, и эмиграция, и высокие должности, и, видимо, опала: последние годы перед войной он только лекции читал да писал для энциклопедии. Но вся долгая жизнь представляется ему непрерывной восходящей линией прогресса: «Сила рождавшейся жизни была колоссальна, и жизнетворящее, создающее новый мир движение было неумолимо в своей, отрицающей старое, мощи»<sup>207</sup>. Никакие бедствия и поражения не способны поколебать его оптимизм, и все окружающие, и знакомцы, и случайные встречные, смотрят на него с обожанием, как на икону, слушают его с жадностью, как оракула. Самая сложная фигура — Крымов. Он вел большевистскую пропаганду еще в царской армии, в гражданскую войну был комиссаром, потом много лет работал в Коминтерне, потом и у него начались неприятности («На одном ответственном совещании Крымов делал доклад, и его резко критиковали, говорили, что он «застыл», «не растет»... Его перевели на издательскую работу...<sup>208</sup>), и почти одновременно его оставила жена, что оказалось для него тяжелейшим ударом. В военных страданиях чувство одиночества исчезает, он снова необходим, снова комиссар, снова властно командует, выводит большую группу из окружения, и все сердца снова тянутся к нему. Главная его забота теперь — то, что война поломала интернациональное пролетарское братство, но, говорит он себе, «борьба идет за пролетарское дело во всем мире!.. Он видел и понимал, что мучившие его противоречия не выдуманы им, а бушуют в обезумевшем мире. И он, стиснув зубы, повторял

---

<sup>206</sup> За правое дело, С. 307; см. О Пряхине С. 53–55, 284–287, 304–309 (Часть первая, гл. 15, Часть вторая, гл. 12 и 17). Эти главы могли и должны были удовлетворить самых бдительных стражей идейной чистоты советской литературы.

<sup>207</sup> Там же, С. 35.

<sup>208</sup> Там же, С. 193.

про себя ленинские слова о том, что учение Маркса непобедимо потому, что оно верно»<sup>209</sup>.

«Сложность» Крымова поддельная: по сути вещей, он такой же «непоколебимый ленинец» (титул, официально закрепленный за Хрущевым в дни его величия), как Мостовской и Пряхин. И так же точно, как те двое, пользуется непоколебимой симпатией автора. Историзма, развития толстовской «диалектики души» нет ни в одном из трех, все трое — типичные соцреалистические маски.

В «Жизни и судьбе» маски оживают, или, быть может, лучше сказать, что персонажи остаются те же, только — без масок.

Мостовской и в немецком концлагере сохраняет силу духа и твердость воли; заключенные всех национальностей, не только советские военнопленные, покоряются его разуму и авторитету, «в страшном немецком лагере он чувствовал себя уверенным и крепким»<sup>210</sup>. И все же ему не достает ясности и определенности выбора, четкого разделения мира на своих и чужих, которое он знал в молодые годы. И причина в том, что «многое в его собственной душе стало для него чужим... в молодую пору в друзьях и единомышленниках все было близко, понятно. Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики. А теперь вдруг он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей»<sup>211</sup>. Не с того ли это началось, что он молча принял то, что вызывало его протест и несогласие: и единовластие Сталина в партии, и кровавые процессы оппозиции, и недостаточное уважение к старой партийной гвардии?» Иногда он спрашивал себя: не по трусости ли он молчит? «Но он знал, что, противопоставив себя партии... он, помимо своей воли, окажется противопоставлен ленинскому делу, которому отдал жизнь»<sup>212</sup>.

---

<sup>209</sup> Там же, С. 173.

<sup>210</sup> Жизнь и судьба, С. 9.

<sup>211</sup> Там же, С. 9–10.

<sup>212</sup> Там же, С. 9.

Не с этого ли началось раздвоение, а если смотреть правде в глаза — растление души? Мостовской не решается сам ни ответить, ни даже поставить вопрос, но другой старый большевик, в другом лагере — в советском, формулирует общий закон: «Мы проходим через лагерь, тайгу, но вера наша сильнее всего. Не сила это, — слабость, самосохранение. Там, за проволокой, самосохранение велит людям меняться, иначе они погибнут, попадут в лагерь — и коммунисты создали кумира, погоны надели, мундиры, на рабочий класс подняли руку, надо будет, дойдут до черносотенства... А здесь, в лагере, тот же инстинкт им велит не меняться — если не хочешь покрыться деревян-бушлатом, то не меняйся в лагерные десятилетия...»<sup>213</sup> Мостовской не менялся — и стал чужим среди «своих», созрел для лагеря; но созрел он для своего» лагеря, а попадает в нацистский — это неоценимое психологическое преимущество для верующего коммуниста. Поэтому он выдерживает испытание — разговор с Лиссом, хотя старые сомнения чуть не сводят его с ума: «Ведь сомнения его, быть может, не были знаком слабости, бессилия, грязной раздвоенности, усталости, неверия. Может быть, эти сомнения... были самым честным, самым чистым, что жило в нем». Чтобы опровергнуть, оттолкнуть Лисса, надо перестать ненавидеть и презирать тех, кто думает не так, как ты, нет, больше, «надо осудить то, что защищал и оправдывал. Но нет, нет, еще больше! Не осудить, а всей силой души, всей революционной страстью своей ненавидеть лагерь, кровавого Ежова, Ягоду, Берию! Но мало, — Сталина, его диктатуру! Но нет, нет, еще больше! Надо осудить Ленина!»<sup>214</sup> На этом «краю пропасти» Мостовской, к счастью для себя, останавливается, «наваждение» рассеивается. Но сомнения не исчезнут, они вернутся<sup>215</sup>, и мы не знаем, умрет ли он спокойно, хотя и будет казнен врагами за участие в лагерной организации сопротивления.

---

<sup>213</sup> Там же, С. 123–124.

<sup>214</sup> Там же, С. 273.

<sup>215</sup> Там же, С. 280.



Если Мостовской не менялся и отстал от времени, то Крымов — настоящий «пасынок времени»: он сам придумал для себя это определение<sup>216</sup>, и чувство одиночества, собственной никчемности и ненужности, которое совсем было исчезло, когда он выводил отряд из окружения, все чаще возвращается к нему в Сталинграде: никому не нужны его лекции и доклады, его пропаганда. Особенно неприятно он чувствует себя в доме «шесть дробь один», куда его послали «преодолеть недопустимую партизанщину» и где между ним и начальником дома происходит следующий разговор:

- Давайте, Греков, поговорим всерьез и начистоту. Чего вы хотите?..
- Свободы хочу, за нее и воюю. — Мы все ее хотим.
- Бросьте, — махнул рукой Греков. — На кой она вам. Вам бы только с немцами справиться<sup>217</sup>.

Но и среди единомышленников, на собрании, посвященном годовщине революции, Крымову не легче. И не только потому, что Пряхин, давний друг, теперь избегает его, «смотрит пристальным, тяжелым взглядом»: Пряхин знает, что на Крымова подан донос, что он обречен, — и, как и полагается любимцу времени, понимающему время по-партийному, порывает со старым другом мгновенно. «В простодушном демократизме мужской дымящей толпы в гимнастерках, ватниках, тулупах» Крымову чудится поначалу «дух первых лет революции, ленинский дух». Но вот Пряхин начинает свой невозмутимо спокойный, казенный доклад об успехах области за истекший год — и Крымов понимает:

...в разящем несоответствии его мыслей и чувств со словами о сельском хозяйстве и промышленности области, выполнивших свои обязательства перед государством,

---

<sup>216</sup> См. там же, С. 24, 149, 154.

<sup>217</sup> Там же, С. 292.

выражена не бессмысленность, а смысл жизни. Речь Пряхина именно своей каменной холодностью утверждала безоговорочное торжество государства, обороняемого человеческим страданием и страстью к свободе.

И, в точности как Мостовской, Крымов с тоской вспоминает возмутительные слова Грекова, между тем как столь «чуждо и холодно звучат слова Пряхина, старого товарища, первого секретаря Сталинградского обкома»<sup>218</sup>.

Страдания и прозрения Крымова в тюрьме мне представляются вершиной grossмановского психологизма. Давно вошел в терминологию «комплекс Рубашова» — по имени героя романа Кестлера «Тьма в полдень». Комплекс Крымова, по-моему, имеет намного больше прав на терминологическое достоинство.

Сначала — ненависть и стыд. «Крымов оглянулся, стыдясь часового. Красноармеец видел, как били коммуниста!.. Били в присутствии парня, ради которого была совершена великая революция, та, в которой участвовал Крымов». Ненависть эта несравнима ни с какой другой: «Он не испытывал подобной ненависти ни к жандармам, ни к меньшевикам, ни к офицеру-эсэсовцу... В человеке, топтавшем его, Крымов узнавал не чужака, а себя же, Крымова, вот того, что мальчонкой плакал от счастья над потрясшими его словами Коммунистического манифеста... Это чувство близости поистине было ужасно»<sup>219</sup>. Потом — отчаяние: он лишился свободы, он терял себя самого. Потом — воспоминания: как он отзывался на аресты, исчезновения других.

Когда сажали меньшевиков, эсеров, белогвардейцев, попов, кулацких агитаторов, он никогда, ни разу, даже на минуту не задумывался над тем, что чувствуют эти люди, теряя свободу, ожидая приговора. Он не думал об их женах, матерях, детях.

---

<sup>218</sup> Там же, С. 356–358.

<sup>219</sup> Там же, С. 428–429.

Когда очередь дошла до тех, кого он считал большевиками-ленинцами, он был потрясен, думал и об их муках, и о муках их семей.

И все же он успокаивал себя — как-никак Крымова-то не посадили, он не подписывал на себя, не признавал ложных обвинений. Ну, вот. Теперь Крымова, большевика-ленинца, посадили. Теперь не было утешений, толкований, объяснений... Все оказалось чудовищно жестоко, нелепо, бесчеловечно. Он впервые ясно понял, насколько страшны дела, творящиеся на Лубянке. Ведь мучили большевика, ленинца, товарища Крымова<sup>220</sup>.

Далее — сомнения. Может быть, прав сосед по камере, бывший чекист, что «нет в мире невиновных» и что каждый, сделав свое дело, должен уйти — в Тюрьму, в небытие? Ведь и сам он, Крымов, принимал доносы и отправлял недовольных или несдержанных на язык красноармейцев под суд военного трибунала; сам доложил в политуправление фронта о Грекове и других «жильцах» дома «шесть дробь один» — разве это не донос?<sup>221</sup> Позже, на допросах, Крымов убеждается, что он доносчик и предатель в самом прямом смысле слова: в 1938 году дал «подлые, двурушнические показания» о близком друге. Он испугался тогда, хотел поскорее выбраться из странного дома, куда его вызвали за помощью («Следователь говорил: «Товарищ Крымов, пожалуйста, помогите нам»). Но самым подлым был не страх и даже не «желание всем нравиться» в страшном доме.

Самым подлым было желание искренности!.. Почему он хотел быть искренним? Партийный долг? Ложь! Искренность была только в одном — с бешенством стуча по столу кулаком, крикнуть: «Друг невиновен!» Но он не крикнул. Вот и его товарищи, которые приносили сюда по крохам сведения о нем, Крымове, тоже хотели быть искренними

---

<sup>220</sup> Там же, С. 437.

<sup>221</sup> См. там же, С. 440–441.

и тоже не крикнули. Им, как и ему, казалось: все, что они говорят, — правда. «Все мы были беспощадны к врагам революции. Почему же революция беспощадна к нам? А может быть, потому и беспощадна?»

И эти мысли, эта логика ломают арестованного ничуть не в меньшей, если не в большей мере, чем истязания и пытка бессонницей. Тем более, что нравственная пытка умело вклинивается в разгар физической:

Он уже не помнил, где он, не помнил, что с ним... Над ним снова появилось лицо следователя, он показывал пальцем на портрет Горького, висевший над столом, и спрашивал:

— Что сказал великий пролетарский писатель Максим Горький?

И вразумляюще, по-учительски ответил: — Если враг не сдастся, его уничтожают.<sup>222</sup>

Крымов готов сломаться, капитулировать, как неисчислимое множество большевиков-ленинцев до и после него. Он уже понял, как и почему признавались старые революционеры, понял, что «новому времени нужна была шкура революции, эту шкуру и сдирали с живых людей... а кто не кланялся перед новым временем, шли на свалку<sup>223</sup>. И все же он удерживается на краю пропасти — как Мостовской и совсем по-другому, чем Мостовской. Что спасает Мостовского, автор не объясняет, и он прав: в конце концов, это простое «отойди от меня, Сатана». Столь же простое решение возможно и в советской неволе, но — лишь для истинных врагов большевизма. Полная параллель Мостовскому в Лубянской тюрьме — меньшевик Дрелинг, который «просидел в тюрьмах, Политизоляторах и лагерях больше двадцати лет» и окостенел в своей ненависти к советской власти, застыл и омертвел во всех своих догматах, которым будет верен до последнего

---

<sup>222</sup> См. там же, С. 541–548.

<sup>223</sup> Там же, С. 588.

дыхания. Он неприступный бастион свободы, но — без доброты, и, стало быть, свобода его ущербна<sup>224</sup>. Крымова спасает его бессмысленная любовь к бывшей жене и бессмысленная доброта бывшей жены к нему.

Он всегда гордился тем, что умеет подчинять свою жизнь логике. Но теперь было не так. Логика говорила, что сведения о его разговоре с Троцким дала Евгения Николаевна. А вся его нынешняя жизнь, его борьба со следователем, его способность дышать, оставаться товарищем Крымовым основывались на вере в то, что Женя не могла это сделать... Не было силы, которая могла его заставить не верить Жене<sup>225</sup>.

И когда Крымов плачет, получив от Жени передачу, которой не ждал и на которую не надеялся, мы знаем: он спасен, он не сдается.

Женя давно разлюбила Крымова. В минуту ожесточения она вспоминает:

Жестокий, узкий, непоколебимо фанатичный. Она никогда не могла примириться с его равнодушием к человеческим страданиям... «Кулаков не жалеют», — говорил он, когда гибли в ужасных голодных муках десятки тысяч женщин, детей в деревнях России и Украины. «Невинных не сажают», — говорил он во времена Ягоды и Ежова... Почему же она не имеет права на счастье? Почему она должна мучиться, жалеть человека, который никогда не жалел слабых?»<sup>226</sup>

Женя любит другого и любима, счастлива. Но когда она узнает об аресте Крымова, она отказывается от счастья и идет вслед за несчастным, хотя ничто ее к этому не принуждает. Дело не в

---

<sup>224</sup> См. там же, С. 434, 439–440, 442, 591.

<sup>225</sup> Там же, С. 588.

<sup>226</sup> Там же, С. 232.

том, что она ненароком рассказала своему любимому о разговоре Крымова с Троцким; не муки совести терзают ее, но именно бессмысленная доброта.

Я бы сказал, что та же бессмысленная доброта определяет отношение автора «Жизни и судьбы» к его героям — старым большевикам. Конечно, и в образе Мостовского, и особенно в образе Крымова достаточно желчи и сарказма. Но они в беде, и они люди, и Гроссман видит в их истории не только падение, но и великую трагедию, в первую очередь, мне кажется, потому, что они не старались поспеть за новым временем, не были его любимцами. Высокие идеалы их юности обернулись кровавой грязью, но все-таки у них были идеалы, и в основании их фанатичной бесчеловечности лежала бескорыстная любовь к человечеству.

Напротив, пришедшие им на смену, партийцы новой формации, «любили и ценили материальные блага жизни, революционная жертвенность была им чужда... Среди них были умные люди, но, казалось, главная, трудовая сила их не в идее, не в разуме, а в деловых способностях и хитрости, в мещанской трезвости взглядов»<sup>227</sup>. Вот оно, сакраментальное для русской литературы слово — мещанство. Торжество нового времени, торжество Сталина — это торжество мещанства. По старой, «доброй» русской традиции «мещанство» — не понятие, а ругательство, злейшее из ругательств, и Гроссман вкладывает в него свое содержание, обратное его идеалу свободы и доброты. К мещанам, обожателям времени и его фаворитам, у Гроссмана нет ничего, кроме ненависти, такой же, как его ненависть к нацистам, а может быть — и большей.

Таково — в самых общих чертах — новое мировосприятие Гроссмана, и лишь на его фоне могут быть верно Поняты и оценены оба романа в их сопоставлении, дающем, как уже замечено выше, обильный материал для анализа и раздумий на всех

---

<sup>227</sup> Там же, С. 542.

уровнях, от концептуального, историософского до стилистического. На этом же фоне я попытаюсь рассмотреть теперь то, что занимает меня по преимуществу, — еврейскую тему, еврейский аспект.

В «Правом деле» этой темы нет, если не считать разговора Гимmlера с Гитлером, в котором первый советует хранить уничтожение евреев в тайне, а второй упрекает его в трусости и неверии в фюрера<sup>228</sup>, да нескольких мельком брошенных фраз, двух-трех еврейских фамилий. До Штрума чудом доходит письмо, которое сумела передать за проволоку гетто его мать, но Гроссман не дает нам прочесть это письмо, и кажется, что в ткани повествования зияет дыра<sup>229</sup>. Эта догадка становится почти уверенностью, когда письмо, появляющееся полностью в «Жизни и судьбе»<sup>230</sup>, мы сравниваем с несколькими строчками, вклинившимися, словно ненароком, в двухстах страницах от «дыры»: «В своем письме мать не вспоминала ни о Людмиле, ни о Наде, ни о Толе, оно было все обращено к сыну, и только в одном месте была фраза: «Сегодня ночью видела во сне Сашеньку Шапошникову»<sup>231</sup>. Так оно и есть, и цитата совпадает слово в слово. Очевидно, что письмо было вырвано из романа — самим ли Гроссманом, по абсолютной непроходимости еврейского эпизода в обстановке 1952 года, Фадеевым ли, Твардовским ли, — и, скорее всего, не только оно одно.

Мне кажется, что почти без изменений перешла из Первой книги во Вторую публицистическая, авторская глава об антисемитизме (Часть вторая, гл. 32)<sup>232</sup>. Антисемитизм многообразен и многосторонен. Он есть зеркало недостатков отдельных людей, общественных устройств и государственных систем», «мера человеческой бездарности», «выражение несознательности

---

<sup>228</sup> См. За правое дело, С. 341–343.

<sup>229</sup> См. там же, С. 221.

<sup>230</sup> Часть первая, гл. 18 (С. 46–54).

<sup>231</sup> За правое дело, С. 425

<sup>232</sup> Цитаты из главы об антисемитизме, приводимые ниже, см. Жизнь и судьба, С. 333–35.

народных масс», «мерило религиозных предрассудков». Среди преследований национальных меньшинств антисемитизм занимает особое место, потому что и историческая судьба евреев — особая: они живут повсюду, стараются проявить себя на главных направлениях развития идеологии и экономики, а потому и антисемитизм «тоже слился с главными вопросами мировой политической, экономической, идеологической, религиозной жизни». Но вспышки антисемитизма неизменно предвещают скорую гибель гонителей.

Эти теоретические построения сложнее, но едва ли оригинальнее того, что сказано в «Старом учителе» и в предисловии к «Черной книге».

Но есть в этой главе мысли более интересные и, скорее всего, возникшие в ходе работы над Второй книгой, — об ассимилированном еврействе и о государственном антисемитизме.

По мнению Гроссмана, лишь небольшая часть еврейского населения каждой страны ассимилируется, основная же масса сохраняет национальные черты. Первые, растворяясь в коренном населении, уходят в верхние слои общества, и антисемиты стараются доказать, что их растворение, интеграция фальшивы, что на самом деле они сохраняют «тайные национальные и религиозные устремления». Что же до вторых, людей по преимуществу физического труда, то на них антисемитизм взваливает ответственность за тех, кто участвует в революции, управлении промышленностью, в создании атомных реакторов, акционерных обществ и банков».

Бытовой антисемитизм Гроссман называет «бескровным»; антисемитизм общественный, который может возникнуть в демократических странах, проявляется в пропаганде и «действиях... реакционных групп», но также не расценивается Гроссманом как явление очень опасное.

В тоталитарных странах, где общество отсутствует, антисемитизм может быть лишь государственным. Государственный антисемитизм — свидетельство того, что



государство пытается опереться на дураков, реакционеров, неудачников, на тьму суеверных и злобу голодных. Такой антисемитизм бывает на первой стадии дискриминации — государство ограничивает евреев в выборе местожительства, профессии, праве занимать высшие должности, в праве поступать в учебные заведения и получать научные степени и т. д. Затем государственный антисемитизм становится истребительным.

Государственный антисемитизм, вбирающий в себя и использующий в своих целях, унифицирующий и дисциплинирующий примитивные и вольные, «плюралистские формы антисемитизма, Гроссман описывает не столько по гитлеровской, сколько по послевоенной сталинской модели. Поэтому заключительная фраза главы, которая вполне может восходить к Первой книге, звучит по-новому, в духе «Жизни и судьбы», — как обличение Зла в фашистском и советском облики одинаково: «В эпохи, когда всемирная реакция вступает в гибельный для себя бой с силами свободы, антисемитизм становится для нее государственной, партийной идеей; так случилось в двадцатом веке, в эпоху фашизма».

Обобщающая глава об антисемитизме поставлена сразу после эпизода с Эйхманом: в сопровождении Лисса Эйхман осматривает подготовленный к эксплуатации «объект» — лагерь смерти. Из мелкой, личной зависти бесцветного середняка, неудачника к «потерявшей национальные черты космополитической интеллигенции», к «особой породе, странной расе, подавлявшей всех, кто пытался соревноваться с ней, умом, образованностью, насмешливым безразличием»<sup>233</sup>, рождается сила тотального истребления, но также — новое единство еврейского народа:

В Смолевичах среди садов стоят тихие домики, и трава растет на тротуарах. На улицах бердичевских Яток в пыли бегают грязные куры с желтыми кадмиевыми ногами,

---

<sup>233</sup> Там же, С. 328. К С. 440.

меченные фиолетовыми и красными чернилами. На Подоле и на Васильковской в Киеве, в многоэтажных домах с невымытыми окнами, ступени лестниц истерты миллионами детских ботинок, стариковскими шлепанцами.

В Одессе во дворе стоит пестротелый платан, сохнет цветное белье, рубашки и кальсоны, дымятся на мангалах тазы с кизилковым вареньем, кричат в люльках новорожденные со смуглой кожей, еще ни разу не видевшей солнца.

В Варшаве, в костлявом, узкоплечем шестиэтажном доме живут швей, переплетчики, домашние учителя, певицы из ночных кабаре, студенты, часовщики.

В Сталиндорфе вечером зажигается огонь в избах, ветер тянет со стороны Перекопа, пахнет солью, теплой пылью, мычат, мотая тяжелыми головами, коровы...

В Будапеште, в Фастове, в Вене, в Мелитополе и в Амстердаме, в особняках с зеркальными окнами, в домах, стоящих в фабричном дыму, жили люди еврейской нации.

Лагерная проволока, стены газовни, глина противотанкового рва объединили миллионы людей разных возрастов и профессий, языков, житейских и духовных интересов, фанатически верующих и фанатиков атеистов, рабочих, тунеядцев, врачей и торговцев, мудрецов и идиотов, воров, идеалистов, созерцателей, добросердечных, святых и хапуг. Всех их ждала казнь<sup>234</sup>.

---

<sup>234</sup> Там же, С. 328–329. Представляется поучительным сравнить эффект употребления этого любимого гроссмановского приема — обобщающего перечисления — здесь и в Первой книге (в дополнение к вопросу об общем стилистическом тоне «Правого дела», затронутому в примечании 154).

Грозная красота, Дивное величие было в пустом осеннем просторе. Огромность земель чувствовалась во всем своем нерушимом единстве. Пронзительный осенний ветер брал разгон на десятки тысяч верст, он бежал над тульскими полями, над московской землей и пермскими лесами, над Уральским хребтом и Барабинской степью, над тайгой и тундрой и над угрюмой Колымой. Крымов, казалось ему, всем своим существом ощутил единство десятков миллионов своих братьев, друзей, сестер, поднятых на борьбу за народную свободу. Фронт был всюду - и куда бы ни прорывался враг, его встречали живой плотной выходявшие из резерва полки Красной Армии. Новые, пришедшие с Урала танки выходили из засад,

Здесь перед нами единство жертв, навязанное палачом, но — и это, на мой взгляд, самое важное в еврейском аспекте «Жизни и судьбы», в этой стороне мироощущения нового Гроссмана — из навязанного рождается добровольное, принимаемое сознательно и умиротворенно. Анна Семеновна Штрум пишет сыну:

Я никогда не чувствовала себя еврейкой, с детских лет я росла в среде русских подруг, я любила больше всех поэтов Пушкина, Некрасова, и пьеса, на которой я плакала вместе со всем зрительным залом, съездом русских врачей, была «Дядя Ваня» со Станиславским. А когда-то, Витенька, когда я была четырнадцатилетней девочкой, наша семья собралась эмигрировать в Южную Америку, и я сказала папе: «Не поеду никуда из России, лучше утоплюсь». И не уехала.

А вот в эти ужасные дни мое сердце наполнилось материнской нежностью к еврейскому народу. Раньше я не знала этой любви. Она напоминает мне мою любовь к тебе, дорогой сынок<sup>235</sup>.

Материнская любовь и доброта, самые иррациональные, «бесмысленные» из всех возможных, просыпаются в старой еврейке, забывшей о том, что она еврейка, и дитя ее — весь народ в беде, плохие и хорошие в равной мере. Но она открывает для себя свой народ и видит, что душа его — хороша<sup>236</sup>: печальна и

---

новые артиллерийские полки встречали врага своим огнем. И те, что отступали по шоссейным и проселочным дорогам, прорывались из окружений, пробирались на восток - не распылялись, не исчезали для войны и труда, а опять становились в строй боевых и трудовых армий, вновь живой плотинной преграждали путь орде захватчиков и поработите лей.

(За правое дело, С. 170–171)

То, что в «Жизни и судьбе» приводит к трагической монументальности, к высокой интенсивности чувства, в «Правом деле» остается казенной, газетной риторикой.

<sup>235</sup> Жизнь и судьба, С. 50.

<sup>236</sup> См. там же. Документальную параллель к этому мотиву доброты в гетто (возможно, его источник) мы находим в одном из материалов «Черной Книги», обработанных Гроссманом: «Никогда прежде мы с Алей не

добра, насмешлива и обречена, побеждена насилием и в то же время торжествует над ним. Бессмысленнейшая доброта руководит ее действиями, как и действиями любого, кто творит добро в гетто: зачем лечить глаза, которые завтра закроются навсегда, зачем задавать мальчику урок, который никогда не будет выучен? Пусть многие, большинство чинят зло, как и на воле, все равно гетто остается мировой столицей бессмысленной доброты.

Но то же умиротворенное приятие своего еврейства, те же вдруг пробудившиеся материнские чувства Гроссман сумел изобразить на еще более трагическом уровне, в обстоятельствах, поистине крайних и последних — в газовой камере, на ее пороге.

Вторая сюжетная еврейская линия «Жизни и судьбы» выстроена вокруг Софьи Осиповны Левинтон, военного врача, которая случайно попадает в руки немцев в Сталинграде и гибнет в лагере уничтожения. Линия делится на два эпизода<sup>237</sup> — в эшелоне и в лагере, и каждый заключается (как уже отмечено выше) авторской главой о свободе.

Если письмо Анны Семеновны Штрум можно определить жанрово как трагическую лирику, то эпизоды с Софьей Осиповной — это эпический плач: при повествовании, документально точном (совпадающем с очерком «Треблинский ад»), изложение событий густо прошито авторскими наблюдениями и замечаниями, авторскими интонациями и вздохами, пропитано авторскими слезами. Но только в самом конце, после того, как сознание Софьи Осиповны погасло, Гроссман позволяет себе единственное формальное нарушение эпической иллюзии — прямое обращение к читателю: «А в ее сердце еще была жизнь: оно сжималось, болело, жалело вас, живых и мертвых людей..»<sup>238</sup>.

---

проявляли друг к другу столько взаимной нежности, заботы и внимания» (С. 290); «Все соседи снабжают друг друга чем могут. Теплые вещи, обувь, провизия, все стало общим. Сегодня все щедры и от души делятся всем» (С. 295).

<sup>237</sup> ...два эпизода... - Часть первая, гл. 43–49; Часть вторая, гл. 42–49.

<sup>238</sup> Жизнь и судьба, С. 383.

В еврейских главах гроссмановский лиризм достигает максимума.

В письме Анны Семеновны прощается с жизнью одна человеческая личность, эта смерть — событие. В эшелоне, в газовой камере уходят в небытие тысячи, из тысяч складываются миллионы, и смерть из великого события превращается в технологический процесс, а личность — в крупицу сырья для этого процесса. Вся сила души и таланта Гроссмана направлена на то, чтобы разрушить это наваждение, вырвать из сырья, из массы «особую, отдельную, прожитую жизнь», «чудо отдельного, особого человека»<sup>239</sup>. Я должен признаться, что мощь и мастерство, с какими он этого достигает, далеко превосходят возможности моего анализа, и я прекрасно отдаю себе отчет, что тот, кто читает страницы о маленькой жизни шестилетнего Давида<sup>240</sup>, о его детских страхах и восторгах, его открытии мира, о торопливых шагах его маленьких ног по бетонному полу газовой, в моих объяснениях не нуждается.

Софья Осиповна тоже принадлежит к ассимилированным и вроде бы совсем растворившимся», но детство ее было еврейским: в эшелоне она попадает в «мир, знакомый ей с детства, мир еврейского местечка», и ей чудится даже, что, несмотря на все социальные перемены, этот мир не изменился<sup>241</sup>. В эшелоне она встречается с маленьким Давидом, его одиночество, покинутость, беспомощность, «божественная стыдливость страдания»<sup>242</sup> становятся для нее (как и для автора, и для читателя) символом невинной муки, и потому «чувство жалости, которое испытывала Софья Осиповна к людям, возникало у нее особенно сильно, когда она смотрела на маленького Давида»<sup>243</sup>. Именно это чувство, а не соображения долга или ненависти к

---

<sup>239</sup> Там же, С. 375.

<sup>240</sup> Там же, С. 127–128, 131–136, 375–377, 381–383.

<sup>241</sup> См. там же, С. 126.

<sup>242</sup> В точности по этой удивительной формуле Тютчева («Осенний вечер», 1830).

<sup>243</sup> Жизнь и судьба, С. 128.

врагу (лучше умереть, чем хоть как-то сотрудничать с ним!) зажимает ей рот, когда из колонны смертников отбирают для рабочего лагеря врачей-хирургов. Она и сама не сразу понимает свое чувство, а когда понимает, то стесняется его (снова «божественная стыдливость»), но оно приносит душевный подъем, который чуть позже, в «предбаннике» газовой камеры, разрешается поразительным прозрением:

В обнажении молодых и старых тел... обнажилось скрытое под тряпьем тело народа. Софье Осиповне показалось, что она ощутила это, относящееся не к ней одной, а к народу, «вот я». Это было голое тело народа, одновременно молодое и старое, живое, растущее, сильное и вянущее, с кудрявой и седой головой, прекрасное и безобразное, сильное и немощное?<sup>244</sup>.

«Вот я»: Софья Осиповна «узнает себя, определяет свое «я» — оно всегда одно». Узнает себя как еврейку, как часть «всегда одного и того же» — несмотря на последнюю и прежние катастрофы, на ассимиляцию и ренегатство — народного тела. После этого прозрения она уже не стыдится проснувшегося в ней, девице, материнского чувства», и когда мальчик умирает первым, у нее на руках, она думает: «Я стала матерью», — и «это была ее последняя мысль»<sup>245</sup>.

Весь эпизод в лагере смерти, от выгрузки эшелона до последнего движения Софьи Левинтон, каждая его деталь отличается слиянием символа огромной емкости с самой убедительной жизнеподобностью, «реалистичностью», и в этом источник его уникальной художественной силы.

Я полагаю, что и сам Гроссман, «узнавая себя», относится к своему народу скорее по-матерински, чем по-сыновнему; впрочем, это характерно не только для него, но и для многих других

---

<sup>244</sup> Там же, С. 378.

<sup>245</sup> Там же, С. 377–383. Часть первая, гл. 50, С. 136–139

— может быть, для большинства — ассимилированных евреев перед лицом Катастрофы. Интонации матери, выгораживающей, оправдывающей свое детище, слышны, в частности, в объяснениях еврейской покорности, пассивности. Первая из двух «авторских» глав о свободе<sup>246</sup> начинается с психологии истребительных кампаний — «массового забоя людей», и Гроссман ставит «уничтожение украинских и бело русских евреев» в один ряд со сталинскими кампаниями «по уничтожению кулачества как класса... по истреблению троцкистско-бухаринских выродков и диверсантов». Искусственно раздутая ярость масс», «атмосфера отвращения и ненависти» были во всех случаях одни и те же, но и покорность жертв была тою же самой. «Эта покорность говорит о новой ужасной силе, воздействовавшей на людей. Сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух». Среди разных факторов, подталкивающих к такому параличу, выделяется «гипнотическая сила мировых идей, которые «призывают к любым жертвам, любым средствам ради достижения величайшей цели — грядущего величия родины, счастья человечества, нации, класса, мирового прогресса» в результате само насилие превращается в предмет мистического обожания. Гроссман приводит два примера, сопоставление которых весьма красноречиво:

Чем иным можно объяснить рассуждения некоторых мыслящих интеллигентных евреев о том, что убийство евреев необходимо для счастья человечества и что они, сознав это, готовы вести на убойные пункты своих собственных детей, — ради счастья родины они готовы принести жеротву, которую когда то совершил Авраам.

Чем иным можно объяснить то, что поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму, воспевающую кровавую пору

---

<sup>246</sup> Часть первая, гл. 50. С. 136–139.

страданий крестьянства, пору, похвалившую его честного и простодушного труженика-отца.

Этот поэт — Александр Твардовский, автор поэмы «Страна Муравия», написанной в 1936 году и удостоенной Сталинской премии в 1941. Гроссман словно бы взывает к совести русского народа: чем презирать нас, оглянитесь-ка лучше на себя. И он подытоживает, — уже совсем по-матерински:

Все, все рождало покорность — и безнадежность и надежда... Об этом следует задуматься многим людям, особенно тем, кто склонен поучать, как следовало бороться в условиях, о которых, по счастливому случаю, этот пустой учитель не имеет представления.

Я бы очень хотел, чтобы читатель вернулся назад и еще раз пробежал глазами изложение предисловия к «Черной книге»<sup>247</sup>: примеры сопротивления, мужества, самопожертвования несут в этих двух текстах различную функцию. В 1946 году они были призваны доказать непобедимость и неистребимость различных правильных идей — от демократии и гуманизма до пролетарского интернационализма — в их борьбе сложными. В 1960 году они свидетельствуют лишь о том, что (как уже говорилось раньше) страсть к свободе в человеке погасить невозможно. Даже оптимизм обоих выводов только кажется одинаковым.

Мотив свободы, как и мотив доброты, неотступно звучит в обоих эпизодах второй еврейской линии, только — в перевернутом виде: убывание жизни как убывание свободы. Он завершается незабываемой деталью — картиной движения внутри газовой камеры:

Это было не свойственное людям движение. Это было движение, не свойственное и низшим живым существам.

---

<sup>247</sup> С. 119–123 в данном томе. (В оригинале ссылка указывает на страницы сборника 1985 года. — Примечание Ж. Х.)



В нем не было смысла и цели, в нем не проявлялась воля живущих. Людской поток втекал в камеру, вновь входившие подталкивали уже вошедших, те подталкивали своих соседей, и из этих бесчисленных маленьких толчков локтем, плечом, животом рождалось движение, ничем не отличавшееся от молекулярного движения, открытого ботаником Броуном<sup>248</sup>.

Теряя свободу, живое обращается в мертвое несмотря на дыхание, обмен веществ, членораздельную речь. Снова символ совмещается с режущей взор наглядностью. Острота взора и мысли и отражающая их мощь слова в еврейских эпизодах часто кажутся непереносимыми, выходящими за пределы человеческого воображения и восприятия.

«Шедшая рядом Ревекка закричала, крик ее был невыносимо страшен, крик человека, превращающегося в золу»<sup>249</sup>.

«Когда на миг смолкали крики, выстрелы, хрипы, из ямы слышалось журчание крови, — она бежала по белым телам, как по белым камням»<sup>250</sup>.

То, что в «Старом учителе» было намеком и догадкой («Учитель... не смотри в ту сторону, тебе будет страшно»), теперь явилось слуху и зрению.

Катастрофа не исчерпывает еврейской тематики «Жизни и судьбы». Скорбь по ушедшим, родившая Новое чувство принадлежности к телу народа, обязывала говорить о живых, о себе. Центром, стержнем этой третьей еврейской линии романа стал Виктор Штрум.

Так же, как убитая мать, он был ассимилирован полностью, и с убитой матерью связаны его первые еврейские шаги: «Он постоянно и неотступно думал о матери. Он думал о том, о чем никогда не думал и о чем его заставил думать фашизм, — о своем

---

<sup>248</sup> Жизнь и судьба, С. 381.

<sup>249</sup> Там же, С. 380.

<sup>250</sup> Там же, С. 131.

еврействе, о том, что мать его еврейка»<sup>251</sup>. Он становится чувствителен ко всему, что так или иначе касается евреев, а иногда и мнителен. Приятель рассказывает ему о встрече с человеком, бежавшим из плена и видевшим своими глазами, что происходит на оккупированных территориях, в частности — что происходит с евреями. Приятель, татарин, говорит: «Я его специально расспрашивал о евреях, знал, что вас это интересует». Реакция Штрума: «Почему же только меня, — подумал Штрум, — неужели других это не интересует?»<sup>252</sup> Он задумывается над своею ассимилированностью, чувствует, что он завидует тому же приятелю-татарину, для которого разговор с единоплеменником на родном, своем языке — вещь, сама собой понимающаяся, тогда как он, Штрум, знает на идиш те с десяток слов, да и теми пользуется только для шуток. Когда он впервые сталкивается с государственным антисемитизмом (сотрудников-евреев вычеркивают из списков на реэвакуацию из Казани в Москву), он просто отказывается верить, хохочет: «Да вы что, с ума сошли, дорогая! Мы ведь, слава Богу, живем не в царской России. Что это у вас за местечковый комплекс неполноценности, выкиньте вы эту чушь из головы!»<sup>253</sup> Но очень скоро приходится убедиться, что это совсем не чушь. Сперва он слышит юдофобские замечания по своему адресу на перроне вокзала, потом вспоминает странную фразу директора института насчет того, что все открытия в физике, даже первоклассные, не столь уж важны, самое важное и главное — быть русским человеком. Потом начинают травить его самого, причем повод к травле он подает неосторожной похвалой Эйнштейну, соединив торжество идей Эйнштейна с победой в Сталинграде, что вызывает гнев человека из отдела науки ЦК», молодого, но чрезвычайно именитого. (Прототипом «юного вельможи» послужил, наверняка, Юрий Жданов. Отметим, кстати, умышленный временной

---

<sup>251</sup> Там же, С. 40.

<sup>252</sup> Там же, С. 246.

<sup>253</sup> Там же, С. 244.

сдвиг: борьба русской науки против Эйнштейна относится, в действительности, к концу 40-х — началу 50-х годов.) Он узнает, что один из коллег сказал о его открытии: в этой работе — дух иудаизма, ее расхваливают евреи; а начальство усмехалось одобрительно. Он пытается сопротивляться, идет к заместителю директора института — отстаивать не себя, но нужных ему людей, грозит уйти с работы.

— Виктор Павлович, — сказал Ковченко, — мы ни в коем случае не допустим, чтобы вы оставили Институт... и вовсе не потому, что вы незаменимы. Неужели вы думаете, что некем уж заменить Виктора Павловича Штрума?.. Неужели некем в России заменить вас, если вы не можете заниматься наукой без Ландесмана и Вайспапир?

Он смотрел на Штрума, и Виктор Павлович почувствовал — вот-вот Ковченко скажет те слова, что все время, как незримый туман, вились между ними, касались глаз, рук, мозга.

Штрум опустил голову, и уже не было профессора, доктора наук, знаменитого ученого, совершившего замечательное открытие, умевшего быть надменным и снисходительным, независимым и резким.

Сутулый и узкоплечий, горбоносый, курчавый мужчина, сощурившись, точно ожидая удара по щеке, смотрел на человека в вышитой украинской рубаше и ждал<sup>254</sup>.

Страх сламывает его, как сламывал многие сотни тысяч, в данном случае (чрезвычайно типичном, массовом!) — страх услышать беспощадную правду из уст всемогущего Государства, которое воплощает человек в украинской рубаше. Рабство торжествует над свободой. Даже Чепыжину, которому он жалуется, что его травят только за то, что он еврей, не смеет он выговорить страшного, запретного слова. А между тем в голосе его начинает слышаться еврейский акцент, в движениях появляются местечковые ужимки. Государство навязало ему ту маску,

---

<sup>254</sup> Там же, С. 397–398.

которую оно же само и декретировало, хоть и негласно, неофициально.

Но личная катастрофа не только сламывает Штрума, она и просветляет его. Вот он заполняет анкету — и впервые в жизни задумывается над подлостью ее вопросов (это замечательная глава — Часть вторая, гл. 54). Всегда ему казалось, что вопрос о социальном происхождении вполне естественный, коль скоро «великая революция была социальной» и, значит, призвана защищать интересы победившего класса. И вдруг он подумал:

Мне кажется моральным, справедливым социальный признак. Но немцам бесспорно моральным кажется национальный признак. Мне ясно: ужасно убивать евреев за то, что они евреи. Ведь они люди, каждый из них человек — хороший, злой, талантливый, глупый, тупой, веселый, добрый, отзывчивый, скаред. А Гитлер говорит: все равно, важно одно — еврей. И я всем существом протестую! Но ведь у нас такой же принцип — важно, что не дворянин, важно, что из кулаков, из купцов. А то, что они хорошие, злые, талантливые, добрые, глупые, веселые — как же? А ведь в наших анкетах речь идет даже не о купцах, священниках, дворянах. Речь идет об их детях, внуках. Что же, у них дворянство в крови, как еврейство, они купцы, священники по крови, что ли?<sup>255</sup>

А чуть выше автор сам комментирует раздумья своего героя:

Он не знал, что год от года будут сгущаться вокруг этого пятого пункта (вопрос о национальности в анкетах) мрачные страсти, что страх, злоба, отчаяние, безысходность, кровь будут перебираться, перекачевывать в него из соседнего шестого пункта «социальное происхождение», что через несколько лет люди станут заполнять пятый пункт анкеты с чувством рока, с которым в прошлые десятилетия отвечали на соседний шестой вопрос дети

---

<sup>255</sup> Там же, С. 399–400.

казачьих офицеров, дворян и фабрикантов, сыновья священников.

Эти размышления почти буквально совпадают с мыслями солженицынского Ройтмана в «Круге первом» (гл. 68), который писался примерно в те же годы (1955–1964), хотя и увидел свет на десять лет раньше<sup>256</sup>, чем «Жизнь и судьба».

Но еще более поразительное совпадение с Солженицыным мы находим дальше. Штрум преодолевает свою трусость, побеждает искушение — отказывается позорно и лицемерно каяться в несодеянных грехах, с помощью Бога и матери-мученицы, как ему представляется («Он не верил в Бога, но почему-то в эти минуты казалось — Бог смотрит на него... Он не думал о Боге, не думал о матери, когда непоколебимо ощутил свое окончательное решение. Но они были рядом с ним, хотя он не думал о них»<sup>257</sup>). Он говорит невестке, которая приехала в Москву хлопотать за своего бывшего мужа — арестованного Крымова:

Вы поступили по совести. Поверьте, это лучшее, что дано человеку... Главная беда наша, мы живем не по совести. Мы говорим не то, что думаем. Чувствуем одно, а делаем другое. Толстой, помните, по поводу смертных казней сказал: "Не могу молчать!" А мы молчали, когда в тридцать седьмом году казнили тысячи невинных людей... Мы молчали во время ужасов сплошной коллективизации. И я думаю — рано мы говорим о социализме — он не только в тяжелой промышленности. Он прежде всего в праве на совесть. Лишать человека права на совесть — это ужасно. И если человек находит в себе силу поступить по совести, он чувствует такой прилив счастья.

Здесь перед нами в одном абзаце тезисы знаменитой солженицынской статьи-призыва «Жить не по лжи!», написанной

---

<sup>256</sup> В 1968 году, в Белграде (Marija Cudina, Leonid Sejka & Slobodan Masic), Нью-Йорке (Harper & Row) и Франкфурте-на-Майне (Fisher Verlag).

<sup>257</sup> Там же, С. 486. (На двенадцать лет раньше. — Примечание Ж. Х.)

больше чем полтора десятка лет спустя. Но не в приоритете суть, а в том, что бунт против зла и злобы, против рабства, то, что в Советском Союзе называют сегодня, с легкой руки Запада, диссидентством, идет примерно тем же путем, приводит к тем же выводам — вне зависимости от политических оттенков и непосредственных мотивов бунта. Или, проще говоря, оставаясь в пределах литературных явлений, морализм Гроссмана в ближайшем родстве с морализмом Солженицына, и даже религиозность второго не вступает в конфликт с атеизмом первого, потому что в решающий миг герой-безбожник ощущает присутствие Бога.

И еще в одном эпизоде, возможно важнейшем в штрумовской линии, звучит будущий солженицынский мотив — мотив раскаяния.

Штрума спасает звонок Сталина, который понимает важность ядерных исследований. В мгновение ока опальный еврей вознесен на вершины почета, вчерашние гонители заискивают перед ним, и тут он совершает подлость: подписывает письмо для печати, опровергающее «клеветнические вымыслы» западной прессы о политических репрессиях в Советском Союзе. Он нашел в себе силу сопротивляться Злу, пока был пасынком времени, гонимым жидом, он сдается без боя, когда становится любимцем времени и Государства, которое признает его своим, русским:

— К чему агитировать Виктора Павловича? У него сердце русского советского патриота, как и у всех нас.

— Конечно, — сказал Шишаков, — именно так.

— Да кто ж в этом сомневается? — сказал Ковченко.

— Да, да, да, — сказал Штрум<sup>258</sup>.

Прежде, в эвакуации, в Казани, Штрум думал о том, какая страшная беда для физика-еврея в Германии совершить важное открытие: он счастлив как ученый, а его открытие усиливает мощь фашизма, который истребляет его родных, как бешеных

---

<sup>258</sup> Там же, С. 582.

собак<sup>259</sup>. Теперь, прозревши благодаря собственным страданиям, он не может не понимать, что тогдашние его размышления оборачиваются против него самого.

Если звонок Сталина вернул ему силу независимо от его воли, то присоединился к сильным, принял их сторону он сам, добровольно, — и «потерял внутреннюю свободу», пожертвовал совестью, правом на уважение близких. Как он смел осуждать других за робость и покорность, «кичиться перед другими... своей чистотой, мужеством...»? «Бывают слабыми и грешные, и праведные. Различие их в том, что ничтожный человек, совершив хороший поступок, всю жизнь кичится им, а праведник, совершая хорошие дела, не замечает их, но годами помнит совершенный им грех»<sup>260</sup>.

И в этот кризис его снова спасает мысль о матери. Сначала он «боялся думать о матери, он согрешил перед ней. Ему страшно взять в руки ее последнее письмо». Но потом с ясностью он увидел, что еще не поздно, есть в нем еще сила поднять голову, остаться сыном своей матери». Но для этого нужна ни на миг не затухающая память о «том плохом, жалком, подлом, что он сделал». И он говорит себе: «Ну, что ж, посмотрим, может быть и хватит у меня силы. Мама, мама, твоей силы»<sup>261</sup>. Это последние слова Штрума в романе. Они завершают все еврейские линии «Жизни и судьбы» и связывают, стягивают их одним узлом. Живые в долгу перед мертвыми, кошмар катастрофы не может быть предметом лишь исторических изысканий, он обязывает к действию, к перемене жизни, к выбору. Нельзя быть одновременно сыном убитой в Бердичеве еврейки и «русским советским патриотом» по образцу Шишакова и Ковченко, Жданова и Бубеннова. Но более того, и солженицынский выбор, о котором я упоминал выше, невозможен, нереален. Сказать России — не Советскому Союзу, не советскому режиму — «я твой», отдать себя

---

<sup>259</sup> См. там же, С. 247.

<sup>260</sup> Там же, С. 586–587.

<sup>261</sup> Там же. С. 587.

ей целиком значит забыть о своем долге перед теми, во рвах и ямах, перед обратившимися в золу, отказаться от силы, которою наделяет материнская любовь. Я думаю, что солженицынской альтернативы (я твой, Россия, или же губить Россию, а в лучшем случае, бросить ее на произвол судьбы) не принимает ни Штрум, ни его создатель. И немалую роль в этом неприятии играет «государственно-национальный характер нового уклада», того уклада, который сложился как «логический результат Октябрьской революции» и который Сталин «определил как социализм в одной стране». Старые идеи и формулы, понятия, унаследованные от дореволюционных и революционных времен, потеряли смысл во время войны, а «слово «русский» вновь обрело живое содержание». Но «национальное сознание», которое «проявляется как могучая и прекрасная сила в дни народных бедствий» и которое «прекрасно, потому что оно человечно, а не потому, что оно национально», стало в послевоенную пору средством для достижения государственных целей, союзником, а скорее — слугою неумолимого и бесчеловечного государства, социализма в одной стране. Если «советское» совпало с русским», то русскому националисту в принципе нечего возразить против государственной «идеи национального суверенитета», против «утверждения советского, русского во всех областях жизни»<sup>262</sup>. Но русский еврей, сознательно принимающий свое еврейство как долг и как ценность, в принципе же не может с этим согласиться.

Но сознательно принимающих (или отвергающих), делающих выбор — всегда меньшинство. О молчаливом большинстве, которое только «несет в себе, как заразу, эту особую расу» (Борис Слуцкий), сказано немного и мимоходом, в одном из периферийных эпизодов (Часть первая, гл. 37). Во время собрания в летном полку, который готовится к вылету на фронт, к Сталинграду, один пилот, русский, шепотом спрашивает другого пилота, еврея: «А ты, Боря, куда летишь?.. В свою еврейскую столицу,

---

<sup>262</sup> Мысли Гроссмана о новом национальном самосознании изложены в главе 20 (Часть третья, С. 462–464).



Бердичев?» — и тот отвечает на его шепот громогласным матом. Комиссар полка, тоже еврей, неприятный, явно не любимый подчиненными и сослуживцами, но человек выдающейся храбрости в боях, пугается. Мало того, что всю вину за нарушение дисциплины он возлагает на еврея, но еще вдобавок оказывается, что еврей «не изжил националистических предрассудков и его поведение есть пренебрежение дружбой народов».

Задвинутость эпизода на второй план вполне объяснима — речь идет о бытовом, по Гроссману, «бескровном» антисемитизме, которым не только можно, но, пожалуй, и должно пренебречь; недаром и обидчик изображен скорее шальным озорником, чем злоумышленником. Что жутко и мучительно в этом эпизоде при всей его незначительности, что придает ему злоеущую важность, так это безысходность ситуации, в которую загнан «еврей поневоле». Его альтернатива — бессильная ярость или холуйское заискивание и демагогия — так же актуальна сегодня, как 20, и 30, и 40 лет назад. Третьего «еврею поневоле» не дано.

Но почему сама эта ситуация, само молчаливое большинство российского еврейства заняли такое скудное место в романе? Как совместимо это с гроссмановским плебейским демократизмом, «народничеством»? Конечно, можно ответить самым простым образом: Штрума, интеллигента высокого полета, автор знает как самого себя, Штрум, по сути дела, — его психологический автопортрет, а рядовой еврей, потерявший корни выходец из местечка или обрусевший в первом или втором поколении горожанин, как мы видели на примере инженера Кругляка из рассказа «Цейлонский графит», известен ему сравнительно плохо, мало. Возможно. Однако настоящий и исчерпывающий ответ мы получим, мне кажется, только тогда, если самый вопрос сформулируем в более общем виде: вправе ли мы считать автора «Жизни и судьбы» русско-еврейским писателем?

Я думаю, нельзя сомневаться, что этот роман не был бы написан, не перенеси Гроссман ударов судьбы, которые выпали ему именно как еврею. Собственное горе, несправедливости,

жертвою которых стал он сам, открыли ему глаза на чужое горе, на боль и муки жертв иных несправедливостей — и он написал обо всем, что увидели его глаза, освободившись от шор, и в истоке нового, универсального видения лежит его еврейская судьба. Я бы решился даже предложить это как термин — писатель еврейской судьбы. Таких много и в русской, и в других литературах, и не только в нынешнем веке, но и в минувшем. Писатель еврейской судьбы — это не просто человек еврейского происхождения, не просто еврей, который не скрывает своей национальной принадлежности и, может быть, даже терпел или терпит неприятности в связи с этой принадлежностью. Недавно в Москве умер известный публицист и первоклассный переводчик Лев Гинзбург. В посмертно напечатанных биографических записках он рассказывает, среди прочего, о поездке в какой-то город бывшей черты оседлости, откуда вышли его родители (сам он родился уже в Москве). Он попадает на старое еврейское кладбище. «Осколки старинных надгробий со стершимися письменами, вросшие в землю, напоминали надолбы. Очевидно, под одним из таких камней лежал мой прадед, и от прикосновения к этой земле меня словно током ударило: впервые в жизни я так реально, физически ощутил связь поколений, величайшее таинство бытия, связующее предков со мной, а меня через моих детей с неведомыми мне потомками». Сопровождающий писателя местный человек, понятно, еврей, начинает рассказывать о прошлом, «обращаясь то ко мне, то к моим детям. А они стояли, усталые от дороги, от рассказов Миндлина, разомлевшие от солнца, которое припекало все жарче, и, дергая меня за рукав, тихонько просили: едем к морю...»<sup>263</sup> Возможно, что и дети, состарившись, ощутят нечто подобное — в первый и последний раз в своей жизни, как их отец. Предки для него — не история, не судьба, а биология, ниточка жизни. Наверное, поэтому так естественно, искренне звучат строки, которые никогда не могли бы

---

<sup>263</sup> Гинзбург, Лев. Разбилось лишь сердце мое. // Новый мир, 1981, № 8, С. 113–114.

выйти из-под пера писателя еврейской судьбы: «Так шло время, шел к концу год 1952, бедный внешними событиями, полный предощущений перемен»<sup>264</sup>. Это о годе Пражского процесса, о годе-вершине антисемитского террора в сталинской России.

И напротив, не будь Гроссман писателем еврейской судьбы, он не смог бы подняться до той — без преувеличений — головокругительной, беспримерной силы, которая создала письмо Анны Штрум, повесть о смерти Софьи Левинтон и ее спутников. И опять-таки дело не в происхождении, не в биологии. Возьмем для сравнения два очень разных романа последних лет, посвященные Катастрофе, — «Выбор Софи» Уильяма Стайрона и «Тяжелый песок» Анатолия Рыбакова: до гроссмановской силы русскому еврею Рыбакову так же далеко, как американцу Стайрону.

Но, с другой стороны, писатель еврейской судьбы и еврейский писатель — не одно и то же. Макс Брод был немецко-еврейским писателем, но к его великому другу, Францу Кафке, это понятие, по моему крайнему разумению, неприменимо. Русско-еврейский писатель — это голос русского еврейства, его самосознание и самопознание. «Жизнь и судьба» намного шире этих рамок. Самопознание ассимилированного еврея занимает в романе свое место, и место достаточно важное; Виктор Штрум, как характер, как тип, — литературное открытие первостепенной важности, бабелевского масштаба. Своего рода открытием навыворот мне представляется старый чекист Каценеленбоген, сосед Крымова по камере на Лубянке, теоретик и поэт несвободы<sup>265</sup>, видящий в лагере универсальный и единственный путь ко всеобщему счастью. Хоть он и отрекомендовывает себя евреем<sup>266</sup>, автор этой рекомендации не разделяет. Он не сын своей матери, он не принадлежит ни к чему, кроме карательных органов социализма в одной стране. Я уже говорил: еврейство, по

---

<sup>264</sup> Там же, С. 134.

<sup>265</sup> См. Жизнь и судьба, С. 588–591.

<sup>266</sup> См. там же, С. 440.

Гроссману, — это выбор, акт воли, и Каценеленбоген сделал свой выбор, так же как Виктор Штрум — свой. Гроссман «закрывает» столь милый многим русским националистам образ еврейского палача русского народа. Если мы и в ответе за Каценеленбогена, то не как евреи, а как человеческие существа, как советские люди, наследники и потомки обитателей Российской империи, не больше в ответе, чем русские и татары, чем, скажем, Шостакович, или Михаил Булгаков, или сам Солженицын, вменяющий нам в вину Бермана и Раппопорта, Ягоду и Френкеля.

Все это, однако, лишь элементы, детали монументальной картины, эпоса нашего времени, мы можем сказать — советского эпоса, если под «советским» будем понимать не режим, а исторический период в жизни Российского государства. И не так существенно то, что общероссийское, советское, нееврейское занимает в картине основную площадь, как то, что художник Гроссман — русский художник. В первую очередь он видит себя наследником Чехова и Толстого, первый и главный предмет его художнического внимания — Россия, ставшая Советским Союзом. Гроссман «Жизни и судьбы» — первый свободный голос советского народа, первая весть свободы и доброты, вырвавшаяся из зажатого террором рта. Голос еврея, но не еврейский голос. (Так же как Тувим говорил о крови евреев, противопоставляя ее «еврейской крови».)

После ареста Главной книги Гроссману оставалось жить три с половиной года: он скончался от рака 14 сентября 1964. Я не знаю деталей этого тягостного доживания, мучительного во всех отношениях эпилога жизни. Все наши исчисляемые по пальцам одной руки мемуарные источники сообщают, что он был одинок, подавлен до отчаяния, безвыходно беден, что он невыносимо страдал перед смертью. Я уверен, однако, что, как не пропала «Жизнь и судьба», так не пропадут и живые воспоминания о Гроссмане тех, вероятно, немногих, кого он любил и кому доверял. А такие люди были, и первое тому доказательство — появление на Западе повести «Все течет...» через пять с лишним лет после кончины автора<sup>267</sup>. Чьи-то руки сохранили эти смертельно опасные для держателя странички, переправили их на волю. Будем надеяться, что из тех же рук (или из иных, близких к ним) выйдут на волю воспоминания, которые помогут нам лучше понять и мятежные книги, и мятежника-автора.

Важно иметь в виду, что отчуждение было взаимным: не только благополучные и здравомыслящие избегали «пасынка времени», но и сам Гроссман рвал связи с преуспевающими, поспевающими за временем. Очень характерны в этом отношении мемуары Эренбурга:

В послевоенные годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез... Однажды я его встретил в Союзе писателей, пробовал объяснить, он, посмеиваясь, отвечал: «А зачем мне приходиться? У вас свои дела, у меня — свои» ... Все это не похоже на обычные дружеские отношения. Очевидно, нас связывали война и горькие

---

<sup>267</sup> Повесть вышла полностью в издательстве «Посев» (Франкфурт-на-Майне) в 1970 году. Две главы (1-я и 14-я) были напечатаны несколько раньше (но в том же, 1970 году) во франкфуртском журнале Грани, № 78.

послевоенные годы. А потом все оборвалось, и вдруг проступили два человека, непохожие друг на друга, каждый со своей судьбой.

Дальше Эренбург — и это, если не ошибаюсь, единственное в советской литературе открытое упоминание о «Жизни и судьбе» — пишет:

Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. Жил он замкнуто и умер летом 1964 года. Похороны его были горькими... Я увидел военных корреспондентов «Красной звезды» — пришли все оставшиеся в живых. Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался: почему я пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что многих мучила та же мысль: почему не поддержали, не согрели?.. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Это старая история: судьба, видимо, не любит максималистов<sup>268</sup>.

К вопросу о том, был ли Гроссман максималистом, и что означает его максимализм, я вернусь в заключении своего очерка. Но совершенно понятно и без ссылки на максимализм, почему Гроссман вышел из круга фронтовых приятельств. В «Жизни и судьбе» он отважился на то, о чем еще никто и никогда не смел и подумать, и потому оказался в полном одиночестве — как Прометей, как Иов. Чем могли поддержать его, согреть бывшие сотрудники по военной газете или сам Эренбург? Напрасно они мучались «мыслями» и угрызениями совести — незачем было бы им ходить к живому Гроссману. У них были делишки, у кого почище, у кого погрязнее, а у него — Дело. Тут уже и не о политике речь, и не о литературе, а о первоосновах нравственного существования, тут веет духом толстовской или гоголевской трагедии.

Именно в эту пору предельного одиночества дописывалась повесть «Все течет»...

---

<sup>268</sup> Эренбург, ук. соч., С. 410– 411.

Все, что известно об истории ее создания<sup>269</sup>, — это поставленные в конце даты: 1955–1963. Но сопоставление с «Жизнью и судьбой» и с фактами из жизни страны и автора, укладываемыми в указанные хронологические рамки, позволяет сделать немало любопытных наблюдений.

Время действия повести — 1954–1955 годы. После почти тридцатилетнего заключения в тюрьмах, лагерях и ссылках возвращается из Сибири Иван Григорьевич, которого автор называет «стариком» и который должен быть примерно ровесником автора: в первый раз его сослали в 1924 или 1925 году, исключив из университета. В Москве он встречается со своим преуспевающим двоюродным братом, в Ленинграде — с еще более преуспевающим бывшим товарищем по университету, доносчиком, который в свое время его посадил. Потом он уезжает в какой-то «южный город», поступает слесарем в инвалидную артель. Здесь к нему приходит поздняя любовь, но через несколько месяцев его подруга умирает от рака. Вот и все, не считая заключительной главки — поездки героя в «приморский город, где под зеленой горой стоял дом его отца»<sup>270</sup>, в Сочи.

Действия, фабулы, по сути, вообще нет, есть несколько сцен, каждая из которых совершенно статична и каждая — сама по себе, не связана с другой.

Сюжетная невыстроенность подкрепляется, акцентируется обнаженно публицистическим характером всего текста: одна треть его — чистая публицистика, либо непосредственно авторская, либо формально прикрытая ссылкой на размышления Ивана Григорьевича. Вдобавок к этому в повесть включены три вставные новеллы, формально совершенно независимые от

---

<sup>269</sup> Не многое разъясняет и «Московское письмо»: «Первый вариант (листа четыре) был написан до болезни, он был менее остр, чем окончательный, не было рассуждений о Ленине. После первой операции, когда вырезали у него почку, Василий Семенович вернулся к повести, расширил ее объем, а главное — ее содержание, увеличилось количество рассуждений».

<sup>270</sup> Гроссман, В. Все течет..., Второе издание. Франкфурт-на-Майне, Посев, 1973, С. 205.

сюжета. Можно сказать, что перед нами скорее повесть-раздумье, чем повесть-повествование.

Раздумья Гроссмана в повести «Все течет...» — это, по сути вещей, углубленный комментарий к роману «Жизнь и судьба». Можно предположить, что он создавался сперва, так сказать, на полях романа, а затем, в последние годы, после ареста «Жизни и судьбы» — взамен похищенного, как бы в посильное восполнение невозвратимой потери. Нельзя исключить возможности, что он остался неоконченным. Последняя глава и особенно последняя фраза вроде бы и создают впечатление финального аккорда, но сцены на нейтральный сюжетный стержень можно нанизывать и дальше, пища для рассуждений автора (под маской Ивана Григорьевича или без нее) не иссякла.

За малыми и незначительными исключениями все темы, мотивы, идеи повести идут от «Жизни и судьбы»: свобода, доброта, государство, национализм, время и его любимцы и пасынки, партия и ее доверие, террор, коллективизация... Часто идеи и темы развиваются, как и надо тому быть в комментарии, но не так уж редки и прямые повторы, и даже дословные совпадения, автоцитаты. Вот, например, чистый повтор: «История человечества есть история его свободы. Рост человеческой мощи выражается, прежде всего, в росте свободы. Свобода не есть осознанная необходимость, как думал Энгельс. Свобода прямо противоположна необходимости, свобода есть преодоленная необходимость. Прогресс в основе своей есть прогресс человеческой свободы. Да ведь и сама жизнь есть свобода, эволюция жизни есть эволюция свободы<sup>271</sup>. А вот развитие, углубление:

В маленьком городке, живя у вдовы сержанта Михалева, Иван Григорьевич шире, сильнее стал ощущать смысл свободы. В житейской борьбе, которую ведут люди, в ухищрениях рабочих, добывающих ночным трудом лишний рубль, в битве колхозников за хлеб и картошку, за

---

<sup>271</sup> Там же, С. 178.



свою единственную трудовую выгоду, он угадывал не только желание жить лучше, досыта накормить детей и одеть их. в борьбе за право шить сапоги, связать кофту, в стремлении сеять, что хочет пахарь, проявлялось естественное, неистребимо присущее человеческой природе стремление к свободе. и это же стремление он видел и знал в лагерных людях. Свобода казалась бессмертной по обе стороны лагерной проволоки<sup>272</sup>.

Мне кажется, можно назвать четыре главных линии, которым следует Гроссман-«комментатор». Это — тюрьмы и лагеря, коллективизация, российская история, Ленин.

Хотя лагерь и тюрьма занимают очень важное и очень большое (по числу страниц) место в «Жизни и судьбе», повесть, в этом пункте, романа не повторяет нисколько. «Все течет...» предвосхищает «Архипелаг ГУЛАГ». Часть лагерных глав вполне соответствует тому жанровому определению, которое дал своему труду Солженицын — опыт художественного исследования. Исследуются эволюция ГУЛАГа, разряды его обитателей, их типическое поведение в тюремной камере и в зоне, «душа и колючая проволока» (так назвал Солженицын четвертую часть «Архипелага»). Разумеется, тут те же отличия, что между эмбрионом и взрослою особью, но и сходство то же: тот же замысел, та же цель, та же — в потенции — сила обобщения и обвинения. Я думаю, что и метод был тот же — опрос уцелевших, сбор воспоминаний, метод очеркиста, метод документальной прозы, освоенный Гроссманом в годы войны. Но Солженицын полон гнева и убийственного сарказма, он неукротимый боец, он памфлетист. Гроссман, и особенно в позднюю пору жизни, и вдвое — после катастрофы с «Жизнью и судьбой», смотрит и говорит горько, устало, в нем больше снисходительности, отчасти презрительной, его вера и надежды зыбче, тон глуше и чувствительнее. Это особенно ясно заметно, если сравнить 8-ю главу Из части третьей

---

<sup>272</sup> Там же, С. 94.

«Архипелага» («Женщина в лагере») с главами 12–13 «Все течет...», которые в точности о том же самом — о женщине в лагере. Первая из них — попытка теории, вторая — пример, иллюстрация, вставная Новелла о Машеньке Любимовой, «тихой Машеньке», севшей «за мужа» и в течение года проделавшей весь мученический путь лагерницы, от этапа до лагерного морга. Эта новелла о жизни, угасающей по мере угасания надежды, написана в духе и ключе тихого причитания, придушенного воя плакальщицы. Так не написал (не захотел? не смог?) не только Солженицын, но и Шаламов, и Евгения Гинзбург. Особый голос Гроссмана незаменим и необходим в многоголосье лагерного реквиема, и десяток страничек новеллы о тихой Машеньке стоят среди шедевров лагерной темы, рядом с тремя томами «Архипелага».

Об истребительной войне советской власти против крестьянства, известной под именем ликвидации кулачества как класса, в «Жизни и судьбе» упоминается много раз и по разным поводам, но особо ей посвящен лишь один, правда очень сильный и запоминающийся, но и очень короткий эпизод<sup>273</sup>. В повести крестьянская тема задана с самого начала, в первой же главе (молодой экономист осуждает «сельских лодырей»: «Ведь русские же люди! Не немцы... А работать не любят», — на что сосед экономиста по купе иронически отзывается: «Куда им, сознательности никакой, каждый день кушать хотят»<sup>274</sup>), и развитие ее идет ретроспективно, от сегодняшних последствий<sup>275</sup>, нынешней колхозной нищеты, апатии, убожества к причинам и корням, физическому и моральному убийству миллионов, словившему дух крестьянства. Убийство это показано через воспоминания-исповедь бывшей активистки раскулачивания, с тех пор одумавшейся и раскаявшейся, квартирохозяйки Ивана Григорьевича и его

---

<sup>273</sup> Жизнь и судьба, С. 210–21 (Ершов, будущий герой и глава сопротивления в немецком концлагере, навещает до войны своего отца, воронежского крестьянина, раскулаченного и высланного на Северный Урал).

<sup>274</sup> Все течет..., С. 8–9.

<sup>275</sup> См. там же, С. 83–84.

возлюбленной. Ее рассказ в «первую любовную ночь» (глава 14) принадлежит к числу самых высоких, самых мучительных и, не побоюсь сказать, самых великих страниц, когда бы и где бы то ни было напечатанных о трагедии русского и украинского крестьянства.

Я уже говорил, что в «Жизни и судьбе» Гроссман сравнил гитлеровское «окончательное решение» еврейского вопроса со сталинской расправой над крестьянами. Та же мысль — и здесь. Но в романе она подана как прямое авторское рассуждение, суховатое, почти научное, а здесь оделась словами и интонациями отчаянного покаяния:

Я спросила, как немцы могли у евреев детей в камерах душить, как они после этого могли жить, неужели ни от людей, ни от Бога так и нет им суда? А ты сказал: суд над палачом один — он на жертву свою смотрит не как на человека и сам перестает быть человеком..., и я вспоминаю теперь раскулачивание и по-другому вижу все... Ведь как люди мучались, что с ними делали! А я говорила: это не люди, это кулачье... Чтобы их убить, надо было объявить: кулаки — не люди. Вот так же, как немцы говорили: жида — не люди. Так и Ленин, и Сталин: кулаки — не люди.

И еще: «В городе по карточкам рабочим по восемьсот грамм давали... А деревенским детям ни грамма. Вот как немцы, детей еврейских в газу душили — вам не жить, вы жида.<sup>276</sup>

Гроссман решительно подтверждает, что Катастрофа русского и украинского крестьянства — его личная боль в той же мере, как и Катастрофа европейского еврейства. А ведь еще так недавно он сам, если и не участвовал активно в травле, то сочувствовал гонителям и обличал гонимых. В повести «Народ бессмертен» (первая публикация — газета «Красная звезда», 1942, июль–август), писавшейся для газеты в крайне сжатые сроки и в

---

<sup>276</sup> Там же, С. 118–119, 126.

трудных условиях, он все же нашел место для недобитого кулака-предателя, с нетерпением дожидаящегося прихода немцев<sup>277</sup>. Такие же кулацкие недобитки, тоскующие по царским порядкам, горюющие по раскулаченным («...сколько знаменитых богатых хозяев пропало, сколько угнали в тридцатом году...») и готовящиеся зажить в свое удовольствие под немцем, выведены с отвращением, с ненавистью в «Правом деле».<sup>278</sup>

Две другие главные линии, которые я назвал выше, связаны самим Гроссманом: «Чтобы понять Ленина, недостаточно взглянуть в человеческие, житейские черты Ленина-политика, нужно соотнести характер Ленина сперва с мифом национального русского характера, а затем сроком, характером русской истории. Вот вкратце историософская схема Гроссмана<sup>279</sup>:

Мыслители и пророки России, ее сильнейшие умы и сердца воспевали русскую душу и предрекали ей великое будущее, но они не видели того, что русская душа — тысячелетняя раба. Именно потому избранником ее стал Ленин, хотя, «подобно женихам, прошли перед юной Россией, сбросившей цепи царизма, десятки, а может быть, и сотни революционных учений, верований, лидеров...» Размах, удаль, ненасытная страсть к воле — только поверхностные, обманчивые впечатления, которые производит русская душа, и так же обманчиво ощущение, что история России есть история «растущего просвещения и сближения с Западом». На самом деле «развитие России оплодотворялось ростом рабства» — в прямую противоположность западному развитию. Самым революционным событием во всей русской истории было освобождение крестьян, потому что оно было покушением «на основу основ старой России — ее рабскую душу». Ленин же только «способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатической души», способствовал новой победе рабства над свободой.

---

<sup>277</sup> См. Гроссман, В., Повести. Рассказы. Очерки, С. 48–49.

<sup>278</sup> «За правое дело», Часть первая, гл. 60., С. 239.

<sup>279</sup> См. там же, С. 113–183. (глава 22).

Никакой «загадочной русской души» не существует, потому что «какая же загадка в рабстве?» Если бы на месте русских оказались французы или англичане, они узнали бы ту же судьбу, потому что «всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души». Ленин во многом противоположен пророкам России», но сходен с ними в том, что не различал свободы от рабства.

И в заключение схемы — горчайший вздох:

«Где пора русской свободной человеческой души? Да когда же наступит она?»

А может, и не будет ее, никогда не настанет».

Эта схема требует, по крайней мере, двух замечаний.

Во-первых, здесь нет и следа ненависти к России, здесь бесконечная жалость, рожденная любовью. Ни прежние, довоенные апологеты русской души и русской истории из числа эмигрантов (примером может служить профессор Иван Ильин<sup>280</sup>), ни новейшие, вроде Солженицына, не вправе были бы укорять Гроссмана в русофобстве.

Во-вторых, по сравнению с «Жизнью и судьбой» историко-софская позиция не изменилась. Иною, более скептической, чтобы не сказать пессимистической, стала только оценка исторической перспективы, взгляд в будущее, и изменение это вполне объяснимо личными испытаниями последних лет жизни Гроссмана.

Нисколько не противоречит намеренному в «Жизни и судьбе» и внимательный, подробный разбор ленинского характера и ленинской деятельности (глава 21), и главы о Сталине (23 и 24), где утверждается, что именно Сталин, «соединивший в себе

---

<sup>280</sup> Иван Александрович Ильин (1883–1954), профессор Московского университета, правовед и философ, был, видимо, самым крупным и талантливым представителем русской монархической идеи в эмиграции (он был выслан из Советской России в 1922 г.). Опять-таки в качестве примера, но особенно яркого, укажу на две его поздние (1953 г.) статьи «Ненавистники России», I–II. // Ильин, И. А., Наши задачи. Издание Обще-Воинского Союза, Париж, 1956, том II, С. 532–539.

азиата и европейского марксиста», был истинным преемником Ленина, блистательно завершившим начатое Лениным дело<sup>281</sup>.

Это важно прежде всего потому, что и в романе, наивно предназначавшемся для печати, и в повести, писавшейся тайно, для себя, может быть — для потомства, Гроссман один и тот же, в нем нет «двурушнического раздвоения, которое так часто метит советскую инакомыслящую интеллигенцию, каким бы это инакомыслие не было — либеральным, радикальным, консервативным, почвенным и т. д.

Со скепсисом, разочарованием связана, как мне представляется, новая жалость к человеку, новая потому, что в ней не только «бессмысленная доброта», но вполне осмысленная снисходительность к его природной слабости, граничащее с презрением сознание безосновательности его горделивых претензий. Она разлита или, скорее, разбрызгана — фразами, полуфразами — по всей повести, но сконцентрирована в блестящем памфлете о доносчиках (глава 7).

Иван Григорьевич или сам автор, — это остается нарочито неопределенным, — задается вопросом: «Как быть с погубителями-доносчиками?» Четыре категории «Иуд», от посаженного и клеветавшего под пыткой до Иуды-мещанина из коммунальной квартиры, Иуды-добровольца и стяжателя, проходят перед судом, и у каждого, даже самого низкого, есть свои смягчающие

---

<sup>281</sup> «В Сталине, а его характере, соединившем в себе азиата и европейского марксиста, выразился характер советской государственности! в Ленине воплотилось русское национальное историческое начало, в Сталине — русская советская государственность. Русская государственность, рожденная Азией и рядящаяся под Европу, не исторична, она надисторична. Ее принцип универсален, незыблем, применим ко всем укладам России на протяжении ее тысячелетней истории. С помощью Сталина унаследованные от Ленина революционные категории диктатуры, террора, борьбы с буржуазными свободами, казавшиеся Ленину категориями временными, были перенесены в основу, в фундамент, в суть, слились с традиционной национальной тысячелетней русской несвободой. С помощью Сталина эти категории и сделались содержанием государства, а социал-демократические пережитки были изгнаны в форму, в театральную декорацию». (Все течет..., С. 189.)

обстоятельства. Сексоты и доносчики не отрицают своей вины, но они требуют, чтобы ее разделили с ними все «соучастники сталинской эпохи», они требуют, чтобы обвинитель ответил на их вопрос: «В чем причина этой подлой всеобщей, вашей и нашей, поголовной слабости, податливости?» И защитник на воображаемом процессе, или Иван Григорьевич, или снова сам автор, восклицает:

Ах, не все ли равно — виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, минеральная, физико-химическая сторона человека... Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили... Человек обязан лично себе за мразь человеческую... Кого же судить? Природу человека! Она, она рождает эти ворохи лжи, подлости, трусости, слабости. Но она ведь рождает и хорошее, чистое, доброе. Доносчики и стукачи полны добродетели, отпустите их по домам, но до чего мерзки они, мерзки со своими добродетелями, со всем отпущением грехов..., да кто же это так нехорошо пошутил, сказав: «Человек — это звучит гордо!»? Да, да, они не виноваты... нет среди живых невиновных. Все виновны, и ты, подсудимый, и ты, прокурор, и я, думающий о подсудимом, прокуроре и судье. Но почему так больно, так стыдно за наше человеческое непотребство?<sup>282</sup>

Разумеется, есть в этом памфлете, в этом процессе сильный сатирический элемент, но суть не в сатире, а в признании и своей вины, в покаянии. У Ивана Григорьевича совесть чиста, он тридцать лет просидел и ни в чем не участвовал, но автор, советский писатель Гроссман, участвовал во всем, и в славном, и в срамном, и ему, действительно, стыдно и тяжело не за доносчиков только, но и за себя самого, за свой былой энтузиазм, близорукость, за свое преклонение перед родителем социалистического реализма

---

<sup>282</sup> Там же, С. 70–71.

и социалистического гуманизма Максимом Горьким, которому принадлежит «нехорошая шутка» о гордом звучании слова «человек»<sup>283</sup>.

Маленькая книжка Гроссмана поразительно богата и смыслом, и художеством, и, хотя подлинное ее значение становится очевидным лишь в связи и в сопоставлении с Главной книгой, она могла и должна была стать событием первостепенной важности, и сама по себе, событием литературным, политическим, общественным. Но, к сожалению, не стала<sup>284</sup>.

Пора, однако, вернуться к главному для этого очерка — к еврейской стороне Гроссмана.

Она представлена в повести, и достаточно основательно. Счастливый перелом в карьере двоюродного брата Ивана Григорьевича связан с антикосмополитской кампанией 1949–1953 годов, и Гроссман подробно рассказывает о ее течении от первых антисемитских фельетонов до предпогромной атмосферы января 1953 года; рассказ занимает около половины 3-й главы и снова, как в «Жизни и судьбе», вводит антисемитизм в широкий социальный и исторический контекст. Так, об ожидавшейся

---

<sup>283</sup> Из монолога Сатина в пьесе «На дне» (акт 4): «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!» В защиту Горького надо заметить, что эту ставшую хрестоматийной формулу Сатин произносит в пьяном и непотребном виде, так что есть все основания понимать «гимн Человеку» как ядовитый сарказм. Именно так и толковали его режиссер О. Ефремов и актер Е. Евстигнеев в спектакле московского театра «Современник» в 60-е годы.

<sup>284</sup> «Все течет...» вышла в 1971 году по-итальянски (миланское издательство Mondadori), в 1972 году — по-английски (нью-йоркское издательство Harper and Row), по-французски (парижское издательство Stock), по-немецки (в том же «Посеве», который выпустил русский оригинал) и по-сербски (белградское издательство «Обелиск»), в 1975 году — на иврите (тель-авивское издательство Ам овед), в 1977 году — по-шведски (стокгольмское издательство Fogum). В Париже рассказывают, что агенты советского посольства скупали книгу по всем книжным магазинам и, таким образом, почти весь тираж был уничтожен и до читателя не дошел. Я не берусь объяснять причины того, почему повесть осталась сравнительно незамеченной, они мне непонятны. Мне кажется, что и сенсационная слава Солженицына не должна была заслонить «Все течет...», как не заслонила она, например, «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург.



волне погромов (в связи с сообщением о заговоре еврейских врачей убийц) Гроссман пишет:

Как и все, что совершалось в стране, и это стихийное возмущение против кровавых преступлений евреев было заранее задумано, запланировано. Вот так же задумывались Сталиным выборы в Верховный Совет — заранее собирались объективки, назначались депутаты, а потом уже планово шло стихийное выдвижение кандидатов, агитация за них, и наконец наступали всенародные Выборы. Вот так же назначались бурные митинги протеста, взрывы народного гнева и проявления братской дружбы, вот так же за много недель до праздничных парадов утверждались репортажи с Красной площади: «В эту минуту я гляжу на мчащиеся танки...» Вот так же назначалась всенародная любовь к вождю, заранее назначались тайные агенты заграницы, диверсанты, шпионы... Вот так же назначались тексты писем, которые матери деревянными голосами зачитывали перед микрофоном, обращаясь к своим сыновьям-солдатам...<sup>285</sup>

Прекрасно, убедительно, но совершенно то же самое, что в «Жизни и судьбе». Настолько то же самое, что создается ощущение узнавания или даже отгадки: в романе один из коллег говорит Штруму, сделавшему свое замечательное открытие: «Вы Вениамин Счастливый»; в повести завистливый кузен Ивана Григорьевича думает: «Вот Мандельштам отмечен особым везением, какой-то Вениамин Счастливый в биологической науке...» Я уже приводил цитату о евреях, готовых вести на убойные пункты собственных детей, если этого потребует счастье родины. Высказывание это звучит несколько странно в романном контексте —

---

<sup>285</sup> Все течет..., С. 26–27. Ср. в главе о Сталине: «Мертвая свобода стала главным актером в гигантской инсценировке, в театральном представлении невиданного объема... Этот театр был в характере Сталина. Этот театр был в характере государства без свободы. Поэтому государству и понадобился Сталин, осуществивший через свой характер характер государства» (С. 191–192)

речь там, по-видимому, идет об истреблении евреев гитлеровцами, при чем же тут счастье родины? Недоумение отчасти разрешается в повести, где после митинга, потребовавшего смертной казни для врачей убийц, коллега-еврей объясняет двоюродному брату Ивана Григорьевича: «Вы считаете, что мне, еврею, неприятно клеймить этих извергов? Наоборот, именно мне особенно омерзителен еврейский национализм. А если евреи, тяготея к Америке, становятся препятствием в движении к коммунизму, то мне не только себя, родной дочери не жалко»<sup>286</sup>. Это важно Гроссману, потому что в раздумьях двоюродного брата «афоризм» еврея повторяется: «Каково-то было профессору Марголину, который заявил, что не только врачей-убийц, но и собственных детей-жиденят он готов умертвить ради великого дела интернационализма»<sup>287</sup>. Можно предположить, что перед нами следы параллельной работы над двумя текстами.

Однако не в том дело, что эта еврейская полуглава мало что прибавляет к «Жизни и судьбе». Гораздо важнее то, что и точка зрения, и центр внимания, предмет освещения в ней не еврейские. Она, по сути, не об антисемитизме, а о том, как реагирует на антисемитизм русский советский интеллигент средней порядочности и средних способностей, и не только на антисемитизм, но на любую инспирированную государством кампанию массовой ненависти, как охотно принимает ее и пользуется ею в своих интересах, как пугается и страдает, когда приходится задуматься о собственной роли во всех этих кампаниях («Невыносимо брать на свою совесть многолетнюю покорную подлость»<sup>288</sup>). Спора нет, эта тема может быть вызвана к жизни еврейскими тревогами, еврейской судьбой, и в данном случае так оно и есть, но, сама по себе, тема не еврейская, а русская или, шире, советская.

Собственно еврейская тема и одновременно новый против «Жизни и судьбы» мотив представлены во вставной новелле о

---

<sup>286</sup> Там же, С. 23.

<sup>287</sup> Там же, С. 32.

<sup>288</sup> Там же.

Леве Меклере (глава 19)<sup>289</sup>. Лирическая по строю и по слогу, как и две другие вставные новеллы повести, она рассказывает о сыне печального и лукавого лавочника из местечка Фастов», которого революция довела сперва до кресла народного комиссара юстиции Украины, а затем провела по «всем кругам тюремного и лагерного ада». Добряк от природы, бескорыстный и самоотверженный до чудачества, он был готов на любую жестокость ради «грядущего мирового царства». «Он в своей революционной принципиальности посадил в тюрьму отца, дал против него показания на коллегии губчека. Он жестоко и хмуро отвернулся от сестры, просившей защиты для своего мужа — саботажника. Он в кротости своей был беспощаден к инакомыслящим». И вот революция, которая была его «матерью, нежной возлюбленной... солнцем... судьбой... посадила его в камеру Внутренней тюрьмы, выбила ему восемь зубов; стуча на него офицерскими сапогами, матерясь, обзывая его пархатым, требовала, чтобы он, сын, возлюбленный апостол ее, признал себя тайным отравителем ее, смертельным ее ненавистником». Он оказался в положении дворняги, от которой хозяин хочет избавиться, гонит ее, бьет, а она с прежним обожанием, кротостью, преданностью плетется за ним, «потрясенная его внезапной, необъяснимой жестокостью», не понимая, что в ненависти обожаемого хозяина «нет бессмысленности, а все действительно и разумно» — в точности по знаменитой формуле Гегеля, которую дворняга-Меклер впитал с первыми каплями марковского молока и которая услаждала всю его жизнь. Хозяину не остается ничего иного как прикончить неотвязную дворнягу, и она поддыхает, «так и не поняв простой вещи — хозяин покинул свой молодой дом хмеля и молитвы, переехал в дом гранита и стекла, и сельская дворняга стала ему нелепа, стала обузой, да не только обузой, стала вредна ему».

Откуда же в нем этот «могучий пламень» революционного, большевистского фанатизма, спрашивает Гроссман и отвечает не

---

<sup>289</sup> См. там же, С. 153–157; все дальнейшие цитаты — на этих страницах.

прямо, но вопросами на вопрос, неуверенными предположениями:

Кто вложил в него душу борца? Пример Желябова и Каляева, мудрость «Коммунистического манифеста», страдания жившей рядом с ним бедноты?

Или это тяжкое пламя, эти угли таились в тысячелетней бездне наследственности, готовые вспыхнуть в борьбе с солдатами римского цезаря, с кострами испанской инквизиции, в голодном исступлении талмуд-торы, в местечковой самообороне во время погрома?

Может быть, вековая цепь унижений, тоска вавилонского пленения, унижения гетто и нищета черты еврейской оседлости породили и выковали исступленную жажду, раскалившую душу большевика Льва Меклера?

Я не думаю, чтобы эту неуверенность следовало считать риторическим украшением. А если принять действительными обе причины, то Гроссман действительно не знает, какой отдать первенство. Зато совершенно ясно и достаточно важно другое: Меклер — вариант уже известного нам по раннему Гроссману образа, это Фактарович из «Четырех дней», вышедший живым из перипетий Гражданской войны, чтобы сгинуть в великих чистках второй половины 30-х годов. Я подробно писал о Фактаровиче (см. выше), читателю остается только сравнить и убедиться, что перед нами в точности тот же самый характер, тот же самый неистовый дух в той же самой немогущей плоти. Но теперь автор отдает себе отчет в том, сколько страшных дел натворил чахлый апостол революции, став хозяином жизни, сколько чужой плоти он умертвил — в прямом смысле слова; о восхищении или хотя бы уважении к его революционным добродетелям не может быть и речи.

За всем тем очевидно, что автору жалко дворнягу, жальче, чем Крымова в «Жизни и судьбе». Но совсем не потому, что Меклер еврей, единоплеменник. К историзму, о котором я говорил, стараясь объяснить отношение Гроссмана к фигурам «ленинцев»

в «Жизни и судьбе», прибавилась жалость, брезгливое сочувствие слабостям человеческой природы, и уж если, как мы видели, какого-то сочувствия заслуживают даже доносчики, то как отказать в нем чистому сердцем революционному безумцу, палачу и страдальцу в одном лице? В предыдущей, 18-й главе, чисто публицистической (новелла о Леве Меклере — это как бы иллюстрация к ней), Гроссман рассказывает о том, как в «хаосе, нелепице, безумии ложных обвинений уходило поколение Гражданской войны»<sup>290</sup>, и насчитывает в нем три разряда. Меклер принадлежал к первому — «разрушителям старого мира», о которых сказано: «Они разрушили старый мир и жаждали Нового, но сами не строили его. Сердца этих людей, заливших землю большой кровью, так много и страстно ненавидевших, были детски беззlobны, это были сердца фанатиков, может быть, безумцев. Они ненавидели ради любви»<sup>291</sup>. В этом, в общем для них всех, — их суть и естество; не в том, откуда и почему они вышли, но куда пришли. Их всех, вне зависимости от рода и племени, уравнила сперва ненависть, стихия разрушения и бесчеловечность («Всех их отличала энергия, воля и полная бесчеловечность»<sup>292</sup>), а потом смертная мука. Каждый из них мог бы повторить знаменитый бабелевский афоризм<sup>293</sup> из рассказа «Сын рабби»: «Мать в революции — эпизод», — и судить их, и жалеть, и защищать (если кому заблагорассудится) надо не как сыновей своих матерей, своей нации или расы, но как сынов, паладинов, юродивых Революции. Такова мысль Гроссмана.

И все-таки единственным живым и конкретным представителем этого сгинувшего поколения, всех трех его разрядов, он выбрал Льва Наумовича Меклера. Не русского, не грузина, не поляка — еврея.

---

<sup>290</sup> Там же, С. 152.

<sup>291</sup> Там же, С. 148.

<sup>292</sup> Там же, С. 149.

<sup>293</sup> Бабель, ук. соч., С. 146.

В целом же еврейский элемент играет в повести намного менее важную роль, чем в жизни и судьбе». Там, в романе, Гроссман высказал на этот счет все, что хотел и что мог высказать русский писатель еврейской судьбы. «Все течет...» так же полностью принадлежит русской литературе, как рассказ «Четыре дня» или диалогия «Степан Кольчугин».

\* \* \*

Гроссман продолжал работать до конца, до тех дней, пока рак и страдания не отняли у него последних сил. Борис Ямпольский рассказывает<sup>294</sup>, что осенью 1963 года Гроссман читал ему «грустный щемящий рассказ, впоследствии названный «Мама», и еще один — «протольно записанный рассказ о старой большевичке». Тема обоих — репрессии, сталинский террор; ни тот ни другой не увидели света. Николай Атаров в предисловии к посмертному сборнику, вышедшему в 1967 году, упоминает два рассказа, которых в сборнике нет, — «Сикстинская мадонна» и «Фосфор». Я не читал этих рассказов; возможно, они были напечатаны, но утверждать этого суверенностью я не могу, потому что просмотреть советскую периодику тех лет полностью мне не удалось. Между тем, как я уже говорил в самом начале своего очерка, полному запрещению Гроссман не подвергался: в 1962 году у него вышла книга рассказов и повестей под общим титулом «Старый учитель», это были сплошь перепечатки старых текстов, но время от времени прорывались в журналы и новые. Я признаюсь в своей недостаточной осведомленности, но еще больше — жалею о ней, потому что «Фосфор», например, как видно даже из нескольких строк атаровского пересказа, имеет прямейшее отношение к моему главному предмету, к еврейской теме. В этом рассказе продолжается история инженера Кругляка местечкового выхода начатая в «Цейлонском графите». Среди

---

<sup>294</sup> Ямпольский, ук. соч., С. 143–144.

всех друзей и приятелей молодости рассказчика он оказывается единственным неудачником, зато никому из них Бог не дал столько доброты, сколько ему. Всю свою жизнь он только и знал, что помогать другим, ближним и дальним, и даже из лагеря, куда он попал после войны, он ухитряется послать несколько слов утешения рассказчику, писателю, которого насмерть бьет критика (дело происходит в начале 50-х годов) и от которого в страхе отшатнулись все.

Но доброта — это ведь из «Жизни и судьбы»! Все, созданное после Главной книги, должно быть соизмерено с нею, любая иная оценка будет безмасштабна и, следовательно, произвольна. Попытаемся же под этим углом зрения взглянуть на посмертный сборник 1967 года.

Он назван «Добро вам» — по заголовку путевых заметок об Армении — и содержит, кроме этих заметок, 17 рассказов. Заметка от издательства на оборотной стороне титульного листа гласит: «Вошедшие в этот сборник рассказы замечательного писателя пока еще не приобрели столь широкой популярности, так как печатались главным образом лишь в литературных журналах». Отсюда следует, что все тексты уже публиковались ранее, в периодических или книжных изданиях. Кто составлял и редактировал сборник, т. е. отбирал тексты и «чистил», цензуровал их, — неизвестно.

Пять рассказов написаны до войны, из них два («Рассказик о счастье» и «Старый человек») до войны же и были напечатаны. Два фронтовых рассказа (На войне и «Старик») взяты из «Красной звезды» за 1942 год. Эти довоенные и военные публикации никакого интереса не представляют, это своего рода нейтральный балласт сборника.

Рассказ «Молодая и старая» (помечен 1938–1940 гг., впервые в журнале «Москва», 1964, № 9), по всей видимости, редакциям до войны и не предлагался, лежал в столе — слишком много в нем об арестах, со сдержанным осуждением, а кое-где — и с открытым, несдержанным. Правда, писался он в ту пору, когда

Ежова сменил Берия, признавались некоторые ошибки и излишества великих чисток, а кое-кто даже и выходил на свободу. Но писать, говорить об этом во всеуслышание не следовало. Что Гроссман и прежде не был глух и слеп, неудивительно: как ни зажмуривайся, как ни зажимай уши, страх никого не обходил. Важно, что он попытался написать о терроре, как только террор начал спадать. И может быть, не менее важно внимание Гроссмана к новым хозяевам, не только к их работе, на которой они самоотверженно сгорают (как в первой половине 30-х годов — вспомним «Счастье», «Жизнь Ильи Степановича»), но и к их быту, развлечениям, отдыху. Героиня рассказа — выдвиженка, бывшая колхозница, ставшая большим начальством в Москве. Она отдыхает в Крыму среди своих, таких же, как она, «ответственных работников». Из этой среды новой пролетарской знати, поднявшейся на крови уничтоженного поколения Гражданской войны, выйдет секретарь обкома Гетманов, едва ли не самый жуткий из вымышленных героев «Жизни и судьбы».

Теми же годами помечен рассказ «Лось» (впервые в журнале «Москва», 1963, №<sup>о</sup>1). Вместе с «Несколькими печальными днями» (1940–1963, впервые в журнале «Новый мир», 1963, № 12) и «Обвалом» (1963, впервые в журнале «Москва», 1966, № 5) он составляет трилогию, в которой на чисто бытовой, как будто ничем не связанной с вечными вопросами основе строится психологическая и философская коллизия высокого накала. Может быть потому, что центральным событием во всех трех выступает смерть, хоть и естественная, хоть и в преклонном возрасте. Мне эти рассказы представляются замечательными. Те, кто не знает «Жизни и судьбы», скажут: это лучшее, что написал Василий Гроссман. Но любой, умудренный и обогащенный чтением Главной книги и «комментария» к ней, согласится, что эти прекрасные страницы, скупые, угрюмые (по точному выражению Николая Атарова) и пронзительные, — лишь отблеск «Жизни и судьбы». «Бытовая» проза Юрия Трифонова, ставшая одним из



главных литературных событий 70-х годов, кажется вышедшей отсюда. Возможно, так оно и было, хотя бы отчасти.

Я не стану задерживаться на вещах, условно говоря, средних — любопытных по замыслу или (и) по исполнению, но подпорченных государственной идеологией («Авель (Шестое августа)», 1953, впервые в «Литературной Москве», сборник 1, 1956] или чрезмерной рассудностью («Тиргартен», 1953–1955, впервые в журнале «Наш современник», 1966, № 7), или еще большею наставительностью, притчевой дидактичностью («Осенняя буря», 1960 — 1961; «Птенцы», 1961, впервые в журнале «Москва», 1966, № 5). Я перейду сразу к тому, что, на мой взгляд, главное в сборнике, что всего теснее связано с «Жизнью и судьбой», с новым, преображенным Гроссманом, — к рассказу «Дорога» и очерку «Добро вам!»

Короткий рассказ «Дорога» (1961–1962, впервые в журнале «Новый мир», 1962, № 1) — это тоже своего рода притча, но особая — откровенно на манер и по образцу толстовского «Холстомера»: история итальянского мула на русских военных равнинах, а до того — на «абиссинских красных каменистых дорогах»<sup>295</sup>, а еще раньше — дома, в Сицилии. Чудовищность мира, где война, Третья мировая и ГУЛАГ, нацизм и коммунизм состязаются в палачестве и душегубстве, становится еще чудовищнее «отстранённая» взглядом невинной твари. Атаров прав, говоря, что «нежно-пристальное внимание Гроссмана к «меньшим братьям» — животным»<sup>296</sup> рождено отвращением к расизму, к фашизму, только надо добавить — и к победившему в одной стране социализму. Мул Джу из артиллерийского обоза — святой по сравнению с немилосердным человеком; это не от Гроссмана, это от Льва Толстого. От Гроссмана — разработка заданной темы, вариации, которых Толстой и представить себе не мог в «благополучном» XIX веке. Джу — животное, бессловесная тварь. Но обожествленное

---

<sup>295</sup> Гроссман, В. Добро вам!, Рассказы, Москва, Советский писатель, 1967, С. 20.

<sup>296</sup> Там же, С. 7.

государство, будь то гитлеровское, будь то сталинское, превратило в животных, лишило права на образ и подобие Божие, на дар слова миллионы людей, отправило их на бойню, на труд, неподъемный ни для лошади, ни для вола, ни для какого иного скота. Это — гроссмановское сравнение, оно упорно и многократно повторяется, и в первую очередь — когда он говорит о Катастрофе, о евреях перед оврагами и рвами, перед дверями газовых камер. «Нелепый труд, навязанный извне» быстро становится «привычным, а значит, законным», превращается «в естественность жизни»<sup>297</sup>. Это о муле, но это в первую очередь о тех, кто за колючей проволокой, в гетто, в лагерях смиряется со своей участью. «Начался падеж животных... Тела мулов оттащивали в сторону от дороги... люди были к ним безмерно равнодушны, а мулы, казалось, тоже не замечали своих мертвых... но это только казалось, — мулы видели своих мертвецов»<sup>298</sup>. И это — о тех же узниках, об их первых шагах к смерти, когда равнодушие палача естественно (снова естественность жизни!), а равнодушие жертвы — только кажущееся, за ним еще скрывается и страх за себя, и сочувствие к другому. Но вот равнодушие становится всеобъемлющим, всеильным, тотальным: «На него шло огромное равнодушное наступление. Колоссальный мир равнодушно наваливался на него... и Джу ответил на огромное равнодушное наступление, готовящееся уничтожить его, своим безмерным равнодушием». Он уже не ощущал «ни собственного тепла, ни удовольствия от пищи и покоя. Ему было безразлично, двигаться ли по обледенелой дороге... или стоять понуря голову... Он шагал рядом со стариком напарником... их безразличие друг к другу было так же огромно, как их безразличие к самим себе. Это равнодушие к себе было его последним восстанием». И когда начинается русское наступление, когда гибнут и напарник, и ездовой и Джу остается один — ничто не меняется: «Мул стоял

---

<sup>297</sup> Там же, С. 20.

<sup>298</sup> Там же, С. 21.

безразлично покорный и не ждал свершения судьбы, — новая судьба и старая судьба были ему одинаково безразличны»<sup>299</sup>.

Равнодушие — ответ на сверхмуку, сверхзверство, страшный ответ, мертвящий и мертвый, но, увы, самый частый, массовый. Можно быть уверенным, что, когда Гроссман это писал, он видел перед собой не мула, а замороженного вконец человека — лагерного доходягу, живой скелет на улице гетто, колонну военнопленных.

Попадает в плен и Джу и снова тянет обозную телегу, только теперь русскую, и снова бьет его ездовой, но сплошняк мирового равнодушия»<sup>300</sup> надламывается добротой — не человеческой, нет, но лошади-напарницы, такой же тощей и замученной, с такими же кровавыми ссадинами на шкуре.

Когда обоз остановился, и ездовой распряг их, и они вместе поели и попили воды из одного ведерка, лошадь подошла к мулу и положила голову на его шею, и ее шевелящиеся мягкие губы коснулись его уха, и он доверчиво посмотрел в печальные глаза колхозной лошаденки, и его дыхание смешалось с ее теплым, добрым дыханием. В этом добром теле проснулось то, что заснуло, ожило то, что давно умерло... Жизнь мула Джу и вологодская лошадиная судьба внятно им обоим передавалась теплом дыхания, усталостью глаз, и какая-то чудная прелесть была в этих, стоящих рядом доверчивых и ласковых существах среди военной равнины под серым зимним небом.

— А осел, мул-то, вроде обрусел, — рассмеялся один ездовой.

— Нет, глянь, они плачут оба, — сказал другой. И правда, они плакали.<sup>301</sup>

---

<sup>299</sup> Там же, С. 23–24.

<sup>300</sup> Там же, С. 27.

<sup>301</sup> Там же, С. 28.

Атаров думает, что «мул ошастливлен... любовью<sup>302</sup>, но мы-то знаем, что любовь здесь ни при чем, здесь иконниковская «бесмысленная доброта», которая неизмеримо выше любви. И плачут оба, каждый и над своей судьбой, и над судьбой другого, потому что вологодская колхозная лошаденка так же загнана, замучена и угнетена, как итальянский «фашистский» мул. Не в доброте ли друг к другу бедных и угнетенных спасение жизни и мира?

С этой сценой замечательно сопоставляется один эпизод из «Жизни и судьбы».

В разгар Сталинградской битвы два русских солдата прячутся в глубокой воронке от артиллерийского обстрела неслыханной силы. «Они лежали рядом — в старой и молодой голове жил желанный, милый свет, просьба о жизни. Этот свет, трогательная надежда были такими, какие горят во всех головах, во всех сердцах, не только человеческих, но и в самых простых сердцах зверей и птиц... Климов нащупал грубую рабочую руку старого ополченца и пожал ее, и ее ответное, доброе движение на миг утешило Климова...» Когда же обстрел прекращается, Климов видит, что рядом с ним лежит немец. Разведчик Климов не боялся немцев, он всегда умел опередить врага, выстрелить или ударить ножом на секунду раньше. «Но сейчас он растерялся, его поразило, что, оглушенный и ослепленный, он утешался, чувствуя немца рядом, что руку немца он спутал с поляковской рукой. Они смотрели друг на друга. Обоих придавила одна и та же сила, оба они были беспомощны бороться с этой силой, и казалось, она не защищала одного из них, а одинаково угрожала и одному и другому... Жизнь была ужасна, а в глубине их глаз мелькнуло унылое прозрение, что и после войны сила, загнавшая их в эту яму, вдавившая мордами в землю, будет жать не только побежденных»<sup>303</sup>. Все трое молча, не глядя друг на друга, не помогая друг другу, вылезают из воронки и расходятся.

---

<sup>302</sup> Там же, С. 6.

<sup>303</sup> Жизнь и судьба, С. 298–299.

Нет ли в слезах мула и лошаденки, сумевших, в отличие от людей, пожалеть и ободрить друг друга, того же «унылого прозрения»?

Очерк об Армении стал причиной последнего столкновения Гроссмана с властью, с государством. Вот рассказ Бориса Ямпольского<sup>304</sup>:

В последние годы жизни он написал «Записки пожилого человека» (путевые заметки по Армении), произведение, на мой взгляд, гениальное, из того класса, что «Путешествие в Арзрум». «Записки» были набраны и сверстаны в «Новом мире» и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. «Записки» пошли в разбор...

Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в «Новом мире» двумя-тремя абзацами.

— Вы это говорите как писатель и как еврей? — спросил он.

— Да, — сказал я, — там у вас были вещи поважнее и позначительнее, чем антисемитизм.

Он ничего не ответил, смолчал...

Через несколько лет после его смерти «Записки», скальпированные, кастрированные, были напечатаны в «Литературной Армении»... их прочитали гурманы, любители изящной словесности, фрондирующие интеллигенты.

Бывший ответственный секретарь «Нового мира» Борис Закс дает несколько иную версию<sup>305</sup>: цензура потребовала снять «страничку о еврейском народе», составлявшую параллель к рассуждениям о судьбах армян.

У меня нет возможности проверить ни ту, ни другую версию. Со временем я надеюсь, это выяснится, потому что гроссмановский очерк довольно широко ходил в самиздате. Что же до

---

<sup>304</sup> Ямпольский, ук. соч., С. 141–142.

<sup>305</sup> См. Закс, ук. соч., С. 361.

различий между журнальной («Литературная Армения», 1965, №№ 6 и 7) и книжной публикациями, то во второй сделаны — по сравнению с первой — две большие, по несколько страниц купюры. Обе — о «культе личности»: Сталин, его исполинская статуя над Ереваном (ее сорвали с пьедестала танками на следующий после поездки Гроссмана в Армению год), террор 30-х и 40-х годов, армяне в камерах ереванской тюрьмы и в лагерях за Полярным кругом и выжившие, вернувшиеся, сохранившие веру в людскую доброту. Понятно: в 1967 году брежневская «стабилизация» была уже в разгаре и говорить публично об изъянах героической сталинской эпохи более не рекомендовалось. Заодно выброшен рассказ о двух русских семьях, перебежавших из Турции в Советскую Армению. Поступок и патриотический, и трогательный (автор, Гроссман, заплакал, слушая этот рассказ), но, возможно, сама тема незаконного перехода границы показалась составителям и редакторам книги соблазнительной для советского читателя и потому неудобной. За всем тем в обеих купюрах нет ничего вызывающего, чрезмерно острого, особенно — по тем временам, когда Гроссман писал свои путевые заметки. Иначе говоря, писались они не в стол и не для потомства, а для печати, т. е. с оглядкой на цензуру и с учетом катастрофы, постигнувшей «Жизнь и судьбу». А стало быть, разумно предполагать, что и страничка о еврейском народе» не содержала ничего крамольного, безусловно запретного.

Имея все это в виду, но не располагая страничкой», способны ли мы ответить — или хоть попытаться ответить — на вопрос, почему Гроссман так упорно отказывался от каких бы то ни было купюр. Я думаю, что да. Этот очерк был завещанием Гроссмана<sup>306</sup>, а купировать собственное завещание было бы нелегко даже заядлому соцреалисту.

Очерк (буду называть его так, потому что неизвестно, какое название принадлежит самому автору; я читал его впервые

---

<sup>306</sup> На это же, хотя и смутно (возможно — умышленно смутно), намекает Николай Атаров в предисловии.

около двадцати лет назад, в самиздатовской машинописи, под заголовком «Баревдзес», т. е. армянское приветствие было использовано не в переводе, а в русской транслитерации) помечен годами 1962-1963. Пребывание Гроссмана в Армении относится к ноябрю-декабрю 1961 года. Очень скоро после ареста романа (напомню, это было в феврале 1961) стало ясно, что других репрессий можно не опасаться: время было самое либеральное за весь период хрущевского правления, в октябре 1961 состоялся 22-й съезд партии с новыми разоблачениями сталинизма, с выносом сталинской мумии из Мавзолея. В такую пору не только упрятать Гроссмана за решетку, но и запретить ему печататься было невозможно. Зато с деньгами было совсем плохо, хуже некуда. Десятилетняя работа пропала, что означало не только моральную катастрофу, но и финансовый крах. И Гроссман принимает предложение перевести по подстрочнику роман армянского писателя Рачия Кочар «Дети большого дома». (В очерке и автор назван по-другому, и содержание романа изменено.) Получив необъятный подстрочник в Москве, он уезжает работать в дом творчества Армянского союза писателей, и в 1962 году русский перевод «Детей большого дома» выходит в Ереване. Такая практика — за получение в переводчики с так называемых «национальных» языков известных русских писателей, по тем или иным причинам нуждающихся в заработке, — дело обычное.

Меньше всего пишет Гроссман о своей работе, хотя и именует себя «переводчиком». Но это самонаименование появляется в ироническом контексте, причем ирония направлена на автора. Такая самоирония появляется у Гроссмана впервые, он всегда относился к себе в высшей степени серьезно, но напоследок, оглядываясь на прожитое и проделанное, улыбается — с грустным сочувствием.

Он пишет обо всем самом важном, что было в его жизни и его книгах.

О народе, о «теле народа», которое является его взору не на помпезных площадях, а во внутренних дворах с пеленками,

нижним бельем и простынями, сохнувшими на веревках, на деревенских улицах, на крестьянской свадьбе.

О простых людях, которые совсем не просты, которые ему Милее и ближе, и дороже всех сильных мира сего, о малограмотном мужике, чья вера чище и пламеннее веры высокоумного католика.

Об универсальности, наднациональности этой веры «в добро и доброту», без которой этот мужик не может жить и ради которой пойдет без колебаний на любую муку:

Тут уж не было ни Армении, ни России, не было мыслей о национальном характере, а была душа человека, вот та, что тревожилась, мучилась, верила среди каменных осыпей и виноградников Палестины, та душа, что по-человечески хороша и в пензенской деревне, и под небом Индии, и в заполярной яранге — ведь хорошее всюду есть в людях, потому что они люди.<sup>307</sup>

О бедности<sup>308</sup>, своей и других, например, Мандельштама и Туманяна, о целомудренной, трогательной, отзывчивой бедности крестьян, о бедности, соединяющей щей слабых и удрученных и отделяющей их от хозяев жизни.

О Мандельштаме, о его поэзии и вообще о русской поэзии.

Об искусстве — много и подробно, защищая разноликие «миры живого образа и подобия», отвергая «мир фанеры, жести и папьемаше», создаваемые «расторопными официантами».

---

<sup>307</sup> Добро вам!, С. 259.

<sup>308</sup> Это один из тех мотивов у позднего Гроссмана, которые сближают его с Андреем Платоновым. О близости Гроссмана к Платонову хорошо написано у А. Бочарова, ук. соч., С. 262–269, 287. Необходимо отметить, однако, что истоки и этого мотива лежат в «Жизни и судьбе», в первую очередь - в образе телефонистки Кати из сталинградского дома «шесть дробь один»: см. «Жизнь и судьба», С. 159–160. Ср. также цитату о Даренском в Калмыцких степях, приведенную выше, на С. 159, чисто платоновскую даже по интонации.



Об отшельничестве нового времени, двадцатого века, о «бездне, что лежит между судьбой отшельника во имя тайной правды и судьбой проповедника и пророка этой правды».<sup>309</sup>

О том, «сколько горя причинил я людям, вероятно, больше, чем люди причинили мне?»<sup>310</sup>

О смерти — о гибели единственной и неповторимой «вселенной, живущей в душе создавшего ее человека»<sup>311</sup>, но своей, близкой уже смерти.

О народе-мученике, который рассеян по всему свету, но нигде и никогда не забывает своей земли и своих потерь: «Они плакали не потому, что сын женился и уходил от матери, они плакали потому, что неисчислимы потери, страдания, выпавшие на долю армян, потому, что нельзя не плакать о страшной гибели близких людей во время армянской резни, Потому, что нет в мире радости, которая могла бы заставить забыть народное страдание, забыть родную землю, лежащую по ту сторону Арарата»<sup>312</sup>. Это об армянах, о чужом народе.

И конечно, о своем народе-мученике, о евреях. Тем более и тем естественнее, что параллель между этими двумя народами-изгнанниками проводится сама собой и непосредственно ощущается обоими. Тем более, что перед глазами все время стоит Арарат, гора не только армянская, но и библейская, а стало быть — еврейская.

С внешнего сходства — с удивительного разнообразия внешнего облика у армян и у евреев — и с упоминания о тех, кто «писал Библию» и чьи глаза смотрели «на эту снежную, голубоватобелую, сияющую под солнцем гору»<sup>313</sup>, Гроссман и начинает. Но не история и, еще того менее, форма носа или разрез глаз заботят его. Его забота — это память об убитых и тревога за уцелевших.

---

<sup>309</sup> Добро вам!, С. 239.

<sup>310</sup> Там же, С. 237.

<sup>311</sup> Там же, С. 205.

<sup>312</sup> Там же, С. 261–262.

<sup>313</sup> Там же, С. 207.

Вот он думает об овце, с которой повстречался на улице поселка, об ее глазах. «Вот такими брезгливыми, отчужденными глазами смотрели бы обитатели гетто на своих гестаповских тюремщиков, если бы гетто существовало пять тысяч лет и каждый день на протяжении этих тысячелетий гестаповцы отбирали старух и детей для уничтожения в газовых камерах»<sup>314</sup>.

Вот он едет через Семеновский перевал, которым «в 1928 году проехал Максим Горький». Но Горький лишь упомянут, больше о нем ни слова (так упоминают в завещании постылого родственника, оставляя ему один франк, или один шекель, или один рубль, чтобы уязвить и унижить его) — дальше, в вызывающем контрасте к молчанию о Горьком, идет подробный рассказ о тете Рахили Семеновне, эвакуированной сюда во время войны из Одессы, о ее доброте, безропотности и приветливости, о том, что она рано овдовела, что один ее сын «был репрессирован в 1937 году и умер в тюрьме, не хотел сознаться, что отравлял колодцы», другой погиб на фронте, дочь покончила самоубийством, «а все ее родные, близкие, друзья, оставшиеся в Одессе, погибли страшной смертью в деревне Доманеевке, куда немцы вывезли на казнь девяносто тысяч одесских евреев»<sup>315</sup>.

Горе и доброта простой еврейки Рахили Семеновны и сами по себе неизмеримо больше, важнее славы великого пролетарского писателя. Но они умножаются уж и не знаю во сколько крат, когда Рахиль Семеновна возвышается до символа — до библейской Рахили: «Вот и старая эвакуированная женщина Рахиль Семеновна, спокойно ли, мирно ли спала она здесь, не плакала ли по ночам?.. Плачет Рахиль о детях своих и не хочет утешиться, потому что их нет...»<sup>316</sup>

---

<sup>314</sup> Там же, С. 216.

<sup>315</sup> Там же, С. 235–236.

<sup>316</sup> Там же, С. 240.

В первый и последний раз в своей жизни Гроссман цитирует Библию — это из «Книги пророка Иеремии»<sup>317</sup>, глава 31, стих 15. (Узнал ли простодушный, как правило, цензор цитату или, скорее, попался на удочку — приписал авторство Гроссману и все отнес на счет осиротевшей Рахили Семеновны, и только?) О чем же, о ком плачет новая Рахиль, вечная мать народа, «еврейская мама»? О тех, кто вышел дымом из труб нацистских крематориев, и о тех, кого унес ГУЛАГ, и о тех, кто сам лишил себя жизни, за-  
травленный насмерть, как упоминаемая во «Все течет...» женщина-фармацевт в разгар «дела врачей», как, может быть, и дочь Рахили Семеновны, — обо всех и повсюду погубленных детях своих. Вместе с нею, ее слезами плачет Василий Гроссман, русский писатель еврейской судьбы, он сливается с нею, он сам — Рахиль, плачущая о детях своих.

Но, пожалуй, самое основное сказано под конец, «под занавес», чтобы прозвучало особенно весомо и запомнилось надолго.

В глухой горной деревне за свадебным столом к автору обращается старый плотник:

Он говорил о евреях. Он говорил, что в немецком плену видел, как жандармы вылавливали евреев-военнопленных... Он говорил о своем сочувствии и любви к еврейским женщинам и детям, которые погибли в газовнях Освенцима. Он сказал, что читал мои военные статьи, где я описываю армян, и подумал, что вот об армянах написал человек, чей народ испытал много жестоких страданий. Ему хотелось, чтобы о евреях написал сын многострадального армянского народа. За это он и пьет стакан водки.

Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья всенародно заговорили о муках еврейского народа в период фашистского гитлеровского разгула, о лагерях смерти, где

---

<sup>317</sup> Почти наверняка, цитата вторичная, взята не из Ветхого Завета, а из Нового (Евангелие от Матфея, 2,18), где текст Иеремии приводится как «свидетельство от Писания» об избииении младенцев в Вифлееме. Ср. оба текста, ветхо- и новозаветный, в русском синодальном переводе.

немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, кланяюсь всем, кто торжественно, печально, в молчании слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали. Кланяюсь за горестное слово о погибших в глиняных рвах, газонях и земляных ямах, за тех живых, в чьи глаза бросали человеконенавистники слова презрения и ненависти: «Жалко, что Гитлер всех вас не прикончил».

До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мной в сельском клубе<sup>318</sup>.

Русский писатель еврейской судьбы хочет немногого. Чтобы не зажимали кричащий от боли рот, не прикидывались, будто прошлого не было, а нынешнее — радужно и безоблачно (ведь «человеконенавистники», «слова презрения и ненависти» относятся к сегодняшнему дню, не к гитлеровцам, а к добропорядочным советским людям — это ясно каждому, кто умеет читать по-русски). И чтобы мы не были одиноки, обособлены в нашем особом горе, и если не утешены, то хотя бы ободрены сочувствием и доброю других народов.

Но это немного было, а за немногими исключениями и остается опаснейшей крамолою, наглым бунтом в глазах не только тех, кто стоит у власти, но и так называемых «правых» инакомыслящих, т. е. русских националистов разных оттенков.

Все это совсем не значит, что Гроссман забывает о своей русскости или отказывается от нее. Одной — лишь умиленной любви полутора страничек о деревенской России<sup>319</sup>, о русских избах и русских печах довольно, чтобы в этом не оставалось ни малейших сомнений. Русский писатель, занесенный на окраину Империи, он славит и «неистребимое «русификаторство», но только — «вольное и доброе... совершаемое Пушкиным, Добролюбовым, Герценом, Некрасовым, Толстым, Короленко»<sup>320</sup>.

---

<sup>318</sup> Там же, С. 270.

<sup>319</sup> См. там же, С. 254–255.

<sup>320</sup> Там же, С. 212.

Повторяю: я не знаю, что я сколько вымарал из очерка об Армении цензор. Но хоть он и резал по живому, а все-таки живого не убил. Завещание Гроссмана, даже оскверненное цензорским карандашом, обняло и отразило всю его жизнь и судьбу. Жизнь, понятую с неукоснительной строгостью — как долг и служение. Судьбу, трагическую и высокую, которую он принял во всем ее трагизме и лишь мы, прочитавшие Главную книгу, способны увидеть во всей ее высоте. А читатели Гроссмана в его стране, даже те немногие, что помнят и любят его, — когда-то еще смогут они оценить величие и горечь заключительных строк его завещания?

Пусть обратятся в скелеты бессмертные горы, а человек пусть длится вечно.

Наверное, многое я сказал нескладно и не так. Все складное и нескладное я сказал любя.

Баревдзес — добро вам, армяне и не армяне!

\* \* \*

Виктор Шкловский в свое время объяснял, как сделан «Дон Кихот», Борис Эйхенбаум — как сделана «Шинель». Даже если принять их объяснения полностью, остается темным главное: почему Сервантес и Гоголь — великие писатели, что отличает их от хороших и посредственных?

Литературные достоинства, а равно и пороки ощутимы непосредственно, объяснимы весьма условно и относительно, но недоказуемы, и тут слова традиционные (пронзительность, широта дыхания, уравновешенность композиции или, с другого края, утомительные длинноты, убогость мысли, стесненное дыхание) так же неубедительны и необязательны, как новомодные, вроде оппозиции или системы и подсистемы.

Вот два отклика на «Жизнь и судьбу», оба принадлежат людям, всю жизнь занимающимся литературной критикой, оба подлинные, не выдуманные мною:

«Мне не нужно вас уверять, что я не поклонник Владимира Ильича, но, когда читал о смерти Ленина, я плакал. А после сцены в газовой камере не мог продолжать, бросил книгу, выбежал на улицу».

И:

«Да, все это благородно, возвышенно, морально безупречно, но мне не нужен эпигон Льва Толстого».

(Я вспоминаю моего покойного друга Андрея Николаевича Егунова, ленинградского филолога-классика, переводчика, прозаика, печатавшегося в конце 20-х годов под псевдонимом «Андрей Николев», сидевшего, с небольшими перерывами, с 1931 по 1956 год. Он говорил о «Реквиеме» Анны Ахматовой: «Мне это не нужно. Так писал Некрасов в XIX веке. В XX веке так писать нельзя».)

Я надеюсь, что читатели Гроссмана, всего Гроссмана, разделят мои (и многих других) чувства к нему. Вот и все, что можно и что стоит об этом сказать.

Но есть вещи менее субъективные, хотя в то же время менее литературные, о которых стоит поговорить подробнее.

Еще один знаменитый русский формалист, Юрий Тынянов, сформулировал тезис об обратной экспансии литературы в быт<sup>321</sup>. Он имел в виду следующее: в читательском восприятии биография писателя иногда сливается с его творчеством, с созданными им героями, и возникает «литературная личность» — своего рода миф Байрона, Пушкина, Лермонтова, который обычно далеко не совпадает с «подлинником» и живет собственной жизнью.

К этому я хотел бы добавить, что биография писателя, как подлинная, так и в особенности мифическая, часто приобретает художественную завершенность, сама становится как бы произведением искусства, в котором все оправдано и ничто не устранимо.

---

<sup>321</sup> В статье «О литературной эволюции», тезис 11. // Тынянов, Ю., Архаисты и новаторы, Ленинград, 1929, С. 44.

Житейское благополучие или счастливый конец в жизни Осипа Манделштама, восьмидесятилетний Пушкин, мирно умирающий в своей постели в окружении внуков и правнуков, оскорбляли бы, возможно, наше эстетическое чувство.

Если жизнь и судьба Василия Гроссмана обратятся в «миф», — а для этого есть все основания, — к галерее русских «литературных личностей» прибавится фигура редкой мощи и красоты. Осенью 1963 года Гроссман сказал Борису Ямпольскому: «Меня задушили в подворотне»<sup>322</sup>. Так чувствовал реальный человек, Василий Гроссман, из плоти и крови, и иначе и быть не могло. Но спустя двадцать лет страдания и отчаяние человека преобразились, говоря высоким слогом, в венец славы мученика, побежденный и раздавленный — в победителя. И в обратной перспективе совсем по-иному видятся и осмысляются и поведение, удивлявшее очевидцев своею наивностью, и некоторые особенности нрава, не всегда приятные все для тех же очевидцев.

В частности, его одинокая и совершенно безнадежная, безумная даже, борьба с властями за Главную книгу представляется сегодня не безумием, а подвигом, великим примером. Среди разрозненных и случайных заметок Василия Шукшина нашли запись: «Восславим тех, кто перестал врать»<sup>323</sup>, Гроссман не только перестал врать первым, он первым отказался от лживых и лицемерных «правил игры», от двуличия, двусмысленностей, хитрых намеков, оборонительных союзов с редакторами-единомышленниками и наступательных — против цензоров-врагов. Подвиг одинокого храбреца, «задушенного в подворотне», выше, чище, святее удачных солженицынских стратагем, подробно и с торжеством расписанных в «Теленке»<sup>324</sup>. Литературе мораль, возможно, и противопоказана, но литературной личности — нисколько.

---

<sup>322</sup> Ямпольский, ук. соч., С. 147.

<sup>323</sup> Шукшин, В., Вопросы к самому себе, М., Молодая гвардия, 1981, С. 251

<sup>324</sup> Имеется в виду «Бодался теленок с дубом» (*Примечание Ж. Х.*)

В «мифе» Гроссмана его еврейству будет принадлежать важнейшее место. Среди многого иного будущие «мифологи», вероятно, припомнят стих из Третьей книги Торы, из «Левита», где Господь заповедует Моисею: «...Не лгите...» (глава 19, стих 11), — и станут возводить к нему гроссмановскую жажду правды.

Я не хочу участвовать в мифотворчестве и не пойду так далеко. Я лучше напомним приведенный несколькими страницами выше разговор с Борисом Ямпольским. На упрек Ямпольского, что напрасно он не пожертвовал несколькими абзацами в очерке об Армении, Гроссман ответил: «Вы это говорите как писатель и как еврей?» Вот две его сущности, слитые неразрывно, как две ипостаси, и определяющие все — и на уровне быта, и на уровне литературы.

Русский писатель и еврей. Русский писатель еврейской судьбы.





## ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ<sup>1</sup>

**Н**азвание этой книги принадлежит мне только отчасти<sup>2</sup>. Когда первый из составивших ее очерков — о Бабеле — перевели на английский, редактор журнала «Комментарии» в Нью-Йорке изменил, не спросивши автора, заголовок: было — «Русско-еврейская литература и Исаак Бабель», стало — «Пример Исаака Бабеля». Мне понравилось это редакторское самоуправство, и следующий очерк — о Гроссмане — я уже сам назвал «Пример Василия Гроссмана».

Теперь, раздумывая над этим как бы и навязанным мне названием, я прихожу к заключению, что смысл его, пожалуй, глубже, чем мне показалось вначале.

Пример. Пример чего или (и?) пример кому?

Разумеется, в первую очередь, пример «чего» — пример принадлежности к единой, универсальной культуре еврейского народа в русскоязычном ее варианте или, напротив, непринадлежности к ней, несмотря на «еврейскую кровь» и самые лучшие, самые благородные чувства и намерения.

Мне представляется, что есть, по крайней мере, три необходимых условия такой принадлежности:

---

<sup>1</sup> Впервые: «ВЕК/Вестник еврейской культуры» (Рига) 1990, № 3 (6) и 4 (7). На номере журнала написано: «в искаленном виде». В то же время в журнальной версии помещено большое введение, включенное в эту публикацию — его конец четко отмечен в главе. Начиная отсюда текст набран на основании публикации в сборнике «Бабель и другие». Персональная творческая мастерская М., Щиголь, Киев, 1996., с учетом исправлений автора в томе. (*Примечание Ж. Х.*)

<sup>2</sup> Ссылка на название тогда еще будущей книги на иврите «Shlosha dugmaoth». (Три примера — Бабель, Эренбург, Гроссман). Hakibbutz Nameuchad. Тель-Авив, 1994. (*Примечание Ж. Х.*)

1) еврейское самосознание, полное и органическое ощущение себя евреем; 2) основательное знакомство с еврейской цивилизацией и органическая связь с ней (и, как результат, еврейская тематика); 3) социальная репрезентативность, т. е. способность и обязанность писателя выступать в качестве представителя общины в целом или существенной ее части. Если приложить эти три «мерки» к трем «героям» этой книги, окажется, что русско-еврейским писателем мы вправе считать только Исаака Бабеля.

Чуть подробнее о третьем условии.

Двойная культурная (цивилизационная) принадлежность значительной части русско-еврейской интеллигенции начала складываться задолго до Бабеля, еще во второй половине XIX века. Бабель осуществил, воплотил ее в новых условиях, в первое послереволюционное десятилетие, когда условия для этого были исключительно благоприятны, когда обе половины двуединства могли сосуществовать органически, не вступая в противоречие, ни, тем более, в противоборство. Такая ситуация была невозможна в императорской России и вновь становится невозможной после 1929-го, «года великого перелома». Опыт и жизненная практика Исаака Бабеля предвосхитили теорию Мордехая Менахема Каплана, изложенную в знаменитом труде «Иудаизм как цивилизация», который вышел в начале 30-х годов в Нью-Йорке, — теорию двойной цивилизации современного еврейства в диаспоре. (Впрочем, справедливости ради, надо заметить, что и в теории у американского раввина-реконструкциониста были российские предшественники, в их числе — русско-еврейский публицист Иосиф Бикерман со своей формулировкой 1910 года: «Не раздвоенность, а удвоенность».)

Но не только русско-еврейскую культурную элиту представлял Исаак Бабель: его творчество в своей совокупности, созданные им персонажи (и прежде всего — Лютов) — это, в плане социальном, рупор несравненно более значительной группы, а именно: в первую очередь, той еврейской молодежи, которая, подобно Лютову, надеялась обрести себя в революции, но с ужасом

обнаружила, что теряет себя, а затем — еще немного шире — всех тех, кому разрушение устоявшихся форм еврейского существования в старой России (от местечкового быта и благочестия до городского буржуазного благополучия и изощренной духовности или, напротив, грубой погруженности в неприглядную, а то и преступную повседневность) нанесло невосполнимый ущерб, внушило жестокую и безнадежную ностальгию. Еврейская социальная репрезентативность Бабеля не подлежит сомнению.

Репрезентативен, без сомнения, и Гроссман — несмотря на всю свою русскость. Но представляет он, в лучшем случае, «советских граждан еврейского происхождения», которые, волей или неволей, ушли из и от еврейства окончательно, бывших евреев (если можно так выразиться), пораженных «синдромом Туви-ма» до конца дней своих. При всем уважении к их позиции, к их стойкости, к их верности памяти мучеников, нельзя не видеть, что они — бывшие и к общине (не точнее ли сказать сегодня «к общности»?) евреев не принадлежат.

С Эренбургом дело обстоит сложнее — из-за множественности его «верностей». Можно предположить (следуя Анатолию Гольдбергу), что в 20-е годы какая-то часть российского еврейства на родине и в эмиграции «узнавала себя» в его мыслях, чувствах и словах. Но «еврей поневоле», каким он становится с начала 30-х годов, пусть ведущий свою линию неуклонно и мужественно, а временами и бесстрашно, уж во всяком случае общность евреев представлять не может, не должен и не имеет права. Как бы велико ни было число таких невольников своего еврейства, где бы они ни обретались — в Москве или в Нью-Йорке, в Ленинграде или в Париже, Кельне, Берлине или даже в Хайфе, они могут быть не более чем друзьями нам, но не братьями, они — другие, не мы.

И это приводит меня ко второй половине вопроса, поставленного в начале: пример (в смысле «поучение», «урок») — кому?

Да мне самому, в первую голову! И, надеюсь, любому из русских (или бывших русских) евреев! Постараюсь объясниться, несмотря на чересчур, быть может, субъективный или даже личный характер предстоящего объяснения.

Всю свою сознательную жизнь, уже долгую, уже начинающую клониться к упадку, я наблюдаю размыв и уход российского еврейства. Это только юдофобам кажется, что после Гитлера и Сталина нас все еще беспардонно много, но мы-то сами знаем, как мало нас осталось — евреев, не просто принимающих свою еврейскую судьбу, но не согласных променять ее ни на какую иную. После Шестидневной войны казалось какое-то время, что началось понятное движение, которые самые восторженные среди нас поспешили торжественно наречь национальным возрождением. Да, правда: около 300 000 вырвалось из Советского Союза. Но не будем лгать хотя бы самим себе: какая доля из этих 300 000 уехала, чтобы спокойно, естественно, органически, без страха и без истерического надрыва, говорить в любой ситуации: я — еврей? И какая — просто бежала от советской власти, советского образа жизни, советских порядков, одинаково ненавистных едва ли не всем, кто там родился и вырос? Бежала, чтобы, наконец-то, забыть о своем постылом еврействе, стать американцами, канадцами, австралийцами как можно скорее, как только будет выплачен последний доллар помощи от общины, которая за них поручилась и приняла их? А мучительно тоскующие по родине, по родному языку и даже по родным порядкам (так недавно еще столь ненавистным!) и неспособные найти ничего отрадного в еврейской жизни американского ли образца, канадского ли, австралийского ли, не говоря уже об образце израильском! А выкресты, отступники — отдаем ли мы себе отчет в том, что отступничество, крещение в православие превращается в эпидемическую моду среди евреев-«интеллектуалов», и не только «дома», но и в эмиграции? Дай сегодня начальство российскому еврею подлинную волю, исчезни, по мановению того

же благодетельного начальства, антисемитизм — какое повальное пойдет дезертирство, даже страшно себе представить!

Не дезертируют только те, кто укоренен в традиции, а это значит — по преимуществу верующие, «хранители заповедей». А мы, неверующие, — что убеждает нас?

Я не даю ни советов, ни рецептов, я только раздумываю над примерами, стараюсь извлечь урок. И вот я вижу: соблазн чужого слишком велик, оно, чужое, одолевает и вытесняет свое, тем более когда своего толком не знаешь и — особенно! — не чувствуешь. Так было с Эренбургом. Гроссман вообще не знал и никогда не узнал своего, к еврейству его вернула (скорее — повернула) беда, всеобщая и собственная, а удерживали сила и редкостное упорство духа, каких, очевидно, не было у Эренбурга. Но ведь нет их и у нас, у подавляющего, я бы сказал, гигантского большинства. Бабель был естественным, без малейшего насилия над собой, хранителем традиции. Неверующего, его тянуло в синагогу по осенним праздникам. Мне кажется — не к Богу, а к евреям: к их языку и жестикуляции, к черно-белым талитам, шелесту молитвенников ... Точно так же, как тянуло его в еврейскую Одессу.

Я не понимаю молитв и с трудом читаю даже кадиш. В какой-то иерусалимской иешиве один ревностный баал-тшува родом из Кишинева кидался на меня, как безумный, кричал, что еврей без Торы — в тысячу раз хуже гоя, да что там гоя — хуже барана! Но я смею надеяться, что он заблуждался: моя Тора, пусть и не на иврите, всегда со мной. И я радуюсь, если попадаю в хасидский штибл, хотя случается, что кое-кто из хасидов посматривает на меня косо. Они говорят на идиш, они повторяют слова и телодвижения моего деда, и прадеда, и пра-пра-пра... И они мне роднее, чем элегантные дамы и господа в элегантном коммьюнити-центр на элегантной парти по случаю бар-мицва.

Январь 1988

## ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

**Я** давно хотел написать об Эренбурге и давно отказался от этого намерения. Объяснять свое желание, наверное, излишне: даже бесчисленные враги Эренбурга не станут спорить, что он одна из самых интересных фигур в российско-советской литературной жизни за первые полвека ее существования. А вот о причине отказа позволю себе несколько слов.

Он был необыкновенно плодовит, и о некоторых его текстах в высокой степени важных тем «Эренбург-еврей» и «Эренбург и русско-еврейская литература», я знаю только понаслышке, в лучшем случае — из вторых рук, по пересказам и цитатам. А с другой стороны, мне было известно, что Эренбургом на Западе занимаются, по крайней мере, два серьезных исследователя, оба неравнодушные к названным выше темам и оба располагающие намного более богатыми материалами, нежели то, что удалось собрать мне. Один из них — Анатолий Гольдберг, блистательный журналист и радиокomentатор Би-би-си, чье имя в шестидесятые годы (мое последнее десятилетие в Советском Союзе) было родным чуть ли не во всякой интеллигентной семье, жадно ловившей передачи из Лондона. Я знал о его работе от него самого. Книга его вышла в 1984 г., к сожалению — посмертно (Анатолий Максимович скончался в 1982 г.). В Париже над Эренбургом работала и продолжает работать Эва Берар-Заржицка: статьи, которые она печатает, очень интересны и, я надеюсь, также выльются в монографию. В этих обстоятельствах мне казалось излишним и даже неразумным «вступать в игру».

Если я приступаю сейчас к этому очерку, то лишь по одному соображению, никак не отменяющему изложенных выше: об этом просили друзья и сотрудники в Израиле.

С благодарностью откликаясь на эту просьбу, я прошу израильского читателя помнить о моем чистосердечном признании. Я смею все же верить, что при известной «вторичности» моего рассказа читатель найдет в нем и сведения из первых рук, и соображения, никому, кроме автора этих строк, не принадлежащие.

[КОНЕЦ ЖУРНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ]



## ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

**К**то бы и как бы ни судил об Эренбурге, одно остается неизменным, а именно — страстность суждений.

Лет десять назад в библиотеку Женевского университета, где я преподаю, поступило по завещанию небольшое собрание книг и периодики, принадлежавшее эмигрантской семье, угасшей с кончиною последнего ее члена. То были эмигранты «первой волны» времен революции и гражданских смут. Среди книг был роман Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова», выпущенный издательством «Геликон» в Берлине в 1923 году. На первой странице бумажной обложки сверху значится имя автора. А под именем чернильным карандашом жирно и разборчиво выведено: «гнусный жид». (Я даже подумывал: не назвать ли мне так свой очерк?) Вот отзыв, живейший отклик неизвестного читателя шестидесятилетней давности — не на роман, на писателя. И та же живость ненависти шестьдесят лет спустя, будь то в эмиграции, будь в России, наконец-то — с Горбачевым и его гласностью — разлепившей уста. Ненависти критиков и публицистов (другой я не могу наблюдать), ненависти специфической, юдофобской и общей, глобальной. Ненависти тонкой, умной, эрудированной и примитивной, безграмотной. Примеров — тьма. Вот два последних из того, что попало мне на глаза: «...агент-provokator всеильной власти...» (это из парижского, эмигрантского «Континента», 1988, № 55), «...меня глубоко возмущает... рассуждение Ильи Эренбурга в его известных мемуарах... Такое мировосприятие непростительно ни для литератора, ни для настоящего интеллигента...» (а это из советского, московского «Нашего современника», 1988, № 4). Без непристойной непосредственности читательского выкрика на обложке «Николая

Курбова», но чувство — то же: ярость, направленная не против текста или текстов, но против человека, который их создал.

Не остались в стороне и мы, евреи. Вот уже тридцать лет иные из нас повторяют слухи (скажу сразу, совершенно безосновательные), будто Эренбург повинен в разгроме еврейской культуры в СССР в 1949–1953 гг. и в истреблении самых видных ее деятелей — тех, с кем он сотрудничал в годы войны в Еврейском антифашистском комитете.

Но страсть выступает и под обратным знаком — под знаком ослепляющей любви, нерассуждающей признательности и даже поклонения. В таком примерно духе пишут о нем не только некоторые новые израильтяне, недавние выходцы из России, но и какая-то часть постаревших либералов 50-х—60-х годов, детей первой послесталинской «оттепели» (не забудем, что и понятие это, и слово это введено во всемирное обращение Эренбургом!), вновь «оттаявших» при Горбачеве. Я хочу процитировать — но не восторженных поклонников (восторги редко бывают интересны), а скорее здравомыслящих и даже циничных. В книге Анатолия Гольдберга об Эренбурге приведено письмо, полученное из Израиля. Автор (по всей очевидности, новый репатриант) пишет: «Всякий раз, как во время антикосмополитской кампании появлялась статья Эренбурга, мы чувствовали, что дела обстоят еще не так скверно. Позже мы с большим удовольствием прочитали его роман «Девятый вал»: не то чтобы мы не видели, что это пакость, прекрасно видели! — важно было, что книги Эренбурга продолжают выходить. А в 1952 году, худшем из всех, когда уже и дышать было нечем, Эренбург получил Сталинскую премию мира — и это было для нас огромной моральной поддержкой». И в той же книге — слова Евгения Евтушенко, произнесенные в Лондоне, в частной беседе: «Илья Эренбург? Он всех нас научил искусству выживать». Но главный мой козырь — суждение Надежды Мандельштам в начале «Второй книги». Наверняка нет смысла напоминать, каким замечательным человеком она была и какие замечательные мемуары

оставила, но не секрет и то, как часто она была нетерпима и жестокому несправедлива к окружавшим, как много неоправданно злых слов в ее двух книгах. Так вот, Надежда Мандельштам — об Илье Эренбурге:

Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей. «Люди, годы, жизнь», в сущности, единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом мелкая техническая интеллигенция, по этой книге впервые узнали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе — хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное.

И опять-таки, как видим, почти все о личности, о роли, которую эта личность сыграла в жизни (не правильнее ли сказать «в выживании»?) российского еврейства, писателей, интеллигенции.

Личность, извивы судьбы Эренбурга, его авторитет, внимание, которое он к себе приковывал, действительно уникальны. (И я подумывал: не соединить ли несовместимое, не назвать ли мой очерк «„Гнусный жид“ или „белая ворона“?») Сюжет захватывающий, на редкость интересный, но — не мой. Как в случае с Бабелем и Гроссманом, я спрашиваю себя: входит ли писатель Илья Эренбург в рамки русско-еврейской литературы или нет? И почему «да» или почему «нет»? На эти два вопроса я и пытаюсь ответить. Такая попытка, однако, заведомо обречена на провал, если не отречься от страсти, порыва осуждать или оправдывать,

неизбежных, коль скоро речь заходит об Эренбурге. И так — отрекаюсь, хотя — видит Бог! — хранить хладнокровие будет нелегко.

Начнем по старинке, с биографии: так или иначе, а без нее не обойтись.

Илья Григорьевич Эренбург родился 27 января 1891-го в Киеве. Школьные годы его прошли в Москве, где — пятнадцатилетним мальчишкой — он начал заниматься революционной работой, чуть позже вступил в большевистскую партийную организацию, был исключен из гимназии и, наконец, в 1908 г. арестован. В том же году, выпущенный из тюрьмы под залог, эмигрировал, оказался в Париже и провел в эмиграции восемь с лишним лет. В Париже отошел не только от большевиков, но и от политики вообще. К этому времени относятся и его литературные дебюты: начинал он как поэт. Во время Первой мировой войны был военным корреспондентом двух русских газет: это был дебют Эренбурга-журналиста. Летом 1917-го, т. е. после Февральской революции, вместе со многими иными политическими эмигрантами вернулся в Россию. Около года он прожил в Москве (где и встретил большевистскую Октябрьскую революцию), потом — два года на юге, дольше всего в Киеве и в Крыму (в Коктебеле), при разных властях и режимах, и еще до бегства белой (Добровольческой) армии из Крыма вернулся через независимую тогда Грузию в красную Москву. Сотрудничество с советской властью и участие в строительстве новой, пролетарской культуры продолжалось, однако, не больше полугода: в марте 1921 г. Эренбург получил разрешение уехать за границу. В одной из ранних своих биографий он назвал это «художественной командировкой», но как бы этот отъезд ни назывался, он был для тех времен редчайшим исключением: нэп, а с ним и сравнительный либерализм новой власти еще не начинались. Предполагается, что исключительная снисходительность властей была результатом заступничества Николая Бухарина, любимца Ленина, или «любимца партии», как называл его сам Ленин: с

Бухариным Эренбург был знаком по своей эмигрантско-революционной юности.

«Художественная командировка» растянулась на двадцать лет: Эренбург возвратился окончательно в Москву только после того, как немцы заняли Париж в июне 1940-го. Сам он никогда не соглашался считать эти годы эмигрантскими — вопреки обвинениям многих ревнителей чистоты пролетарской идеологии (да и русского патриотизма — во времена более к нам близкие, вплоть до сегодняшнего дня, пожалуй). Формально он совершенно прав. Он сохранял свое советское гражданство и советский паспорт, часто бывал в Советском Союзе, никогда не выступал против советского режима, регулярно печатался на Родине. Но нельзя упускать одного обстоятельства, не совсем понятного, или даже совсем непонятного вне рамок советского образа жизни. Французский писатель, постоянно обитающий в Соединенных Штатах (например, Маргерит Юрсенар), или американский писатель, обосновавшийся в Европе (например, Джеймс Болдуин), дело совершенно обычное. Советский же писатель, проживающий за границей годами и десятилетиями, исключение уже не редчайшее, но единственное («белая ворона!»). Как она возникла, эта уникальная ситуация, мы не знаем и гадать не станем, но уникальность ее ощущалась всеми современниками. Я бы решился окрестить ее «высочайше одобренной эмиграцией».

Первые три года ее Эренбург провел в Германии, в Берлине, который был тогда центром — и политическим, но прежде всего культурным — доподлинной русской эмиграции (в результате революции и Гражданской войны из России бежало и рассеялось по разным странам около двух миллионов человек). Летом 1924 г. он вернулся в Париж, по всей видимости — самый дорогой для него город в мире: в 1921-м его изгнали из Франции, аннулировали визу, которую он получил во французском консульстве в Риге (то был первый город, где он остановился, пересекши советскую границу), и Анатолий Гольдберг не просто остроумно,

но глубоко верно по сути замечает, что в Берлине Эренбург был не беженцем из России, а изгнанником из Парижа.

С тех пор и до своего возвращения в Москву в 1940 г. Париж был его домом, откуда он разъезжал по всей Европе и забирался даже в Турцию. В пору «второй эмиграции» написаны лучшие, или, по крайней мере, воздерживаясь от оценок, наиболее интересные его книги. В 1932 г. он становится парижским корреспондентом одной из двух главных советских газет — «Известий», и в этом именно качестве «освещает» гражданскую войну в Испании на всем ее протяжении (1936–1939 гг.). Естественно, что в этот «испанский период» львиную долю его литературной продукции составляет журналистика.

Напротив, в Москве его высокая продуктивность публициста оказалась ненужной: ненависть к фашизму и национал-социализму, которую он с величайшим жаром исповедовал в испанских репортажах, и еще задолго до них, после сговора Сталина с Гитлером не могла найти себе места на страницах советских газет. Эренбург пишет роман о разгроме Франции, в первой части которого, посвященной предвоенным годам, немцы даже не упоминаются, и все же публикация проходит с трудом с цензурными купюрами. Он чувствовал, что впадает в опалу, не знал, как работать дальше. Из затруднения (чтобы не сказать — из отчаяния) его вывел типично советский сказочный «ход» — звонок Сталина. (Вспомните звонок Сталина Штруму в романе Гроссмана!) Сталин сказал, что прочитал первую часть романа, прочитал с удовольствием, спросил, намерен ли Эренбург писать о немцах во Франции. Эренбург отвечал, что да, но поделился своими страхами, что напечатать это будет невозможно, и Сталин ободрил его: совместными усилиями они, может быть, преодолеют редакторские и цензурные преграды. Покровительство или даже любовь Сталина-Сатаны, нашедшие свое высшее выражение в этом звонке, часто вменяют Эренбургу в преступление его хулители. По-моему, это несправедливо. Почему не уличают в том же преступлении Бориса Пастернака? Сатана, как и Бог в учении

Лютера, делает свой выбор по собственному произволу, а не по заслугам избранных. Если и не всегда, то достаточно часто.

Но еще до того, как роман — полностью — вышел и был увенчан Сталинской премией, романист опять превратился в журналиста. 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на сталинскую Россию, и все четыре года войны Эренбург непрерывно и чрезвычайно обильно сотрудничает в главных советских газетах (среди них — и «Красная звезда», где печатался Василий Гроссман) и в зарубежной печати. Его имя приобретает исключительную популярность. Анатолий Гольдберг свидетельствует: «За много тысяч километров от Москвы люди плакали, слушая его слова». Но слава за границей — ничто по сравнению с тем ореолом, который окружал имя Эренбурга в России и в тылу, но прежде всего, на фронте. Пропагандист невероятной силы и эффективности, он внушал волю к сопротивлению, но прежде всего ненависть к немцу, потому что, как он объяснял, война без ненависти безнравственна. «Убей немца!» — этот призыв, такой примитивный и такой безотказно действенный, придумал Эренбург. Им, однако, сумели воспользоваться и немцы — для контрпропаганды, когда война пришла в Германию: среди солдат и гражданского населения распространялись листовки, в которых говорилось, что еврей Эренбург призывает русских солдат истребить всю германскую нацию, убивать детей и насиловать женщин... Эренбург был в руководстве Еврейского антифашистского комитета с самого начала его существования (правда, и вышел из него своевременно — до убийства Михоэлса). О его работе над «Черной книгой» я рассказал в очерке о Гроссмане.

Террор послевоенных лет, последних лет сталинского царствования, Эренбурга не коснулся, хотя были для того все основания: еврей, неисправимый обожатель западной культуры, иными словами, отъявленный космополит, прожил на Западе полжизни, иными словами, несомненно шпион. Его и пытались уничтожить, уже распространялись вести, что он арестован, но он пожаловался Сталину — и все уладилось, даже последовало

наказание виновных. Разумеется, он был нужен — ведь не только толстые (и, по собственному признанию, скверные) романы писал он после войны, но и пламенные антиамериканские памфлеты. И не только писал — действовал: возглавлял и направлял с советской стороны Всемирное движение за мир (это название будет вполне соответствовать истине, если уточнить, за какой мир — *Rax Sovietica*). Заменить его в этой роли было бы некем. Решительно он был «ценный космополит», «ценный еврей» (*wertvoller Jude* в терминах гитлеризма, брата-близнеца сталинизма). Я не сомневаюсь, что он отдавал себе отчет в той роли, которая ему предназначалась и которую он принимал, равно как и в том, что он дьявольски страдал, исполняя ее. Почему же тем не менее он ее исполнял? Категоричного, однозначного ответа я не знаю, но, во всяком случае, я не могу согласиться с теми, кто уверен, будто Эренбург подчинялся лишь зову самосохранения, элементарному желанию выжить. Такое самодовольное толкование напоминает мне обмен репликами в одной повести великого русского сатирика нашего века Михаила Зощенко: «— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?.. — Жрать хочет, оттого и поет». Я вполне согласен со своей матерью, Эстер Маркиш, которая в своих мемуарах говорит, что еврей Эренбург был ширмой, которую Сталин выставлял, заслоняя от взглядов Запада антисемитский разгул в Советской империи. Я полагаю, с этим согласятся если и не все, то большинство из тех российских евреев, которые, как и я, были свидетелями и невольными участниками тогдашних событий. Но не только ширмой он был, он был и щитом, или, по крайней мере, казался таковым — и другим (вспомните письмо Гольдбергу из Израиля, которое я цитировал чуть выше), и, вне всякого сомнения, самому себе. Рискну укором в кощунстве, но все же напомним знаменитые слова из 40-й главы «Исайи»: «Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог Ваш». Искра надежды, пусть эфемерной, пусть начисто пустой, помогала и помогла пройти сквозь мрак отчаяния.



С этой двойною ролью ширмы-щита связан один из самых тяжелых эпизодов в жизни Ильи Эренбурга, один из самых отчаянных его шагов (а быть может, и попросту — самый тяжкий). Через несколько дней после того, как во всех газетах появилось сообщение о разоблачении заговора врачей-убийц (13 января 1953 г.), было составлено — от имени знаменитых евреев — письмо, требующее самого сурового наказания «убийцам», но не признающее ответственности всего еврейского народа за их злодеяния. Ни точное содержание письма, ни его автор (или авторы) не известны, по крайней мере — пока. Можно только предполагать, что оно было составлено в редакции «Правды». Неизвестен также полный список тех, кому надлежало его подписать. Но некоторые имена известны. Был среди подписавших и Василий Гроссман — об этом рассказано в мемуарах его друга — поэта Семена Липкина (я ссылаясь на них неоднократно в очерке о Гроссмане). Обратились, разумеется, и к Эренбургу. Как именно это произошло — осталось несколько устных версий, и все они, вне всякого сомнения, исходят от самого Эренбурга. В частности, он рассказывал об этом моей матери летом 1954, т. е. по совсем еще свежим следам событий. (Рассказ Эренбурга в том виде, как он запомнился моей матери, приведен в ее воспоминаниях.) Я не стану задерживаться на различиях между версиями, потому что в основном они совпадают: Эренбург отказался подписать и сам обратился с письмом к Сталину. Текст его письма опубликован в приложениях к книге Гольдберга по-английски.

Как бы чудовищно ни звучали сегодня аргументы и положения этого письма, как бы ни противоречило требование полной ассимиляции позиции автора на протяжении всей его жизни (об этом — ниже), как ни страшна готовность присоединиться к любому мнению «дорогого Иосифа Виссарионовича», — факт остается фактом: манифеста верноподданных евреев Эренбург не подписал. Не подписал даже после того, как Сталин ему не ответил, а главный редактор «Правды» показал поправки, сделанные рукой самого Сталина в тексте «манифеста». Иначе

говоря, Эренбург не сдержал своего слова — отказался присоединиться к мнению вождя. Наказанием за такую строптивость могло быть только одно — арест и гибель. И Эренбург ждал ареста. Но ареста не последовало. Как не последовало и публикации еврейского письма в «Правде».

Мне хочется верить, и я верю, что не соображения чести и собственного достоинства руководили Эренбургом в эти страшные для него и для всех нас дни, или, по крайней мере, не столько эти соображения, сколько сознание обязанностей, возложенных на него ролью щита.

Сразу вслед за тем Сталин умер (5 марта 1953 г.), и началась новая эра — и для Советской империи, и для писателя Ильи Эренбурга. Ему оставалось жить еще целых тринадцать с половиной лет, и при его неординарной производительности и трудоспособности он успел написать очень много. Однако из всего написанного только одно название принадлежит художественной прозе — повесть «Оттепель» (первая часть опубликована в 1954 г., вторая — в 1956-м). Это небольшое произведение, кажущееся сегодня (да, впрочем, и тогда казавшееся) весьма далеким от вершин искусства, было истинным началом десталинизации на уровне идеологии, или, точнее, открытого печатного слова. И недаром так ожесточенно нападали на эту повесть и в момент ее появления, и много позже самые разные противники — от твердокаменных обожателей Сталина до самого Никиты Хрущева, в котором ненависть к Сатане XX века смешивалась с невольным поклонением ему. Но вот что сегодня, летом 1988-го, в разгар «перестройки», пишет об «Оттепели» московский публицист в московской газете:

Наверное, ни одна из многих так будоражащих нас сегодня книг, только что ставших достоянием общественной жизни, по силе своего воздействия все же не может сравниться с тогдашней реакцией на «Оттепель». Это было больше, чем книга. Это была приоткрытая дверь в новый мир, от которого общество, замученное десятилетиями

правления «величайшего вождя и учителя», было решительно отгорожено.

Но книги, которые будоражат их сегодня, — настоящий динамит, взрывающий советский замшелый образ мыслей, тут и «Собачье сердце» Булгакова, и «Чевенгур» Платонова, и «Реквием» Ахматовой, и «Мы» Замятина, и «Московская улица» Бориса Ямпольского, и в первую очередь «Жизнь и судьба» Гроссмана!.. (Я уж и не говорю о «1984» Джорджа Оруэлла). Не могу себе представить ничего выше этой сегодняшней похвалы Эренбургу как зачинателю духовного пробуждения, раскрепощения постсталинской России.

«Оттепель» стала последней беллетристической вещью Эренбурга. Стихи он изредка писал еще и впоследствии, но практически все свое творческое время и энергию он отдавал очеркам о литературе и искусстве России и других стран, а примерно с 1959 или 1960 г. — монументальным мемуарам «Люди, годы, жизнь», над которыми работал до самой смерти; это им дает такую исключительную оценку Надежда Мандельштам, чьи слова я привожу в начале моего очерка. Я хочу присоединиться к этому суждению — и как бывший россиянин, и в особенности как русский еврей. Я уверен, что подлинная биография писателя — это то, что он написал, поведал современникам и оставил потомкам, и в понимаемой таким образом биографии Эренбурга-еврея (что отнюдь не обязательно совпадает с еврейским писателем!) воспоминания «Люди, годы, жизнь» занимают первостепенной важности место.

Шестую часть, увидевшей свет в 1965 г., мемуары Эренбурга не заканчивались. Он продолжал работать над ними, как уже упомянуто было выше, почти до самой своей кончины. Но напечатать эту седьмую часть удалось лишь двадцать лет спустя — летом 1987-го (в московском еженедельнике «Огонек», превратившемся благодаря горбачевской «перестройке» из самого консервативного, сталинистского и черносотенно-юдофобского

журнала в самый либеральный, в своего рода передовой дозор «гласности», т. е. свободы слова и мнений, права и обязанности говорить правду). Читая этот текст, легко понять, почему он остался в архиве писателя: темы все больше запретные, частью табуированные брежневской «стабильностью» (например, Сталин, репрессии), частью же — абсолютные табу, не проходившие и в хрущевские времена (вроде нищеты в «стране победившего социализма»). К этим последним принадлежит и советский антисемитизм. Ему посвящена особая глава (которая, заметим кстати, была существенно купирована цензурой и в «огоньковской» публикации 1987 года, показывая «городу и миру» тогдашние границы советской гласности), весьма любопытная и сама по себе, и как часть биографического фона для моего очерка; в предыдущих изданиях — по-русски и на иврите — я включал ее в свой текст целиком; теперь, в 1995-м, в этом нет больше надобности — мемуары Эренбурга в их полном и неискаленном виде вполне доступны заинтересованному читателю.

Возвращаясь назад, следует заметить, что гнев Хрущева из-за «Оттепели» был мимолетен: Эренбург продолжал принадлежать к высшему слою советского литературного истеблишмента, представлять советскую культуру в различных международных организациях и на международных встречах. Он скончался 31 августа 1967 г., увенчанный не только любовью либеральной интеллигенции, но и казенными почестями, последней из которых было погребение на Новодевичьем кладбище в Москве, по престижности уступающем лишь нише для урны в Кремлевской стене.

Такова «бурная жизнь» Ильи Эренбурга — если чуть перефразировать название его романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца», романа, который вышел в Париже в 1928 г., в СССР никогда не печатался и многими считается главным еврейским сочинением Эренбурга, еврейским романом. Наша задача — проверить (в числе нескольких иных) и это суждение.

Говорить о том, что Эренбург всегда был «сознательным евреем», т. е. помнил о народе, из которого вышел, и никогда не

отрекался от него, — значит, ломиться в открытые двери. И не только потому, что он бесчисленно заявлял об этом впрямую, печатно и изустно (на собраниях и по радио). Все его творчество во всех жанрах и формах полно еврейских элементов — образов, изречений, анекдотов, намеков, подробных рассуждений и беглых упоминаний. С трудом находишь книгу, таких элементов начисто лишенную. А поскольку книг очень много, да плюс к тому еще масса рассказов, очерков, статей, выступлений, бесед, стихов, в книги не вошедших, воображаемая антология под воображаемым заголовком «Еврейский Эренбург» (или еще того хуже — «Эренбург: еврейские страницы») составила бы не один том. А систематическое обозрение этой антологии не только разрушило бы все пределы и пропорции, но, главное, обернулось бы невыносимо скучной бухгалтерией: вот тут (скажем, «В Проточном переулке») еврей замечательный, а тут (скажем, «Единый фронт») — мерзейший. Нет, решительно систематичностью придется пожертвовать, чтобы сосредоточиться на ограниченном числе кардинальных проблем и ключевых, или узловых, произведений.

В 1911 г. в Санкт-Петербурге выходит второй сборник стихотворений эмигранта Ильи Эренбурга (первый вышел в Париже годом раньше). Три десятка стихотворений на разные темы — от классической античности и средневековой Италии до современного Парижа, и среди них одно, озаглавленное «Еврейскому народу». Цитировать я не стану, оно того не стоит: слишком неумелой, бессильной, ученической рукой написано. Смысл его прост: великий когда-то народ превратился в изгоя и парию, выродился. И поэт призывает: вернись на древнюю родину, и там либо ты отдохнешь от мук, либо погибнешь, но, по крайней мере, на родной земле, где в юности ты изведаль счастье. На первый взгляд — обычная «сионида», какими уже без малого тридцать лет украшались русско-еврейские периодические издания и число которых заметно умножилось после рождения политического сионизма.

Для сравнения любопытно было бы привести юношеские стихи другого будущего классика советской литературы, Самуила Маршака, относящиеся примерно к тому же времени (напрасно стали бы мы искать их следы в советских библиографиях — сионизм молодого Маршака был почти государственной тайной!), но не о Маршаке сейчас речь. Перечитывая и вглядываясь поглубже, убеждаешься, однако, что если перед нами и «сиониста», то не совсем обычная. В ней звучит жалость, но не участие, не сострадание. Поэт смотрит на еврейский народ со стороны, извне — не изнутри. Ты «уйди к родным полям Иерусалима», ты «умри не здесь, среди чужих полей» — а я останусь здесь. Интуитивное ощущение отстраненности, внеположности поэта подтверждается биографически.

К 1911 году парижский эмигрант из Москвы ощутил себя в полной почти власти католицизма, настолько, что «предполагал принять католичество и отправиться в бенедиктинский монастырь» (из «Автобиографии» 1926 года). Из этого ничего не вышло, рясу бенедиктинца Эренбург не надел, но если не формально, то духовно выкрестился — открестился от еврейства. Отчуждение это длилось целое десятилетие, до возвращения на Запад из революционной России. Поначалу — с сомнениями, с каким-то раздвоением, свидетельством которого служит стихотворение, вошедшее в третий поэтический сборник (он появился через год после предыдущего, в 1912 г., в Париже). Я приведу его полностью, оно много лучше того, о котором говорилось выше, хоть и, в свою очередь, далеко не совершенно:

Евреи, с вами жить не в силах,  
Чуждаясь, ненавидя вас,  
В скитаньях долгих и унылых  
Я прихожу к вам, всякий раз  
Во мне рождает изумленье  
И ваша стойкость, и терпенье,  
И необычная судьба,  
Судьба скитальца и раба.

Отравлен я еврейской кровью,  
И где-то в сумрачной глуши  
Моей блуждающей души  
Я к вам таю любовь сыновью.  
И в час уныний, в час скорбей  
Я чувствую, что я еврей!

Но чувство это уходит, истончается, теряется в иных, христианских чувствованиях, причем не обязательно католических. Так, еще в Париже в 1916 г. Эренбург издает тощенькую — 30 страниц — книжечку «Повесть о жизни некоей Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей» (текст написан автором от руки и отпечатан на каком-то множительном аппарате). Эта мистико-эротическая поэма о страданиях русской девушки, по случайности лишившейся невинности, выданной за нелюбимого и бунтующей против Бога, но утешаемой видениями свыше, принадлежит скорее к миру православия, нежели католичества. А вернувшись в Россию, он через год, в 1918-м выпускает в Москве книгу стихов, в которой являет себя таким пламенным, таким безутешным печальником о Святой Руси, о поруганных православных ценностях и идеалах, что самые коренные православные только рот разинули от изумления. Само название сборника достаточно красноречиво: «Молитва о России». Вот какие строки мы в нем находим:

Господи, прости, помилуй нас!  
Не оставь ее в последний час!

.....

Ту, что сбилась на своем таинственном пути,  
Господи, прости!  
Да восстанет золотое солнце,  
Церкви белые, главы голубые,  
Русь богомольная!  
О России  
Миром Господу помолимся.

Или еще такие, скорее великодержавные, чем православные:

С севера, с юга народы кричали:  
«Рвите ее! она мертва!»  
И тащили лохмотья с смердящего трупа.  
Кто? украинцы, татары, летгальцы,  
Кто еще? Это под снегом ухает,  
Вырывая свой клоч, мордва.  
И только на детской карте (ее не будет больше)  
Слово «Россия» покрывает  
Полмира, и «Р» на Польше,  
А «я» у границ Китая.

И в ответ на революционные лозунги лишь одно желание — умереть вместе с распинаемой большевиками Родиной:

Лихая ты! непутевая!  
Родная моя! прощай!  
«Всем! всем! Воззвание.  
Спасайте! Стреляйте! вперед!»  
Закроют глаза пятаками,  
И ветер один пропоет:  
«Вечная память!»  
Придут другие, чужие,  
Над твоей посмеются судьбой.  
Нет, не могу! Россия!  
Умереть бы только с тобой!..

Это поразительно напоминает известные строки Максимилиана Волошина (1877–1932), одного из самых замечательных поэтов-пророков русской революции:

Доконает голод или злоба, —  
Но судьбы не изберу иной:  
Умирать, так умирать с тобой,  
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба.



И не только напоминает — предвещает: стихотворение Волошина «На дне преисподней» было написано четырьмя годами позже — в 1922-м. Неудивительно, что Волошин с энтузиазмом откликнулся на появление «Молитвы о России». В октябре 1918-го он написал статью, в которой сопоставлял сборник Эренбурга с откликом на революцию (Октябрьскую, большевистскую!) Александра Блока — поэмами «Двенадцать» и «Скифы» (обе написаны в январе 1918-го, напечатаны в феврале-марте), и, преклоняясь перед лирическим гением второго, отдавал предпочтение «варварской по своей мощи и непосредственности» поэзии Эренбурга. Статья заключается так: сборник Эренбурга — «книга, являющаяся первым преосуществлением в слове страшной русской разрухи, книга, на которую кровавый 1918 год сможет сослаться как на единственное свое оправдание». Как ни интересна статья Волошина сама по себе (недаром она много ходила из рук в руки в самиздатских перепечатках в 60-е годы), для меня сейчас важны лишь два абзаца, которые я и привожу полностью:

Никто из русских поэтов не почувствовал с такой глубокой гибели Родины, как этот еврей, от рождения лишенный родины, которого старая Россия объявила политическим преступником, когда ему едва минуло пятнадцать лет, который десять лет провел среди морального и духовного распада русской эмиграции; никто из русских поэтов не почувствовал с такой полнотой идеи церкви, как этот иудей, отошедший от иудейства, много бродивший около католицизма и не связавший себя с православием. Да, очевидно, надо быть совершенно лишенным Родины и церкви, чтобы дать этим идеям в минуту гибели ту силу тоски и чувств, которых не нашлось у поэтов, пресыщенных ими.

«Еврей не имеет права писать такие стихи!» — пришлось мне однажды слышать восклицание по поводу поэм Эренбурга. И мне оно показалось высшей похвалой его поэзии. Да! — он не имеет никакого права писать такие стихи о России, но он взял себе это право и осуществил его с такой силой, как никто из тех, кто был наделен всей полнотой прав.

Вот как воспринимает эренбурговские слезы боли, любви и умиления русский человек: все почувствовал острее и глубже, нежели кто бы то ни было из своих, — и при этом остается чужим, силою берущим не принадлежащее ему право. А он-то, Эренбург, был уверен, что он — свой, смело противопоставлял себя «другим, чужим». Ситуация банальная, известная в разных степенях чуть ли не всем ассимилирующимся, уходящим. Но лишь у считанных единиц хватает силы не замечать ее, отместить, как нечто, его не касающееся. Я знаю только один пример и, хотя пользовался им не однажды, позволю себе повториться еще — так он удивителен и неотразим в своей исключительности. Был в Венгрии поэт по имени Миклош Радноти, считающийся одной из первой величины звезд на поэтическом горизонте нынешнего столетия. Родившись в еврейской семье, он был идеальным венгром-католиком по мироощущению, но крещения никогда не искал — в отличие от многих своих товарищей по происхождению и по перу. Один из них, переживший — в отличие от Радноти — Катастрофу, вспоминает:

Моя точка зрения была... такова, что если ты родился евреем, у тебя есть две возможности: либо ты говоришь «я еврей», либо «я не хочу быть евреем», но сказать «я не еврей» абсолютно невозможно. А Миклош как раз это и говорил: пусть Гитлер делает все, что ему угодно, пусть весь мир перевернется вверх ногами — я все равно не еврей... Свою правоту Миклош доказал смертью мученика. Хотя и верно, что его убили как еврея, но умер он не евреем: его последние стихи написаны и не евреем, и не бывшим евреем, который хочет освободиться от своего еврейства.

Эренбург не знал этой твердости и безмятежности духа. Не признание «своим», которое очень редко бывало столь благожелательным, как у Волошина, несравненно чаще — грубым и агрессивным, ранило его глубоко, и на то у нас есть прямые доказательства. В 1936-м в Москве вышла его «Книга для взрослых» с пространными автобиографическими пассажами. Рассказав об

антисемитских выходках в московской гимназии, он продолжает: «Много лет спустя я разговаривал с одним товарищем о русской литературе. Он сказал: "Ты еврей, ты этого не поймешь"... Любовь к России была для меня запретной; может быть, поэтому я пережил ее с двойной силой».

Это не более чем намек. Что именно происходило в душе некрещеного христианина, самозваного православного и незванного патриота, нам неизвестно. Он не хотел об этом говорить. В «Автобиографии» 1926 года за приводившимися выше словами о соблазне католичества следует: «Говорить об этом трудно. Не свершилось». В «Книге для взрослых», которая, как только что было сказано, состоит в значительной мере из мемуаров, он оговаривается: «Я не пишу книгу мемуаров. Есть многое, о чем я могу рассказать лишь близким друзьям, есть многое, о чем я не скажу и себе». Запомним это: ни читателю, ни близким, ни даже самому себе! А стало быть, у нас есть неоспоримое право на догадки.

Во второй половине жизни — с 1940-го, после окончательного возвращения в Россию — одним из ключевых слов у Эренбурга становится «верность». Признаюсь, что я впервые обратил на это внимание, читая «Люди, годы, жизнь», ту главу из шестой книги, где он рассказывает, как весной 1949-го в Париже лгал молчанием в ответ на расспросы об «антикосмополитской кампании», т. е., называя вещи своими именами, о погроме в СССР, погроме, который убил и моего отца. Да Эренбург и прямо упоминает его. Повествуя о собственных муках — муках нечистой совести, — он говорит: «Передо мной вставал Перец Маркиш таким, каким я его видел в последний раз». Глава завершается знаменательнейшим абзацем: «Я сказал, что в этой главе хотел рассказать о самом тяжелом для меня времени, вряд ли это удалось, да и не знаю, можно ли про такое рассказать, добавлю одно — самой страшной была первая ночь в Париже... когда я понял, какой ценой расплачивается человек за то, что он «верен людям, веку, судьбе». Едва ли нужно описывать чувства, которые

вызывал у меня этот текст, но отчетливо помню изумление: при чем тут верность? — это казалось кощунством. Спустя много времени обнаружил, кого Эренбург цитировал; оказалось — самого себя, стихотворение 1958 года, написанное, стало быть, за шесть лет до публикации воспоминаний о Париже в 1949-м:

Вере не верю я.  
Скверно? Скажи, что скверно.  
Верно? Скажи, что верно.  
Ни похвале, ни мольбе,  
Верю тебе лишь, Верность веку, людям, судьбе.  
Если терпеть, без сказки,  
Спросят — прямо ответь,  
Если к столбу — без повязки, —  
Верность умеет смотреть.

Это стихотворение, которое так и озаглавлено — «Верность», никогда при жизни автора не печаталось. Совершенно ясно, насколько проповеднические призывы поэта расходятся с житейской практикой человека, и укорять за это человека я не смею и не берусь. Но ясно также, что поэт высказывает то, чего прозаик, публицист и мемуарист высказать не решался или, как он сам уверяет, не мог, — тоску по верности. Именно в поэзии Эренбурга проходит с особою частотою, настойчивостью и даже навязчивостью этот мотив, настолько, что первый сборник стихов, напечатанный им в СССР, называется «Верность» (1941) — по стихотворению, открывающему сборник и написанному за двадцать лет до другой «Верности», цитированной выше. Но в стихах находим мы и положительные свидетельства тому, что верность была недоступна душе поэта, была вожделенным идеалом души, не ведавшей неизменных привязанностей и оседлости:

Странно устроен любой человек:  
Страстно клянется, что любит навек,  
И забывает, когда и кому...  
(1944)

Мне было многое знакомо  
И стало сердцу дорогим,  
Но не было на свете дома,  
Который бы назвал своим.  
И только в час глухой и злобный,  
Когда горела вся земля,  
Я дверь одну ревниво обнял,  
Как будто эта дверь — моя.

(1945)

(Эти строки были напечатаны через два месяца после конца войны!)

И уже перед самой смертью, в 1967-м, такое загадочное описание собственной верности, что только руками остается развести:

Пора признать — хоть вой, хоть плачь я,  
Но прожил жизнь я по-собачьи,  
Не за награды — за побои  
Стерег закрытые покои,  
Когда луна бывала злая,  
Я подвывал и даже лаял  
Не потому, что был я зверем,  
А потому, что был я верен —  
Не конуре, да и не палке,  
Не драчунам в горячей свалке,  
Не дракам, не красивым вракам,  
Не злым сторожевым собакам,  
А только плачу в темном доме  
И теплой, как беда, соломе.

Мне представляется, что отношение Эренбурга к еврейству, его еврейская самоориентация входят составную частью в более общую проблему, а именно — неверной, непостоянной и потому (по контрасту) жаждущей постоянства и верности души.

Еврей по рождению и в какой-то (пусть в малой) степени по воспитанию, он вырос чужим всему еврейскому, и поездки из

Москвы в Киев, к деду, хранившему заповеди, были «путешествиями в чужой мир». Это детали из «Книги для взрослых». И оттуда же, про свои гимназические годы: «Я говорил: "я — еврей" — этого требовало самолюбие. В душе я не понимал, что отличает меня от других». Иначе говоря — по собственному ощущению был русским, как все другие. В Париже этот русский становится католиком и европейцем. В революционной России маятник откачивается снова в сторону русскости, да еще промахивает прежнюю метку и доходит до крайней точки, как мы могли видеть. И только вернувшись на Запад, с новой силою, с подлинной страстью ощутив себя вновь европейцем (но уже без католической, вообще без какой-либо религиозной подкладки), Эренбург впервые открывает для себя еврейство как нечто сущностное, субстанциальное, формирующее личность и ее судьбу. Было ли это реакцией на пережитое, в частности на еврейские погромы, с одной стороны, и на непомерную еврейскую активность в русской революции, с другой, — остается только догадываться. Мне такая догадка казалась бы верной. Но вне и помимо всяких догадок мы видим: с 1921-го и примерно до середины тридцатых годов еврейство вообще и собственная к нему принадлежность не перестают тревожить Эренбурга, и это находит прямое отражение в том, что он пишет и печатает. Разумеется — и в стихах, но, во-первых, стихов процитировано уже и без того предостаточно, а во-вторых, в эти полтора десятка лет прозаик решительно отталкивает поэта на задний план (замечу попутно, что так оно будет и впредь, до конца жизненного и писательского пути). Итак, обратимся к прозе.

Первое, что было создано по вторичному водворению на Западе, — роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», написанный в июне-июле 1921-го (за один месяц!) и впервые увидевший свет в Берлине в 1922-м. Этот роман Эренбурга, его первый и, по многим авторитетным суждениям, его лучший, собрал массу любопытнейших отзывов и был переведен чуть ли не на все языки — во всяком случае, перевод на иврит

существует. Роман обвиняли (и продолжают обвинять) в том, что это склад краденого, и составляли подробные списки обворованных, от Достоевского и Ницше до Льва Шестова, Замятина и Мандельштама. Споры нет: в «Хулио Хуренито» много заимствованного, но триста с лишком страниц, написанные за тридцать дней, не могут быть сознательным плагиатом у нескольких десятков сложных и разнородных мыслителей. И главное: этот роман — не головная конструкция, но импульсивный отзыв, я бы сказал «открик» или даже вопль отчаяния. Обрушилось, развалилось, обанкротилось все, что казалось важным, ценным, грело душу, и Эренбург отвечает на это крушение неистовым отрицанием мира в целом, призывает тотальную гибель на всех и на вся. Его обвиняли в цинизме — нет, это не цинизм, а бессильные слезы великого разочарования. Я думаю, что «Хулио Хуренито» — самая искренняя книга Эренбурга, самая безоглядная; отсюда в первую очередь ее притягательная сила и для читателей, и для самого автора, который подробно объясняется в любви к своему первенцу в мемуарах «Люди, годы, жизнь» сорок лет спустя после его рождения.

Я остановлюсь только на одной грани разочарования — на революции. При всем своем католицизме и космополитическом европеизме Эренбург первого парижского периода мечтал о разрушении старого мира и буржуазных ценностей — возможно, как недавний еще большевик и, уж наверное, как модернист, а стало быть, бунтовщик и отщепенец. В разгар войны Учитель, Хулио Хуренито, напоминает ему: «Мой друг, не ты ли в мирной «Ротонде» среди ряженных натурщиц мечтал о бомбе, крохотной бомбочке, которая уничтожит все?»

Теперь ты служишь на огромном заводе, который делает ежедневно тысячи бомб и уничтожает миллионы людей!» Но вот Учитель и его семеро учеников, в числе которых и автор-рассказчик Илья Эренбург, попадают в революционную Россию, действительно взорвавшую старый мир, и что же? Король оказывается гол, революция ничего не сломала, а лишь «пересадила галерку

в партер», палка осталась палкой, а «тюрьма... тюрьмой... ни консерваторией, ни детским садом» она не сделалась, хотя «в нее беспрерывно приводили вчерашних тюремщиков». И так же беспрерывно рассказчика (и, смею предположить и высказать, — не только персонажа романа, но и Эренбурга из плоти и крови) давит в России уныние и ужас, горчайшая догадка, что свобода — фантом, а единственная реальность — рабство, и что ничего, по сути, не изменилось, и измениться не может. И не менее горький, не менее искренний и серьезный вывод в последней главе: «Пре-до мною проходят Россия, Франция, война, революция, сытость, бунт, голод, покой. Я не спорю и не преклоняюсь. Я знаю, что много цепей разного металла и формы, но все они — цепи, и ни к одной из них не протянется моя слабая рука». Решительно при всем желании в романе не найдешь ни восхищения революцией, ни веры в ее грядущее торжество, что бы ни писал об этом в поздние свои годы автор, как бы ни старались в те же годы советские комментаторы. Но «Хулио Хуренито» понравился Ленину, который знал Эренбурга по парижской (еще большевистской) эмиграции, и книга трижды вышла в Москве в 20-е годы и вошла в собрание сочинений в 60-е (правда, с купюрами).

Не будем, однако же, отвлекаться — вернемся к своей теме. Учитель, Великий Провокатор, который провокациями своими готовит насильственное возвращение социально организованного мира к блаженному безначалию, к хаосу, к «голому человеку на голой земле» (замечу, кстати: замысел, иудаизму глубочайше чуждый, непримиримо враждебный Библии с ее «различайте!»); замечаю это потому, что приходилось читать, будто Хуренито — прикрытый мексиканским именем дух еврейства), итак, Учитель окружен семьей учениками, представляющими разные народы, «языки» земли. Персонаж Ильи Эренбурга представляет не русский народ, а еврейский: впервые писатель Илья Эренбург идентифицирует себя не с Россией, но с разбросанным по всему миру еврейством. Опыт пламенной любви к чужим святыням не прошел, как видно, даром. Как же понимает



он еврейство вообще и свое еврейство в частности? Ответу на этот вопрос посвящена особая глава романа.

Она начинается с того, что Учитель объявляет об «уничтожении иудейского племени в Будапеште, Киеве, Яффе, Алжире и во многих иных местах», которое состоится «в недалеком будущем» с применением как «традиционных погромов», так и новейших методов, а равно и «реставрированных в духе эпохи» древних, вроде «сожжения иудеев, закапывания их живьем в землю» и т. п. Ученики потрясены: в XX веке — и такая гнусность. Учитель разъясняет: во все времена человечество «врачевало» свои беды убийствами евреев, и во все времена находились «люди осторожные», «люди передовые», «гуманисты», которые, вполне одобряя «лечение» в целом, выражали — чаще всего шепотом — несогласие с некоторыми его деталями. И новый век в этом отношении исключением не будет. (Впоследствии Эренбург сам дивился своему ясновидению: впрочем, это пророчество не единственное в «Хулио Хуренито» — предсказано, например, сверхоружие, способное закончить войну в две недели, но применять его против немцев не стоит, а «лучше оставить впрок для японцев».) Русский ученик, типичнейший, по замыслу автора, член «ордена» русской интеллигенции, продолжает возражать: «Учитель, разве евреи не такие же люди, как мы?» Учитель продолжает разъяснения: «Конечно, нет! Разве мяч футбола и бомба одно и то же? Могут ли быть братьями дерево и топор? Иудеев можно любить или ненавидеть, взирать на них с ужасом, как на поджигателей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь не твоя, их дело не твое». И предлагает ученикам опыт: если бы весь человеческий язык пришлось упразднить за исключением одного-единственного слова, какое из двух они предпочли бы сохранить — «да» или «нет»? Шестеро дружно выбирают «да», седьмой, «иудей» — «нет». Учитель подводит итог: «Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло естественное разделение. Наш иудей остался одиноким. Можно уничтожить все гетто, стереть все «черты оседлости», срыть все границы, но

ничем не заполнить этих пяти аршин, отделяющих вас от него». Все народы так или иначе смиряются с судьбой, с несправедливостью и неравенством, неотделимыми от человеческого существования. «Иудеи пришли и сразу — бух в стенку! «Почему так устроено? Вот два человека, быть им равными. Так нет: Иаков в фаворе, а Исав на задворках». Начинаются подкопы земли и неба, Иеговы и царей, Вавилона и Рима». Евреи измышляют далее «новую религию справедливости и нищеты» — христианство. Кажется, она побеждает Рим и мир, но «люди обыкновенные, которые предпочитают динамиту уютный домик», подменили «голую разрушающую справедливость... человеческим удобным гуттаперчевым милосердием», и «иудейское племя отреклось от своего детеныша». Теперь «Израиль выносил нового младенца. Вы увидите его дикие глаза, рыжие волосики и крепкие, как сталь, ручки. Родив, он готов умереть. Героический жест — "нет больше народов, нет больше меня, но все мы!" О, наивные, неисправимые сектанты! Вашего ребенка возьмут, вымоют, приоденут... Снова скажут: «Справедливость», но подменят ее целесообразностью. И снова уйдете вы, чтобы ненавидеть и ждать, ломать стенку и стонать: "Доколе?"» Совершенно очевидно, что «новый младенец» — это социализм в его большевистском варианте. Но и в национал-социалистическом тоже. «Крепкие, как сталь, ручки» Гитлера и Сталина сцепятся на еврейском горле. Да ведь и Арафат с Хабашем исповедуют «социализм». Еще прорицание, весь чудовищный смысл которого был непонятен Пифии-Эренбургу.

Для нас не имеет особого значения, насколько эта концепция зависит от чужих идей и слеплена из них. Напротив, чрезвычайно важно то, что все составные ее элементы — не наши, не еврейские. Это не еврей смотрит на самого себя, но чужой — на еврея, или, что то же самое, а может быть, и хуже, — оторвавшийся, отчуждавшийся — на народ, который стал ему чужим. И добрые ли чувства питает чужой или отчуждавшийся, худые ли — в данном контексте несущественно. Перед нами стереотип вечного

отрицателя, разрушителя, потрясателя основ, подрывателя чужих традиций, отчасти знакомый уже античной древности и полностью сформировавшийся еще в первой половине XIX века, во второй же половине сделавшийся уже достоянием массовой печати не только на Западе, но и в России. Так что тень Ницше тревожить не обязательно.

Важна также одна деталь, как бы походя брошенная Учителем: «...их кровь не твоя, их дело не твое». Еврейское дело — разрушение основ, не знающее ничего святого отрицание — неотделимо от еврейской крови. Или с другого конца: кровь, раса определяют участие в деле. Продолжим эту мысль (как продолжит ее через четыре года сам Эренбург, и мы, разумеется, к этому еще обратимся): погружение в другую культуру (точнее — цивилизацию) или крещальную купель ситуации не меняет — раса, по изящному выражению православных антисемитов новейшего времени, все равно выпадает в осадок. Разумно замечает Анатолий Гольдберг: «Парадоксальный эффект рассуждения Хулио Хуренито в том, что оно должно прийти по душе и антисемитам, и сионистам». Действительно, выходит, что никакой свободы в выборе национально-культурной принадлежности не существует и ассимиляция (которую нынче застенчиво именуют «окультуриванием») невозможна. В какой-то мере такая точка зрения находит себе основание в еврейской средневековой традиции, но мера эта крайне незначительна. Подлинная основа расистского подхода к проблеме складывается в межхристианских спорах XVI века, когда былое доверие к выкрестам и их потомству начинает сменяться угрюмой подозрительностью.

В целом же «Хулио Хуренито» позволяет с достаточной уверенностью заключить, что образ вновь обретаемого еврейства приходит к автору не изнутри, но навязан извне. Чаще всего такая ситуация ведет к самоненавистничеству; в данном случае она приводит к обостренной чувствительности и даже к национальному высокомерию. Обе реакции, несмотря на полярную их противоположность, вполне естественны и психологически

объяснимы и отнюдь не исключают одна другую, — в чем мы еще и убедимся. Добавлю только одно: я полагаю, что длившийся целых десять лет «христианский период» засел в душе Эренбурга как вечный укор в отступничестве, который невозможно ни избыть, ни забыть. Еврейство становится и до конца останется больною совестью писателя. Боль то отпускала, то, в зависимости от обстоятельств, вспыхивала с новой силой, но ее нельзя упускать из виду никогда — без нее, я полагаю, не понять эренбургских текстов адекватно. Напомню одно из лучших его стихотворений, написанное в январе 1941 года:

Бродят Рахили, Хаимы, Лии,  
Как прокаженные, полуживые,  
Камни их травят, слепы и глухи,  
Бродят, разувшись пред смертью, старухи,  
Бродят младенцы, разбужены ночью,  
Гонит их сон, земля их не хочет.  
Горе, открылась старая рана,  
Мать мою звали по имени — Хана.

Конечно, это и плач о гонимых, и декларация солидарности. Но для меня «старая рана» — не язва ненависти к евреям или, по крайней мере, не столько она, сколько рана на собственной совести. Совершенно очевидно, что больная еврейская совесть идеально вписывается в указанную выше фундаментальную оппозицию «верность — измена». Но вполне вероятно, что сама эта оппозиция вышла из больной еврейской совести, развилась из нее.

«Хулио Хуренито» дает, как мне видится, ключи ко многим дверям и дверцам в том огромном и весьма запутанном доме, который представляет собою писательское наследие Ильи Эренбурга. Попробуем отомкнуть хотя бы еще одну. Мы уже видели, что еврейский персонаж (характер) выстроен по шаблону или стереотипу. Еще намного заметнее это, можно сказать — кидается в глаза, когда мы смотрим на остальных учеников: немца,

итальянца, негра и т. д. Француз — обжора и сластолюбец, итальянец — бездельник, американец — долларопоклонник и ханжа... Все эти черты настолько привычны, расхожи, легко узнаваемы, что не остается ни малейшего сомнения: писатель показывает нам не лица, но маски. И тем поразительнее, когда к грубо размалеванной маске вдруг прибавляется неожиданная деталь, преображающая ее, «остраняющая» (по знаменитому термину Виктора Шкловского). Вот Хуренито объясняется со своим русским учеником:

Каждый раз, когда я говорю со славянином, я испытываю великолепное ощущение расступающегося болота. О, конечно, у вас тоже имеются поэты, биржи и, кажется, даже парламент! Но все, что так крепко и основательно на Западе, у вас ждет не урагана, а лишь легкого дуновения, случайного вздоха, чтобы исчезнуть без следа. Я не наивен, я знаю, что вы, как женщины, предпочитаете отдаваться, а не брать, я знаю, что вы слабы, нерешительны и склонны ко всему, кроме дела, я знаю, что не вам сокрушить эти спаянные кровью многих сотен поколений, насиженные города. Но вы велики, и такой пустыни не выдержит дряхлый мир — голова закружится. Вы никого не свергнете, но, падая, многих потащите за собой.

Итак, перед нами прием («комедия масок»), успех которого зависит от умения вовремя маску приподнять: читатель должен чувствовать условность игры, не принимать ее за чистую монету действительности. В первом романе это удалось прекрасно, дальнейшая эксплуатация приема часто будет далека от удачи. К нам это имеет прямое отношение: слишком часто еврейские образы у Эренбурга режут читательское зрение и слух невыносимой банальностью, фальшью штампа.

Сразу после «Хулио Хуренито», в сентябре 1921 года, Эренбург отдает в то же берлинское издательство следующую книгу — «А все-таки она вертится!». Это манифест нового искусства — не украшающего жизнь, но конструирующего ее.

Лозунги: «Растворить частное искусство в общей жизни. Сделать всех конструкторами прекрасных вещей. Претворить жизнь в организованный творческий процесс, тем самым уничтожить искусство». «Новая литература учит строить жизнь в движении, строить революцию, борьбу, любовь, любой будничным день». Меня не занимает, насколько осмысленны или пусты эти пышные слова, насколько программа конструктивизма жизнеспособна. Для меня примечательно (я все о «верности»!), что ничего общего с собственным эренбургским писательством она не имеет. Она выходит в свет в один год (1922-й) не только с «Хулио Хуренито», но и со сборником «Шесть повестей о легких концах», и одна из них, озаглавленная «Шифс-Карта», — первая, сколько я знаю, еврейская проза Эренбурга. Материал для еврейской прозы традиционный: Бердичев, бедный часовщик с внучкой («прекрасна Лия далекой библейской красотой»), бессердечные еврейские богачи, погром. Деталь, нарушающая традицию, навеянная временем и личным опытом писателя, — Гражданская война, еврейские комиссары. Новым искусством здесь и не пахнет; если оно в чем ощущается, так в подражании стилю и ритму Андрея Белого, как мне кажется, — подражании, достаточно неудачном, поскольку в результате возникает отчетливая сентиментальная тональность, весьма характерная для Эренбурга и в дальнейшем, до конца, и совершенно несвойственная и самому Андрею Белому, и модернистам, которые от него пошли и которыми восхищается наш автор в «А все-таки она вертится!» (Ремизов, Замятин, Пильняк). В той же книге он утверждал: «Детали даже не национальны, но локальны (почти уездны)». Конкретно это значит, что еврейский материал не создает еврейской литературы. В этом Эренбург, по-моему, совершенно прав. Региональная («областническая») литература без натяжек и насилия входит в состав национальной. Но формовка материала и подход к нему обнаруживают вторичность, зависимость — не от жизни и не от русской литературной традиции, а от литературы русско-еврейской, к той поре уже вполне сформировавшейся и

вышедшей к широкому читателю (Юшкевич, Айзман, Кипен, Алексей Свирский). Помимо сентиментальности, которая роднит с нею «Шифс-Карту», она достаточно часто обнаруживает уже в 1890-е и 1900-е годы особую мистическую окрашенность, бывало — смещаемую, «компрометируемую» рационалистической иронией, а бывало — и беспримесную. То же — и в повести Эренбурга, где часовщик Ихенсон, которого автор называет «чудаком», уверовал в откровения подпившего приезжего хасида и проникся мессианскими ожиданиями настолько, что принимает за Мессию погромщика, насилующего его внучку. Мало того: имя грядущего Мессии — Шифс-Карта, потому что сын часовщика, давным-давно уехавший в Америку, в редких письмах сулил старику: «Еще немного. Будет хорошо. К тебе придет «Шифс-Карта». В сущности, здесь попытка воспроизвести предпogромную и погромную атмосферу по достаточно хорошо известным образцам второй половины 1900-х годов — скажем, «Слушай, Израиль!» Осипа Дымова (1907 г.) или «Сердце бытия» Давида Айзмана (1906 г.). Но только атмосфера ужаса, создаваемая главным образом приемами модернистской (символистской) прозы, здесь «компрометируется» грубой нелепостью, неправдоподобностью «чудака» — маска сдвинута слишком демонстративно, хотя сама по себе написана не без знания дела; Эренбургу известны и еврейские обряды, и верования. В результате еврейская повесть сборника проигрывает против крестьянской «Опытно-показательная колония № 62», в которой неслыханная жуть Гражданской войны лепится из другого материала; в ней не ощущается ни сентиментализма, ни гротескного неправдоподобия, хотя прием маски, или авторской марионетки, сохранен в неизменности. Одним словом, вступление в еврейскую тему оказалось не очень удачным.

Но оно было куда удачнее продолжения — еврейской новеллы из сборника «Тринадцать трубок», напечатанного тем же берлинским издательством в следующем, 1923 году. Еврейство здесь даже не маска, а условный знак для обозначения условного

же (как на грязной, пыльной декорации уездного фотографа) Востока. Уже авторское предварение к пересказу истории, поведенной салоникским старьевщиком Иошуа, достаточно красноречиво: «Мудрость древнего народа в ней [истории] сочетается с его неумной страстностью, принесенной из знойной ханаанской земли в степенные и умеренные страны рассеяния». И если в повести ошибки против еврейской цивилизации незаметны, то здесь они так и лезут в глаза. Сефарды в Салониках зовутся Лейба, Борух, Абрам, даже Ицох (в позднейших изданиях исправлено: Ицхок), носят меховые шапки, угощаются редькой с медом, справляют праздник Симхайсторэ (в лучшем случае, если это опечатка, — Симхастойрэ). Все это, взятое вместе, вкупе с представлением, что Талмуд и Агада представляют собою два разных сочинения, в коих собраны «высокие абстрактные истины и мелкие практические советы», можно было бы считать тоже своего рода приемом, если бы не систематичность, ясно свидетельствующая, что Эренбург понятия не имеет о различиях между ашкена-зами и сефардами и представляет себе последних в точности по образу и подобию первых. Я бы предпочел вообще не числить эту новеллу по еврейской части — мало ли какой декор угодно было выбрать автору? — да Эренбург сам настаивает. Сразу вслед за приведенным чуть выше авторским предварением значится: «Я знаю, что она [история] покажется многим кощунственной и что, пожалуй, иные евреи станут даже оспаривать, что я действительно обрезанный еврей, несмотря на всю очевидность этого». Слова эти наводят на мысль, что масками прикрыты лица не только персонажей, в том числе персонажа-рассказчика, — маскою, вернее, масками, различными, меняющимися, пользуется и писатель Илья Эренбург. Это никак не значит, что я хочу обвинить его в лицемерии — просто, как он признавался неоднократно, начиная с «Хулио Хуренито», Истина, которую следует понимать как уверенность в своей правоте, ему не давалась («Проклятые глаза — косые, слепые или дальнорзоркие, во всяком случае нехорошие! Зачем видеть тридцать три



правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пустую, куцую, но свою, кровную, крепкую?»). Если угодно, это можно рассматривать и как некое преимущество, доказательство интеллектуальной и эмоциональной честности. Но последовательный скептик должен молчать — позиция, для писателя невозможная. И, чтобы продолжать свое дело, писатель-скептик делает допущение, что одна из «тридцати трех правд» — это Истина, его «кровная» Истина, и надевает ее, как маску, как платье из театрального гардероба. Я ни на минуту не сомневаюсь в искренности еврейского самосознания, вынесенного Эренбургом из испытаний российской революцией; я сомневаюсь в глубине и устойчивости этого самосознания, в его единственности или, по крайней мере, в решительном преобладании его над всеми возможными другими. Скажу по-иному: ненависть к антисемитизму, т. е. негативная, оборонительная часть еврейской правды, сделалась частью его натуры, позитивная же часть (как ее ни определяй: еврейская цивилизация, мировосприятие, отношение к миру и т. п.) осталась маской, одной из возможных. Вот почему я считаю, что, когда в январе 1953-го он говорил о полной ассимиляции как о единственном радикальном решении еврейского вопроса (письмо к Сталину), он не просто и не только применялся к чудовищным обстоятельствам. Но до 1953-го еще далеко...

Самым главным еврейским «манифестом» Ильи Эренбурга за всю его творческую жизнь я считаю статью «Ложка дегтя», помеченную 1925 годом и известную мне по сборнику «Белый уголь, или Слезы Вертера» (Ленинград, издательство «Прибой», 1928 г.). Был ли этот текст напечатан ранее, где и когда именно, — мне неизвестно; самая подробная библиография Эренбурга на этот вопрос ответа не дает. Эренбург начинает с похвалы «скептицизму», или «сомнениям», или «критицизму», которые он противопоставляет бездумным восторгам («маниловскому оптимизму») и слепой ненависти к любому инакомыслию («любви Собакевича к чужим мозолям»), определяющим облик

молодой советской литературы. Далее он прямо формулирует свою тему, которая, оказывается, выходит за российские пределы: «Я буду говорить... о приливе еврейской крови в мировую литературу. Этим вопросом занимаются либо наивные «жидоеды», трудолюбиво составляя проскрипционные списки, либо столь же наивные патриоты еврейства: «Чем, мол, мы хуже других? Мы заслуживаем своей земли, своего университета, даже своей полиции...». Говорить об этом вне ругани и вне бахвальства не принято. Между тем распыление еврейского духа — по меньшей мере, столь же важный фактор для понимания литературы нашего времени, как механическая бодрость «американизма» или тяга на восток». Итак, с самого начала выпад против антисемитизма и сионизма одновременно — вроде бы напоминает советскую официальную «перестроечную» пропаганду, но на самом деле (нет ничего нового под луной!) вполне в духе настроений и высказываний ассимилированной еврейской интеллигенции в Западной Европе, в частности и в особенности в Германии.

Затем, с некоторым высокомерием, выводится из поля внимания и интереса литература на идиш — ничем не примечательная, «вроде румынской или новогреческой». Почему же «иудейский дух», цельный и не «распыленный», дает такие жалкие результаты по сравнению с «распыленным»? Эренбург предлагает две гипотезы. Первая — материя не отвечает духу: язык идиш слишком молод и неизощрен, а потому и примитивен. Я думаю, что при всей своей незаурядной самоуверенности Эренбург сознавал несерьезность этого предположения, по крайней мере — в собственных устах: идиш он не знал и судить о нем мог на уровне интеллигентской (правильнее сказать, «обывательской») болтовни насчет «презренного жаргона». Нет, это — для красного словца, для симметрического построения речи; настоящее объяснение, которое одно только и получит развитие, заключено во второй гипотезе: «Или же концентрация известных, самих по себе живительных свойств неминуемо ведет к смерти? Ведь без соли человеку и дня не прожить, но соль едка,

жестка, ее скопление — солончаки, где нет ни птицы, ни былинки... Я не хочу сейчас говорить о солончаках, — я хочу говорить о соли, о щепотке соли в супе. Если суп пересолен, винитестряпуху, а не соль». Вот оно что! Уже не ложка дегтя, а щепотка соли! Источник ясен предельно — евангельские иносказания (притчи) из Нагорной проповеди Иисуса: «Вы — соль земли... Вы — свет мира... Да светит свет ваш пред людьми...». Но эта чуть-чуть христианизированная формулировка еврейского избранничества давно уже стала общим местом у «просветившейся», но не до конца ассимилировавшейся еврейской интеллигенции. И таким же общим местом, банальностью стала (и по сию пору остается) мысль о том, что слишком много евреев в одном месте, стране и т. п. — всегда плохо, к добру не приведет. Ею, этою мыслью, преподнесенною в несколько шутливом, игривом тоне, аргументировали (и поныне аргументируют) свою враждебность к сионизму и Израилю многие «принципиальные» обожатели галута (диаспоры), вплоть до советских евреев, борющихся за выезд в Израиль, но приземляющихся в конечном счете в Соединенных Штатах, или в Канаде, или в Австралии.

Далее следует рассуждение о еврейском скепсисе: «Критицизм — не программа. Это состояние. Народ, фабрикующий истины вот уже третье тысячелетие... отнюдь не склонен верить в спасительность своих фабрикатов». Эренбург цитирует Шем Тоба де Каррион (Шем Тов бен Исаак Ардутиэль), поэта XIV века, писавшего по-еврейски и по-испански: «Что лучше? Вино Андалузии или уста, которые жаждут? Глупец! Самое прекрасное вино забывается, а жажда, ничем не утоленная, остается». И продолжает: «Мир был поделен. На долю евреев досталась жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человечеству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. Они предпочитают сухие губы и ясную голову». К цитате о вине и жажде, которую Эренбург использовал много раз в разные периоды своей жизни, я еще вернусь. Пока же всмотримся в вывод, который из нее делается. Он

соответствует еврейской главе из «Хулио Хуренито»: еврейство постоянно генерирует новые идеи, которые само же первым отвергает, едва они начинают осуществляться. Возможно, Эренбург обобщает опыт своих собственных отношений с социализмом (большевизмом) и русской революцией. Как бы то ни было, прямым откликом на складывавшуюся в Советской России культурную ситуацию звучит следующее обобщение: «Когда усовершенствование приходит на смену изобретению, начинается эра буколических «олимпиад» и прекрасного единомыслия. Мед готов. Деготь же остается дегтем».

«Прилив еврейской крови в мировую литературу» (а это, как мы помним, заявленная автором тема статьи) начался с Генриха Гейне. Эренбург этого не забывает и, не называя Гейне по имени, предлагает свое толкование романтической иронии — главного вклада Гейне в мировую поэзию, главной приметы его собственной поэзии:

При виде ребяческого фанатизма, начального благоговения еще не приглядевшихся к жизни племен, усмешка кривит еврейские губы. Что касается глаз, то элегические глаза, классические глаза иудея, съеденные трахомой и фантазией, подымаются к жидкой лазури. Так рождается «романтическая ирония». Это — не школа и не мировоззрение. Это — самозащита, это — вставные когти. Настоящих когтей давно нет, евреи стерли их, блуждая по всем шоссе мира.

О романтически поднятых к небу еврейских глазах упомянуто, впрочем, не только ради Гейне. В том же 1925 году Эренбург пишет (и печатает, и к тому же в СССР, в «Красной газете») статью «Романтизм наших дней»; ею открывается тот самый сборник, где появилась «Ложка дегтя». Если эту последнюю манифестом можно назвать лишь условно, то «Романтизм наших дней» — манифест без всяких кавычек. Это отречение от прежнего символа эстетической веры, выкованного всего четыре года назад

(«А все-таки она вертится!»), и провозглашение нового: только «романтизм строит цельный и связный космос»; «вторая реальность... может быть только романтической»; вещь, факт, материал должны быть «искажены», «поэтически преображены» — иначе искусства нет, «торжествует вульгарный натурализм». Я не могу говорить подробно об этом чрезвычайно интересном и важном для понимания литературной жизни 20-х годов тексте, не стану даже снова задерживаться на эренбургской «верности»; я хочу отметить только одно — новый эстетический идеал иллюстрируется на двух примерах: Бабеля и Пастернака! И те же самые два имени складываются в позитивную половину оппозиции, вводящей читателя в статью «Ложка дегтя»: «Странно подумать, что в одну и ту же эпоху, в одной и той же стране существуют Бабель и Сейфуллина, Пастернак и Орешин». Только здесь акцент с романтизма перенесен на иронию — на еврейское вечное и во всем сомнение. Каким образом все это применимо одновременно и к Бабелю, и к Пастернаку, я судить не берусь; очевидно лишь, что в глазах Эренбурга их объединяет еврейская кровь — не еврейство как идея, а именно кровь, физиология. Он так прямо и говорит: «Увы, нескоро поймут заправские классификаторы человеческих сердец, что между бестолковым летом птиц и великолепнейшим построением муравейника — различие не идей, а физиологии». И еще о том же: если бы за кривую скептическую улыбку, за маниакальную неутомимость в задавании все новых вопросов, «если бы за подобные дела заточили в клинику, пришлось бы построить гигантский сумасшедший дом для всех (подчеркнуто мною. — *Ш. М.*) евреев мира, ибо все евреи похожи на учителя Менжицкого (Менжицкий — художник из Польши, который рассказывал Эренбургу о своем первом меламене, неутомленно пытавшемся добраться до сути в простейших, на первый взгляд, вещах и угодившем в сумасшедший дом. — *Ш. М.*), даже те, кто аккуратно бреется и никогда не читает духовной литературы».

И вывод, столь же категорический, отклоняющий какие бы то ни было исключения:

На складах (только для экспорта!) найдется немало идей — от мессии до образцового коммунального хозяйства (по всей видимости, эвфемизм для научно обоснованного социализма, которому предстояло быть построенным в одной стране. — *Ш. М.*). Только почему мы все улыбаемся — сумасшедший учитель Менжицкого, поэт Андрэ Спир (Эренбург увлекался Спиром, переводил его в свой первый парижский период, а в 1919 г. напечатал о нем статью под весьма красноречивым в нашем контексте заголовком: «Святое «нет». — *Ш. М.*), подслеповатый портной из Балты, я и с нами столько миллионов?..

Итак, еврейские гены фатально обрекают любого — и желающего (как Вавилон и сам Эренбург), и противящегося (как Пастернак) — на особый путь в искусстве, да и в жизни. Это путь избранного меньшинства, но избранничество определено чисто отрицательно — как будоражащий фермент тотального «нет», разрушительное недовольство собой и миром; оно необходимо как противоядие против самодовольного окостенения («гогота классического недоросля»), убийственного для искусства. «Парадоксальный эффект», о котором говорит Анатолий Гольдберг в применении к «Хулио Хуренито», обнаруживает себя и здесь, только в ином соотношении элементов: наряду с антисемитами, включая нынешних в сегодняшней России, радоваться могут не столько сионисты, сколько ассимилированные интеллигенты, по тем или иным причинам не потерявшие эмоциональных, или скорее сентиментальных связей с еврейством и даже гордящиеся ими. Но и при генах, и при гордости они остаются вне еврейства, в стороне от его национального «домостроительства». Эренбург ощущает себя не еврейским писателем, а писателем-евреем, или русским писателем с еврейской кровью в жилах.

«Ложка дегтя» заставляет впервые задуматься о еврейской эрудиции Эренбурга. Как я уже замечал выше (в связи с «Шифс-

Картой»), кое-что он знал, возможно — по воспоминаниям детства, вынесенным из дома деда в Киеве. Но тут, с цитатой из средневекового кастильского еврея, появляется sacramентальный литературоведческий вопрос об источниках, который чем дальше, тем больше будет мучить исследователя. В романе «В Проточном переулке» (написан в 1926 г., напечатан в 1927-м в Париже) есть история о Коцком (в московском переиздании 1929 г. — о Луцком) раввине, совершенно в духе хасидских рассказов, — откуда она заимствована? А в «Бурной жизни Лазика Ройтшванца» таких и подобных историй несколько десятков — какого они происхождения? Это тема особого разыскания, которого, должен признаться сразу, систематически и до конца я не предпринимал. Но и некоторые частичные и предварительные наблюдения, мне кажется, не лишены интереса.

Прежде всего — о Шем Тобе. Эренбург называет его «Рабби Сан-Тоб»; это русская фонетическая передача того имени, под которым поэт был впервые представлен французскому читателю в сборнике переводов, опубликованном в Париже в 1903 г. Я предполагаю, что в пору увлечения европейским Средневековьем Эренбург мог заинтересоваться этим сборником, где и обнаружил полюбившуюся ему цитату. Во всяком случае, источник ее — книжный и иноязычный, поскольку по-русски Шем Тоб де Каррион не существует. Иными словами, Эренбург читал что-то о еврействе на иностранных языках.

Вне всякого сомнения, читал он и по-русски. Среди вставных новелл, вложенных в уста Лазика Ройтшванца в одноименном романе, есть, по меньшей мере, шесть, о которых можно с точностью сказать, что они взяты из сборника, заглавие которого приведу полностью: «Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и мидрашей в 4-х частях, составленные по первоисточникам И. Х. Равницким и Х. Н. Бяликом. Авторизованный перевод с введением С. Г. Фруга». Эта русская адаптация фундаментального труда, вышедшего в Одессе в шести томах в 1908–1910 гг., пользовалась среди русских евреев большой популярностью;

первое издание относится к предвоенным годам, второе (расширенное) появилось в русско-еврейском эмигрантском издательстве в Берлине в самом начале 20-х годов, т. е. как раз тогда, когда в Берлине находился и Эренбург. Думаю, что с этим берлинским изданием он и был знаком. Вся, если можно так выразиться, агадическая ученость Лазика питается Бяликом и Равницким в русском переводе. (Ниже я покажу, как трансформируется текст русской «Агады» в переложении Лазика.)

Сложнее обстоит дело с ученостью хасидской. С хасидскими рассказами и легендами широкую публику в Европе, как еврейскую, так и нееврейскую, первым познакомил Мартин Бубер. Между 1906 и 1927 гг. он выпустил пять сборников хасидских текстов в немецком переводе. Эренбург немецкого не знал, по-немецки не читал (сошлюсь хотя бы на интервью, которое взял у него в 1958 г. Герд Руге для журнала «Der Monat»), французских же переводов буберовских хасидских сборников до конца двадцатых годов, сколько я знаю, нет. Тем не менее в «еврейской главе» опубликованных при жизни мемуаров («Люди, годы, жизнь», Книга шестая, гл. 15) Эренбург сообщает:

В конце двадцатых годов я познакомился на Монпарнасе с еврейским писателем из Польши Варшавским, с его друзьями. Они мне рассказывали смешные истории о суевериях и хитроумии старозаветных местечковых евреев. Я прочитал сборник хасидских легенд, которые мне понравились своей поэтичностью.

Вполне возможно, что я этого сборника просто-напросто не нашел. Но настораживает противоречие между этим сообщением и главой о Переце Маркише в тех же мемуарах (Книга третья, гл. 13), где мы читаем:

За его (Маркиша. — *III. М.*) столиком сидели еврейский писатель из Польши Варшавский и художник, фамилию которого я забыл... Не то Варшавский, не то художник рас-



сказал мне историю о дудочке. Это была хасидская легенда... Легенду я запомнил и включил потом в мою книгу «Бурная жизнь Лазика Ройтшванец»...

Но это значит, во-первых, что знакомство с Варшавским произошло не позже 1925 г. (в 1926 г. Маркиш уже был в Советском Союзе), а никак не «в конце двадцатых» (да и роман о Ройтшванце написан в апреле–октябре 1927 г. — опять-таки не в «конце»!), а во-вторых, что источники хотя бы для части хасидских вставных новелл в романе могли быть не письменными, а устными. (Замечу, кстати, что память изменяла Эренбургу-мемуаристу весьма нередко.)

Наконец, еврейскими источниками Эренбург пользоваться не мог — он не знал ни идиш, ни иврита.

Цель моего филологического экскурса об источниках одна: показать, что интерес Эренбурга к еврейству был не просто эмоциональным, а его знания — глубже и основательнее, чем, пожалуй, у кого бы то ни было из носителей еврейских генов, ставших русскими писателями, а затем так или иначе отдавших дань своему происхождению (скажем, от Михаила Светлова до Анатолия Рыбакова; не исключая и Василия Гроссмана).

Итак — «Лазик Ройтшванец» (авторская датировка: «апрель–октябрь 1927 г.»). Своего рода приступом, ступенькой к нему можно и нужно считать упомянутый выше роман «В Проточном переулке» — отчасти уголовную, отчасти романтическую и сентиментальную историю из московской жизни времен нэпа. Один из персонажей романа — горбатый скрипач Юзик. Уже само созвучие имен (Юзик — Лазик) не случайно. Далее, Лазик — земляк Юзика (оба из Гомеля), оба малы ростом и, мягко говоря, нехороши собой, а главное — оба нежны душою и склонны к философии, а исходным пунктом их философствования служит неизменно их еврейский образ мыслей, еврейский образ мира. Юзик — человек искусства, и этот крохотный уродец» составляет романтическую половину того стереотипа художника-еврея, который очерчен в статьях сборника «Белый уголь, или

Слезы Вертера»; второй половины — иронической, отрицающей — в нем нет вовсе. В еврейских терминах он наивный и восторженный «баки» из «спора о Талмуде». Наконец, как и Лазик, он безнадежный неудачник. Очевидно, что перед нами опять маска, составленная из знакомых по еврейской (идиш) и русско-еврейской литературам черт. Но маска удалась, как удался и роман в целом. Она и не совпадает с авторской, и не составляет единственного или даже главного объекта его авторской симпатии. Она входит частицею в мозаику образов-масок (мещанин-паразит, бывшая баронесса — «осколок давнего мира» и т. д.), высоко над которою стоит ее творец, русский писатель, самовластный хозяин мозаики.

Совсем иное в «Лазике Ройтшванце». Автор-рассказчик здесь чисто номинальный, хотя рассказ и идет от первого лица. Подлинный рассказчик — сам Лазик: то напрямую (он говорит, не умолкая), то косвенно, потому что авторская речь совпадает с речью главного героя. Маска последнего как бы прирастает к лицу автора и практически никогда не сдвигается. Прием теряет свой смысл.

Ирония и самоирония Лазика (а в нем к наивности примешана едкость; в еврейских терминах «баки» соединяется с «харифом» из того же «спора о Талмуде») не сдерживается самодержавною волей стоящего над текстом автора и потому быстро приедается; и шутки протагониста, и его злоключения становятся монотонны, утомляют, перестают вызывать улыбку и сострадание. Перестают внушать доверие: поскольку маска не приподымается, гемоглобин условности в изображаемом (столь важный для иронической прозы — припомним хотя бы его роль в «Хулио Хуренито»!) резко падает, события начинают восприниматься как попытка реалистического сколка с действительности, попытка совершенно неубедительная. Но — в двух словах содержание романа.

Гомельский «мужеский портной» Лазик Ройтшванец, безнадежно влюбленный в дочь кантора Феничку Гершанович,

попадает в тюрьму за несвоевременный вздох перед объявлением о кончине «испытанного вождя гомельского пролетариата»: некая бдительная гражданка, свидетельница вздоха, донесла властям, что Ройтшванец «торжествующе захохотал и издал неподобающий возглас». Отсидев положенное и окончательно отвергнутый Феничкой, Ройтшванец перебирается в Киев, где из кустаря-одиночки превращается в совслужащего, потом в Тулу, где надзирает за «размножением во всей Тульской губернии породистых кроликов», наконец в Москву, где становится литературным критиком пролетарского направления, а вслед за тем подручным у спекулянта. Последний, ожидая ареста, бежит через границу в Польшу и сманивает с собою Лазика. Начинаются блуждания эмигранта: разные концы Польши, Кенигсберг, Берлин, Магдебург, Штутгарт и многие иные немецкие города, Париж, Лондон, наконец Палестина. Лазик либо сидит в тюрьме, либо занимается самыми невероятными и далекими от его портняжного ремесла делами, например, выступает в цирке, исполняет должность раввина, проповедует Христа евреям. В Палестине ему так же худо и голодно, как где бы то ни было, знакомится он и с тюрьмой в Иерусалиме; и он решает вернуться на родину, поскольку рая не нашел нигде, а в Гомель тянет неудержимо. Вводится с осторожностью и политический аргумент: «Конечно, там плохо и там трудно. Там нет никакой ровной температуры, а только смертельный сквозняк. Но там люди что-то ищут. Они, наверное, ошибаются. Может быть, они летят даже не вверх, а вниз, но они куда-то летят, а не только зевают на готовых подушках». Но — слишком поздно: силы его исчерпаны, и он умирает у дверей гробницы Рахили.

Зачем написан этот роман? Какой замысел вложен в главного героя и что можно из него, героя, вычитать помимо авторского замысла? По нынешним временам в литературоведении вопросы, пожалуй, слишком прямолинейные, но цель, которую преследует мой очерк, заставляет ставить их именно так — впрямую, в лоб. Послушаем сперва автора:

Я решил написать сатирический роман. Герой его, гомельский портной... горемыка, которого судьба бросает из одной страны в другую... Лазик, отчаявшись, решает уехать в Палестину; однако земля, которую называли «обетованной», оказывается похожей на другие — богатым хорошо, бедным плохо. Лазик предлагает организовать «Союз возвращения на родину», говорит, что он родился не под пальмой, а в милом ему Гомеле. Его убивают еврейские фанатики. Моего героя западные критики называли «еврейским Швейком». (Я не включил эту книгу в собрание моих сочинений не потому, что считаю ее слабой или отрекаюсь от нее, но после нацистских зверств опубликование многих сатирических страниц мне кажется преждевременным.) (та же «еврейская глава» мемуаров)

Приходится еще раз отвлечься, чтобы указать на пробелы в памяти мемуариста. Он забыл, что еврейские фанатики повинны в гибели его героя не больше, чем все прочие его гонители, колотившие неудачника в разных пунктах России и Европы; после взбучки, которую ему задают, кстати сказать, не еврейские фанатики, а еврейские полицейские, Лазик замечает: «Они дерутся не хуже певучих панов. Что и говорить, это настоящее государство!» Проверить это советский читатель не мог: «Бурная жизнь Лазика Ройтшванцеца» никогда в СССР не печаталась, о чем мемуарист также забывает упомянуть. Правда, в другом месте, в начале Книги четвертой, он пытался рассказать об отношении высшего начальства к роману. После Первого съезда советских писателей (1934 г.) Эренбург был на приеме у Горького, где присутствовали все члены Политбюро, кроме Сталина. Калинин, Ворошилов, Каганович и кто-то еще сами подошли к Эренбургу и заговорили о «Лазике Ройтшванцеце». Оказалось, все его читали и всем он понравился, но, к немалому изумлению автора, они обнаружили в романе антисемитские нотки; Каганович же вдобавок нашел и еврейский националистический душок. Попытка была неудачной — цензура выбросила этот пассаж. Судя же по цензурованному тексту, который я привел чуть выше, в 1965-м Эренбург

соглашался с мнением «руководителей партии и правительства», высказанным за двадцать лет до того, — опасался, как бы «сатирические страницы» не показались кое-кому юдофобскими. Боюсь только, что опасения не совсем искренние, равно как и оценка романа. Сатира — пожалуй, но не только на еврейское захолустье, сионизм, британское лицемерие или немецкую тупость; прежде всего — в 19 главах из 40 — на советские порядки, нравы, образ жизни и мыслей. Именно поэтому не увидел «Лазик Ройтшванец» света на родине героя, а не из-за мнимого антисемитизма, и Эренбург это знал прекрасно. Во всяком случае, Анатолий Гольдберг свидетельствует:

«Бурная жизнь Лазика Ройтшванца» мгновенно завоевала Эренбургу успех у еврейского читателя. Антисоветски настроенные еврейские эмигранты, которые прежде терпеть его не могли за то, что он писатель советский, и бранили его циником или, в лучшем случае, презрительно от него отмахивались, теперь были пленены обаянием Лазика. Наконец-то Эренбург показал себя еврейским писателем — это было главное!.. Эренбург прославил мудрость гетто. В то время гетто было еще очень близко еврейскому сердцу.

Вот вам и второе восприятие-толкование: не сатира на еврейском материале, а чуть ли не ностальгическая идиллия. Ну, конечно! Герой — еврей, симпатичный, остроумный, сыплет талмудическими и хасидскими притчами. Чего же еще? Прimitивно, но вполне достоверно. Нетрудно было бы привести параллели из читательской практики нашего времени, когда американские, а отчасти и израильские евреи познакомились с некоторыми недавними выходцами из России.

Третье толкование предлагает — намеком — Эренбург в приведенной выше цитате, ссылаясь на «западных критиков», которые, дескать, называли Лазика «еврейским Швейком». Подлинно западной критики на этот предмет я не видел, но в пражском

эмигрантском журнале «Воля России» (1928, № 4) читал статью Н. Мельниковой-Папоушек под названием «И. Эренбург и Я. Гашек», где говорится примерно следующее: у Эренбурга нет своего слога и стиля, зато поразительный нюх на последнюю литературную моду; «Лазик Ройтшванец» сделан по образу и подобию «Приключений бравого солдата Швейка» — это «ряд нанизанных событий, снабженных комментариями героя, причем они для создания комического положения часто бывают противоположными реально совершившемуся факту». Примечательно суждение Мельниковой о еврейской стихии в романе Эренбурга: «Невиданной у Эренбурга чистотой отличаются некоторые еврейские предания и легенды... Не могу судить, все ли они подлинные или некоторые присочинены самим автором, но такие сказания, как об Александре Македонском или Цадике, спорящем с Богом о человеческом счастье, являются сами по себе законченными произведениями, пафос которых потрясает до глубины души. И тогда возникает вопрос, зачем автор, могущий делать подобные вещи, бросается вечно из стороны в сторону, гоняясь за дешевым успехом, которого он добивается часто не слишком избранными и чистоплотными приемами». Примечательно в связи с этим и еще одно суждение Мельниковой, из другой ее статьи — о романе «В Проточном переулке»: она находит, что скрипач Юзик, безусловно, близок многим героям Юшкевича и Айзмана, и обнаруживает в романе «незнакомое Эренбургу до сих пор целомудрие и стремление оторваться от грязи, к которой он приближается слишком охотно» («Воля России», 1927, № 8–9). Русский критик жалеет, что Эренбург недостаточно близок к еврейской культурной традиции, в частности — к традициям русско-еврейской литературы (Юшкевич, Айзман). Напрасные сожаления: Эренбург, как мы помним, себя из этой традиции сознательно и решительно исключает. Как Лазик — чисто внешнее (по набору приемов) подражание Швейку, при полном внутреннем несходстве и даже противоположности типов, так же точно и Юзик, и Лазик — не более, чем «пародия»

(в тыняновском смысле) по отношению к персонажам и характерам русско-еврейской литературы.

Тема «пародии» представляется мне заслуживающей продолжения. Поэтому я лишь упомяну остальные известные мне чужие толкования: Лазик как развитие образа «маленького человека, униженного и оскорбленного», идущего от Пушкина, Гоголя, Достоевского; Лазик как герой в прямом смысле слова, гибнущий в борьбе с Историей, но не побежденный; оба толкования, на мой взгляд, не затрагивают сути дела. Суть же здесь, по-моему, не в идеологии, а в писательстве, в искусстве складывать слова. В середине 20-х годов Эренбург был буквально зачарован Бабелем. Попытка подражать ему ощутима уже в тирадах Юзика; в романе о Лазике она становится главной движущей пружиной. Я приведу с десятков примеров «бабелевского письма» — из речи не только самого Лазика, но и других персонажей, а также из авторской речи; все примеры относятся к начальным главам романа:

«Это вождь всех пролетарских ячеек Парижа. У нее такой стаж, что можно сойти с ума, вы только поглядите на эти глаза, полные последней решимости...» (Лазик пускает пыль в глаза, показывая фотографию своей покойной тети Хаси из Глухова.)

«Прыщик — глупости, прыщик всходит и заходит, как какой-нибудь гомельский комиссар».

Гомельский кантор и мохэль, обращаясь к дочери: «Этот Шацман смотрит на меня десять минут, не моргая. Одно из двух — или он хочет на тебе жениться, или он хочет, чтобы я уехал в Нарым. Спой им, пожалуйста, сто международных мелодий! Тогда они, может быть, забудут, что я тоже пою. Если Даниил успокоил настоящих львов, почему ты не можешь успокоить этих перекошенных евреев? Ты увидишь, они убьют меня, и я жалею только об одном: зачем я их когда-то обрезал».

«...надгробная скорбь в масштабе губернского города».

«...тогда была холера, а теперь у нас нет никакой холеры, теперь у нас только хозяйственное возрождение и китайский вопрос».

«Но ведь существуют на свете граждане поважнее Гершановича, и вот бочка одного учреждения выезжает среди бела дня, даже без надлежащей крыши» (речь идет о бочках для вывоза нечистот, которым в Гомеле разрешено циркулировать только по ночам, и об исключении, которое делается для бочки губернской чека).

«...жестокая контра...»

«...сознательный предрассудок...»

«Я слышал эти часы даже в тесной тюрьме, за последней решеткой, и мне легче сейчас же умереть под холодной пулей, нежели прожить всю жизнь без одного удара этих недопустимых часов».

Я сказал: «бабелевское письмо», но, по справедливости, надо говорить о псевдобабелевском. И совершенно неумеренным количеством и часто сомнительным качеством оно создает впечатление пародии без всяких кавычек и так же приедается, так же утомляет, как неподвижная маска, о которой речь шла выше.

Позволю себе высказать предположение: не еврейский материал, подсказанный беседами с польскими евреями в парижских кафе, привел к прозе «под Бабеля», а наоборот, увлечение мастерством Бабеля подтолкнуло к специфически бабелевскому материалу. Единственный «еврейский роман» Ильи Эренбурга был создан импульсом эстетическим, а не национально-культурным. И еврейской литературе он принадлежит не в большей мере, чем, скажем, десяток стихотворений Федора Сологуба на библейские мотивы и сюжеты, которые печатались в петербургском русско-еврейском журнале «Восход» в середине 90-х годов XIX века.

Со всем тем (и со всеми, как я их ощущаю, художественными просчетами и промахами) «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца» представляет несомненный интерес для читателя, и в особенности — для читателя еврейского. Интересно, как травестируется



древняя легенда в принижающем — обытовляющем и опошляющем — переложении. Вот источник, оригинал:

Тучный человек ехал верхом на осле. — Ох, — подумывал осел, — скоро ли слезет он с меня? — А всадник, в свою очередь, кричал: — Кончится ли наконец эта езда моя? — Когда приехали на место, оба вздохнули свободно. Неизвестно только, кто обрадовался больше — осел или всадник. Надо полагать, все-таки осел. Положению осла и всадника его подобны были египтяне и израильтяне в последние дни перед Исходом: кара за карой сыпались на Египет, и кричал он и говорил: «Когда же наконец освобожусь я от оседлавшего меня Израиля?» Израильтяне, в свою очередь, нетерпеливо ждали исхода своего из Египта. Исход совершился — и оба они обрадовались ему. А кто обрадовался больше — на это дает прямой ответ псалмопевец: «Египет обрадовался исходу их.

А теперь — «извод» Лазика.

Жандарм в познанской тюрьме объявляет ему, что подписан приказ о немедленной его высылке. Лазик ликует, а жандарм плачет: ему жаль арестанта, который вынужден расстаться «с нашей прекрасной Польшей», никогда не увидит больше «прекрасных панн», не услышит «певучей речи». Отчего это ликование? Не сошел ли с ума этот «большевик, татарин, москаль, палач, варвар», видимо, забывший, что «вы сморкались двумя пальцами, когда у нас жил Сенкевич». В ответ на это и следует притча:

Я расскажу вам, в чем дело. Когда я связываю пожитки, у меня моментально развязывается язык. Начнем с фараона. Это был один высокий чин, который сидел наверху, а внизу евреи строили пирамиды. Он щелкал бичом, а они должны были строить. Скажем, что они были Моисеями Фараонова закона, хотя Моисея тогда не было, и когда Моисей оказался, они решили: сколько же можно строить, ну, десять пирамид, хватит, и они ушли пешком из Египта. Здесь началась дискуссия. Одни говорили, что евреи

радовались, удрав из Египта, хоть им и пришлось кушать какие-то мелочи с неба, а другие уверяли, что радовался фараон, потому что с евреями, как вы сами знаете, уйма хлопот, надо их громить или вешать, или бесплатно кормить в тюрьме певучими разговорами. Вот тогда-то нашелся умник, который сразу осветил момент. Он так сказал: «Когда едет тучный человек на маленьком ослике, ему неудобно и ослу неудобно, а когда они приезжают, то оба рады. Но вот вопрос: кто больше радуется, всадник или осел...» Значит, мы можем оба радоваться. Вы спрячьте ваш плачевный платок и перестаньте сморкаться, как Сенкевич. Танцуйте лучше фокстрот. Ведь это радость — избавиться от подобного Ройтшванца! Но что касается меня, я все-таки думаю, что еще больше радовался осел...

Интересно, к каким положительным ценностям еврейства выходит через эти древние предания поклонник «святого „нет“», еще недавно превыше всего ценивший «деготь» сомнения и отрицания. Перед самой смертью Лазик рассказывает свою последнюю историю — и в ней не мрак, а свет, не жесткий скепсис «харифа», а трогательная усмешка «баки». Это та самая история о дудочке, которую, как уже сказано в моем «экскурсе об источниках», Эренбург упоминает в мемуарах, в главе о Переце Маркише. И не только упоминает, но и пересказывает подробно. Соль ее — во всяком случае, для Эренбурга — в том, что непосредственная, спонтанная радость жизни Богу угоднее, чем обильные покаянные слезы и молитвы, даже если молится такой величайший праведник, как рабби Исраэль Ба'ал-Шем-Тов. В синагоге на исходе Судного дня ждут первой звезды, а она все не показывается. Евреи в отчаянии. И вдруг трехлетний малыш, которому нестерпимо скучно, вытаскивает из кармана грошовую жестяную дудочку и начинает дуть в нее. Молящиеся возмущены, шокированы, но Ба'ал-Шем-Тов велит им молчать, а ребенку продолжать. И «не успели они опомниться, как настал вечер, вспыхнули звезды, кончился пост». И вот объяснение Бешта:

Ваши грехи весили столько, что их не могли перевесить никакие покаянные слезы. Бог закрыл себе уши. Бог запретил мне плакать. Бог не слышал больше моих молитв. Но вот раздался крик этого ребенка. Он дунул в дудочку, и Бог услышал. Бог не выдержал. Бог улыбнулся... Вовсе не ваши доводы и не мои молитвы спасли ваш город, нет, его спасла жестяная дудочка, один смешной звук от всего детского сердца... Поглядите скорее, как этот Иоська улыбается!..

Двойная улыбка — Творца и Владыки мира и крохотного, бессильного Его творения — связывает поту- и посюстороннее и несет спасение. Разумеется, неверующий и окончательно распростившийся с какою бы то ни было мистикой Эренбург далек от хасидского осмысления хасидской легенды. В его мемуарах Перец Маркиш, выслушав легенду, взволнованно откликается: «Да это об искусстве!..» Конечно, но также — о роли и месте смеха, радости, веселья в творчестве и в жизни, в жизни вообще и в еврейской жизни в частности и в особенности. А следовательно — и о смысле, о цели романа, какими они виделись автору.

Но, пожалуй, всего интереснее общая позитивность авторского отношения к своему материалу — к еврейской жизни в разных ее проявлениях, какое-то сочувствие ко всему еврейскому; оно, по-видимому, и создает иллюзию «еврейского романа — как будто сочувствие не может быть отстраненным, посторонним. То же сочувственное понимание, и даже более интенсивное, почти восхищенное, — в рассказе «Старый скорняк», опубликованном одновременно с «Лазиком» (летом 1928 г.) и, возможно, одновременно и написанном. Эренбург возвращается к теме погрома, только на этот раз протагонист, ветхий, «забытый смертью», «выживший из ума», — настоящий герой, великий духом. Шаги погромщиков все ближе. Они поднимаются по лестнице.

Кричат, один за другим, умолкая, нижние этажи. А Шехтель стоит возле лампы. Он молится. Лампа выгорала и тяжело дышит. Сейчас лампа умрет. Но Шехтель знает

слова на память. Он бормочет: «Да будет сладка и легка смерть перед Тобой...» Эти слова ничего не значат, они пахнут пылью, гвоздикой, старостью. Они просто-напросто слова молитвы... Одна мысль у Шехтеля — дойти до окна. Он и не думает о бегстве... Но может ли старый еврей умереть, не вымыв рук? Может ли подать Богу руку, всю перепачканную жизнью? С детских лет тяготел над Шехтелем суровый закон, и теперь вспоминает он последнее его предписание... Стекла запотели, на них несколько капель, серых и подлых, как все цвета этого часа. К оконным стеклам пятится Шехтель — он хочет выполнить свой «последний долг». Дойдя до окошка, Шехтель прижимает ладони к слезящемуся стеклу. Он трет одну руку о другую, и он улыбается. Он выполнил все, что предписывает суровый закон. Он протянет Богу чистые руки. И Шехтель ласково говорит: — Теперь я вымыл руки, теперь вы можете меня убить.

Величие духа старого еврея ненавязчиво подчеркнуто в сюжетном противопоставлении его племяннику Мотьке, написанному одной «бабелевской» фразой: «У Мотьки горячие зрачки и комсомольский билет в кармане». Мальчишка Мотька смеется над стариком и его Богом, но ему «не переубедить Шехтеля. Он и не очень старается. Он ведь занят делами поважнее: он переделывает заново мир». Но вот приходят белые, приходят погром и смерть, и после предсмертного вопля жертв все умолкает. «Молчат все этажи, с ювелирами и с попрошайками, с седобородыми начетчиками и с запальчивыми подростками, вчера еще горланившими на сходках».

Пусть слова покаянной последней молитвы сочинены автором (традиционный «виддуй», как известно, звучит совсем по-иному: «Да будет смерть моя искуплением моих грехов») — коротенький, всего пять страничек, рассказ, написанный за полтора десятка лет до Катастрофы (Шоа), провидит и предсказывает один из повторяющихся ее эпизодов: не раз в гетто и лагерях смерти евреи просили о последней милости — о капле воды,

чтобы омыть руки перед «виддуем». И мы знаем, что социалист и неверующий Берл Кацнельсон видел в таком малом эпизоде мученичества за веру нечто не менее важное, чем восстание в гетто. А то — и более...

Тем удивительнее перемена в авторском отношении, обнаруживающая себя в очерках о Польше и Словакии, которые были написаны в 1928 г. и вошли в сборник путевых заметок «Виза времени», впервые напечатанный в Берлине в 1929 г. Складывается впечатление, что «еврейская маска» приелась Эренбургу. Но с той же степенью вероятности можно предположить, что он впервые столкнулся вживе с патриархальным, традиционным еврейством — и отшатнулся в замешательстве, в страхе даже: оказалось, что хасиды из плоти и крови не совсем похожи на персонажей тех забавных и трогательных историй, которые он слышал (и читал?) в Париже и пересказывал (и придумывал?) в «Лазике». Хотя в польском консульстве в Париже он саркастически отрекомендовывает себя как «Моисея советского закона» (в издевательскую параллель к «полякам Моисеева закона»), все же решительно преобладает самоощущение не только русского писателя, но и попросту русского («сердце русского настораживается», «смешной для нас, русских, словарь», подкарпатские русины — «наши соплеменники» и т. д. и т. п. почти без счета). Наоборот, все еврейское — и немного привлекательное, и многое отталкивающее — одинаково чуждо и уму, и особенно сердцу. Вплоть до того, что, глядя на «бледнолицего пейсатого подростка», годами изучающего Талмуд в «высшей раввинской школе», автор с жалостью размышляет: «Не видит он ни гусей, ни баб, ни неба, ни жизни. Он заведомо мертв, и не этой ли добровольной смертью окупается баснословная живучесть его народа?» Его — иешиботника — народа! Мы возвращаемся (не вернее ли сказать, «отброшены»?) к годам первой парижской эмиграции, к стихотворению «Еврейскому народу»; разница лишь в том, что нет больше для этой отчужденности католической «мотивации»).

Несколько деталей из еврейских наблюдений Эренбурга в Польше и Словакии в 1928 г. мне хочется отметить особо.

История и «концепция» хасидизма у Эренбурга (от бунта простецов и бедняков, бунта сердца против «оскопленного и в то же время деспотичного закона» до вырождения, выразившегося в цадикизме: «У великих отцов оказывались скудельные, ничтожные или даже подлые дети») идет от Хаскалы, прежде всего — в ее российском варианте второй половины прошлого века. Но познания Эренбурга скудны, более чем приблизительны. Так, он не знает даже полного прозвища Бешта: «...блистательная и высокая философия Балшемта...» Я цитирую по первому, берлинскому изданию. Двух советских изданий (1931 и 1934 гг.) я не видел; исправлен ли в них этот грубейший ляпсус, мне неизвестно. Зато известно, что из обоих послевоенных собраний сочинений (1952–1954 и 1962–1967) очерк «В Польше» выброшен полностью, а очерк «В Словакии» — частично, как раз за счет еврейских главок. Если для сталинских времен это не требует никаких объяснений, то для 60-х годов, когда печатались «Люди, годы, жизнь», можно бы предположить целых два на выбор: либо Эренбург стыдился написанного когда-то, либо, как в случае с «Лазиком Ройтшванецом» (согласно собственному, цитировавшемуся выше толкованию), полагал, что эти страницы могут доставить радость юдофобам. Впрочем, одно предположение не исключает другого.

Среди хасидов Эренбургу по душе только брацлавские, поскольку «у них вовсе нет цадика», и особенно мерзки гурские. О рабби Нахмане говорится: «Он был философом и поэтом. Его изречения, легенды и стихи вышли недавно в немецком переводе. Этот первый выход исторического хасидизма из пределов гетто был полон запоздалой славы и классического изумления потомков». Не стану исчислять всех ошибок, собранных в этих трех фразах, ограничусь одной: «Истории рабби Нахмана», первый из хасидских сборников Мартина Бубера, вышли в свет в 1906 г.; в 1927-м («недавно») опубликован сборник, посвященный Ба'ал

Шем-Тову. Еще одно доказательство того, что хасидская «эрудиция» Эренбурга — из вторых рук, а также свидетельство журналистского легкомыслия. Дело обычное, мало чем примечательное. Но совсем необычной, глубоко трагической иронией звучат сегодня раздраженные пророчества о судьбах гурской династии: «Его дети будут продолжать проделки отца, разве что немного реже молиться и немного чаще устраивать лотереи. А внуки?.. Одни из них завивают пейсы, сидя за Талмудом, другие ездят в Варшаву на лекции о русской литературе. Первых, правда, больше, но у них нет ни страсти, ни воли, ни упрямства. А вторых уже ничто не удержит — ни пощечины, ни анафемы». Не дано было Эренбургу ни предвидеть, ни, скорее всего, хотя бы узнать впоследствии, что брат того самого гурского рабби, при «дворе» которого он побывал, повторил в гитлеровском лагере уничтожения подвиг веры и мученичества, изображенный в «Старом скорняке». Как не узнал он, по-видимому, и того, что сам гурский рабби с семьей спасся от гибели, поселился в Земле Израиля и что дети его и внуки играли и играют первостепенной важности роль в религиозной жизни нашей страны. Я далек от религии, я не храню «заповедей», я не испытываю никаких симпатий к партии Агудат Исраэль, но душа моя радуется, когда я вижу сияющие над въездом в Бней-Брак неоновые буквы: «Хасидей Гур». И я думаю, я надеюсь: радовался бы на закате жизни и Эренбург.

Возвращается автор очерка «В Польше» и к знакомой нам уже по статье «Ложка дегтя» теме убогости литературы на идиш. На сей раз — много подробнее. Делается уступка: «Конечно, существует ряд писателей, которые пишут по-еврейски». Но (как и в той статье) — слишком молода эта литература, молод ее язык, идиш, отсюда

и детская неловкость, и преувеличения, и ограниченность поля зрения. Для ребенка — это вундеркинд. Но беда в том, что евреи не словенцы, не фламандцы и не татары. Они не дети, и при всей их темпераментности ребяческие

игры им не к лицу. Еврейский народ несравненно старше, выше, богаче многосторонней еврейской литературы.

Здесь еще яснее (по сравнению с той статьей) видно, что Эренбург чрезвычайно смутно представляет себе то, о чем пишет. Ни имен «прекрасных писателей», ни примеров «неловкости», «преувеличений», «ограниченности» он не приводит. А ведь в очерке «Подкарпатская Русь» он не только называет «карпато-русских» писателей, духовных вождей «крохотного народца», но даже цитирует их.

«Виза времени» — большая, богатая и наблюдениями, и размышлениями, и художеством книга. Еврейские страницы в ней — далеко не лучшие, не самые пронизательные. Они словно навязаны Эренбургу — польской и словацкой реальностью, его собственным происхождением, от которого он по-прежнему не отрекается, но которым снова, как в ранние парижские годы, начинает тяготиться. Я цитировал выше: «Евреи, с вами жить не в силах...» Он пожил с нами в «Лазике Ройтшванеце», в «Старом скорняке» — и будет, и довольно, и опять «не в силах!». Ему тесно и душно с нами, в каком бы обличьи мы ни выступали: в хасидских ли кафтанах, в кургузых ли пиджаках бундовцев, или сионистов, или «окультуренной» русско-еврейской интеллигенции.

К концу 20-х годов Эренбург заметно левеет и даже «большевеет» (неологизм, придуманный Осипом Мандельштамом). Все враждебнее глядит он на капитализм, все доброжелательнее на социализм, «строящийся в одной стране». Это достаточно четко ощутимо уже в «Визе времени» (особенно — в очерке о Скандинавии, написанном в 1929 г.) и достигает своего рода апогея в политическом романе «Единый фронт», напечатанном в Берлине в 1930 г. (авторская датировка: «январь — июнь 1930»). Мне, однако же, роман этот представляется еще одним апогеем — крайней точкой отстранения, отчуждения от еврейства, того попытнного движения маятника, которое началось после «Лазика».



Название означает: единый фронт всемирного капитализма против единого фронта советского народа. Но сплоченность новой России — незыблемая реальность, тогда как сплоченность капитала — фикция. Все русские, советские люди, в том числе и «бывшие», т. е. остатки разгромленных революцией классов, которые пошли служить новому строю без всякого энтузиазма, «понимают роль России», гордятся своим народом», сознают, что «на нашу родину возложена высокая миссия». Капиталисты же, ненавидя прекрасный новый мир социализма, ненавидят и друг друга, сражаются друг против друга не на живот, а на смерть. И главная сюжетная линия романа — это война двух исполинов капитала — Ольсона и Вайнштейна.

«Сэр Вильям, он же Вульф, Вайнштейн» — воплощение Абсолютного Зла; конец скепсису, разъедающему анализу и самокопаниям — единственная Истина, по которой томилась душа рассказчика и в «Хулио Хуренито», обретена, пусть покамест еще и в отрицательной форме. Вайнштейн — сама безнравственность, сама беспощадность и бессердечность, сама глухота к какой бы то ни было красоте; этакая антиплатоновская триада. Вайнштейн — это слепая и бессмысленная страсть к власти, поджигатель войны, торговец оружием, главная пружина всеобщего антисоветского заговора («Голова Вайнштейна, по всей справедливости, может быть названа центром европейской политики, это главная квартира «единого фронта»), главный закулисный двигатель всех ходов в политической игре («Ротозеи так и не узнают, что все эти «международные проблемы» — только домоводство Вайнштейна, что рыжий заочно председательствует на торжественных заседаниях, где люди толкуют о мире и прочих пустяках...»). Вайнштейн — это написанный смертельно всерьез, без малейшей примеси иронии или гротеска Хулио Хуренито, а скорее Енс Боот, протагонист романа «Трест Д.Е. История гибели Европы», который и написан был, и вышел в свет на другой год после «Хулио Хуренито» — и повторил его; как всякое повторение, «Трест Д. Е.» светит отраженным светом, но дух

фантастического гротеска присутствует и здесь. А «Единый фронт», повторяю, роман политический, и авторским сообщениям вроде того, что уже у начинающего миллионера Вайнштейна было «твердое намерение скупить всю Европу, вот так, как скупил витебский купец Горовиц все дома на Дворянской улице», или что «он поддерживал все, способное раздробить и обессилить Европу», или что «сэр Вильям, краса лондонских клубов, гордость Оксфорда и друг Черчилля, втихомолку старался dokonать старую Англию», — этим авторским сообщениям читатель призывается верить слово в слово.

Вайнштейн был бы еще одним картонным паяцем в галерее «акул империализма», необходимой составной части коммунистического мифа 20-х — 30-х годов, если бы не настойчивость, почти одержимость, с какой Эренбург вытаскивает на первый план еврейство своего персонажа. Причем еврейство, — и это, пожалуй, всего важнее и страшнее, — сконструированное в основном по шаблонам другого мифа: геббельсовского, штрейхеровского, гитлеровского, одним словом — национал-социалистического. Уроженец Витебска, «сын уважаемого Нахмана Вайнштейна, торговавшего... гнилыми отрезами из Лодзи», «предприимчивый Вульф» не находит для себя достойного поля деятельности в родном городе, обкрадывает отца и бежит в Гамбург, где и сколачивает свои первые миллионы, торгуя живым товаром, причем пользуется услугами некоего «раввина, в обязанности которого входило укреплять души доверчивых красоток». Тем не менее и персонаж, и автор без конца поминают родимый Витебск. Одно такое упоминание читатель найдет в предыдущем абзаце. А вот еще одно — в связи с венским дельцом Рубином: «Это человек полезный, хотя и недалекий». В душе Вайнштейн его презирает: «Вот подите, а еще еврей!.. Эти европейские еврейчики еще глупее "гоев", не чета они нашим витебским жидам!..» Рубин куда поплосше Вайнштейна, судит о нем несколько примитивно, но цену его еврейскому космополитизму знает точно. «...Вайнштейн все же не политик, он человек

деловой, с ним куда легче сговориться; притом он еврей, что тоже что-нибудь да значит. Какое, например, дело еврею до государства, до границ, до войны?» важная деталь портрета Вайнштейна — его поразительная сексуальная мощь, не иссякающая и в старости. Его презрение к «гоям» — лишь часть всеобъемлющего презрения к человеку: «Он верил только в одно — в человеческую глупость. Деньги можно делать только из человеческой глупости. Люди бестолковы... Люди драчливы... Люди трусливы, стоит только науськать их друг на друга, а кто смеется? — хозяин — Вильям, он же Вульф Вайнштейн». Но для чего он трудится беспрерывно, этот Сатана XX века? Да «только потому, что ему скучно»! На приеме в его честь он вместо ответной речи, «зевает, зевает громко, надрывно, как зевают только старые еврейки в Витебске, с тоской, право же, тысячелетий, отчаянно, до тошноты, до спазм, до смерти». Эта еврейская скука-тоска у него в крови, и чтобы ее отогнать, он суетится неустанно: «Его кровь требует суеты». Мы не забыли, что писал Эренбург о еврейской крови в «Хулио Хуренито» и в «Ложке дегтя». И словно нарочно в подарок Геббельсу с Гитлером: много раз упоминается о мечте Вайнштейна «уничтожить Германию».

Весьма любопытно сопоставление Вайнштейна с главным его соперником, шведом Ольсоном. Тот, конечно, тоже «акула», но у него есть «идеи»: он хочет обуздать хаос, внести во все строгую организацию, которая создаст всеобщее довольство: он верит в науку, ждет от нее чуда, «разгрузки мира, преодоления всего косного и томительного»; он даже симпатизирует Москве, соглашается, что «в идеях Москвы много справедливого». А Вайнштейн — это сам хаос, дикий, разнузданный, наглый (вспоминается «хаос иудейский» из «Египетской марки» Осипа Мандельштама). Когда Ольсон предупреждает его, что дальнейшая их борьба приведет к катастрофе, он взрывается: «Катастрофа так катастрофа! Кажется, все мы под солнцем ходим. Один конец. Или, может быть, вы на тот свет рассчитываете? Мне во всяком случае наплевать...»

Правда, Ольсон — мертвец, а Вайнштейн — живой. Актриса, за которой Ольсон вроде бы ухаживает и которая переспала с Вайнштейном, бросает шведу: «Он, конечно, гадкий. Он грубый. И он грязный. Но только он живой. Вы вот этого не поймете. Вы мертвый, совсем мертвый...» Но и витальность, «звериное тепло» (название сборника стихов Эренбурга, вышедшего в Берлине в 1924 г.) становится в этом контексте деталью антисемитского мифа, средневекового по истокам, нацистского по конечному счету.

Вот какая выстроилась цепочка: от «младенца с рыжими волосиками» в «Хулио Хуренито» через рыжего Лазика Ройтшванца к «рыжему пакостнику» Вульффу. На исходе цепочки рыжизна обрела свое традиционное в христианской символике значение: цвет нечистого огня преисподней, клеймо дьявола.

Я не знаю биографических обстоятельств Эренбурга второй половины 1929 г. и первой половины 30-го, которые могли (или помогли) бы объяснить происхождение Вульфа Вайнштейна. Но я убежден: если был в писательской жизни Эренбурга факт, шаг, которого он должен был стыдиться до последнего дыхания, так это «Единый фронт». Во всяком случае, никогда он этого романа не переиздавал и ни словом не упомянул о нем в мемуарах.

Со всем тем «Единый фронт» видится мне последним рывком (не сказать ли: последней судорогой?) эренбурговской независимости, или анархизма: пишу, что хочу и как хочу. Далеко не в том дело, что, как уже упоминалось, он связал себя с 1932 г. службой и заработком в «Известиях». Прекращаются размахи маятника, иногда вселяющие ужас в меня, читателя, но всегда вольные, точно и безоглядно выражающие зигзаги эренбурговской «верности». «Илья Лохматый», как прозвал его Ленин, к которому он пришел в Париже свеженьким, только что из России эмигрантом, приглаживает, причесывает свои лохмы — нормализуется, стабилизируется. Я отнюдь не упрекаю его в этом, не говорю, что он продался или предал. Но он стал предсказуем — и в целом, и в том уголке, который, условно говоря, можно назвать

еврейским. Хочу еще раз подчеркнуть: условно, потому что впредь еврейские персонажи и ситуации будут отличаться от нееврейских лишь именами да бутафорскими деталями обстановки или предыстории. Кажется, будто он честно и исправно «отмечается»: не забыл, помню, не отрекаюсь. Но и персонажи, и ситуации, так же как их создатель, — советские, в том значении, в каком это слово заменило прежнее «русский» (заменило и перекрыло, потому что советский народ — не абстракция, а реальность, хотя для многих и непривлекательная по многим причинам, в том числе и по стертости национальных черт и потере национальной памяти); их — персонажей и ситуаций — еврейство есть нечто внешнее, случайное, а иногда и навязанное, акцидентальное, а не субстанциальное, если обратиться к языку философии. Как раз в таком деле высказывается о себе и их создатель в 1936 г. в «Книге для взрослых», где он подводит итоги своего внутреннего перелома, духовного кризиса, начавшегося, указывает он вполне точно, в 1931 г.

Поэтому инженер Шор из «производственного» романа Ильи Эренбурга «День второй», изданного впервые в Париже в 1933 г., ничем для исследователя русско-еврейской культуры не интереснее, чем инженер Маргулиес из «производственного» романа Валентина Катаева «Время, вперед!», появившегося в Москве годом раньше, в 1932 г.; а говоря прямо — совсем неинтересны оба, и в одинаковой мере, хотя первого написал еврей, а второго — чистокровный русский, православный и даже дворянин. И так же неинтересна вся долгая вереница еврейских персонажей в романах, повестях и рассказах Эренбурга 30-х — 50-х годов, вплоть до Осипа Альпера в «Буре» (1947 г.) и «Девятom вале» (1951–1952) и даже доктора Веры Шерер в «Оттепели». Если они и любопытны, то совсем в ином контексте — в контексте истории общественных умонастроений (еврейские образы в советской литературе), в контексте биографии русского советского писателя Ильи Эренбурга.

Нет ничего интересного для исследователя русско-еврейской культуры и в общем взгляде Эренбурга на еврейство, сложившемся, как мне представляется, еще в пору «Книги для взрослых», но сформулированном четко лишь после войны и после смерти Сталина. В январе 1961-го, в речи, произнесенной по московскому радио в связи с собственным 70-летием, он сказал: «Я русский писатель, но, покуда на свете будет существовать хотя бы один антисемит, я буду с гордостью отвечать на вопрос о национальности: еврей». Не русский писатель и еврей, как Василий Гроссман «Жизни и судьбы», а русский писатель, но в ответ на антисемитизм — еврей. Позиция, весьма широко распространенная и среди тех, кого в сегодняшней России именуют «советскими гражданами еврейского происхождения», и среди тех, кто эмигрировал в последние два десятка лет. Но вдумаясь: в ней нет ничего еврейского, в этой позиции, это действительно азы человечности, как выразился Эренбург в мемуарах. Когда Евгений Евтушенко в знаменитом «Бабьем Яре» восклицает:

Еврейской крови нет в крови моей.  
Но ненавистен злобой заскоружлой  
Я всем антисемитам, как еврей,  
И потому — я настоящий русский,

— я вижу в нем преемника старой традиции старой русской интеллигенции, традиции Короленко, Горького и далее, вплоть до Ахматовой, которую я имел честь и счастье знать лично и которая ненавидела юдофобов не менее страстно, чем Эренбург.

Эренбург после «Единого фронта», «нормализованный» Эренбург, бесспорно, принадлежит еврейской истории, и место его в ней — бесспорно, значительно, что я и пытался показать в первой половине своего очерка. Но попытки приближения к еврейской культуре и ментальности (как бы ни были различны исходные позиции для таких попыток, от зачарованной почтительности до яростного отрицания) кончились. И потому на «Едином фронте» приходится закончить и мне.



## ЖАБОТИНСКИЙ – РУССКИЙ ЖУРНАЛИСТ<sup>12</sup>

**И**мя Владимира Евгеньевича (Зеева) Жаботинского (18 октября 1880, Одесса — 4 августа 1940, Хантер, штат Нью-Йорк) известно, по моему убеждению, любому еврею, сознающему свою этническую и культурную принадлежность. Напротив, нееврейский мир (включая, боюсь, и славистов, и даже русистов) знает о нем слишком мало или вообще ничего. Поэтому, прежде всего, необходимо представить его, хотя бы в нескольких словах.

В памяти евреев Израиля и диаспоры он живет, главным образом, как один из отцов-основателей еврейского государства, один из великих лидеров сионизма, основавший и возглавивший правое, антисоциалистическое течение в сионистском движении. Менахем Бегин — последователь и ученик Жаботинского; партия Бегина, Херут, основное ядро правоцентристского блока Ликуд, выводит свою родословную от партии сионистов-ревизионистов, созданной Жаботинским. (В какой мере эта родословная верна и, особенно, в какой мере верен сегодняшний Ликуд идеологии, стратегии и тактике Жаботинского, — проблема для политолога, а не для историка литературы; равно как и долгая, полная драматизма, более того — трагизма, борьба бунтаря Жаботинского против сионистского эстаблишмента, борьба, не прекратившаяся и со смертью бунтаря, выходит далеко за пределы интересов литературоведа.)

---

<sup>1</sup> Первоначальный (краткий) вариант настоящей статьи был подготовлен мною для периодического издания факультета журналистики Тель-Авивского университета Кешер (Связь).

<sup>2</sup> Впервые: Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 31, n°1, Janvier-Mars 1990. pp. 61–75. (*Примечание Ж. Х.*)



Для литературоведа же Жаботинский был, в первую очередь, выдающимся литератором, писавшим на восьми языках. Первое место среди этих восьми, бесспорно, принадлежит русскому, и не только хронологически, но и по объему созданного, и — что, пожалуй, самое главное — по той исключительной роли, которую играл русский язык в эмоциональной и интеллектуальной жизни этого полиглота. Русский был его родным языком, и до конца своих дней Жаботинский сохранил с ним интимнейшую связь, выражал на нем свои самые важные и сокровенные мысли — и как публицист, и как художник. Замечу сразу: по моему глубокому убеждению, в русско-еврейской публицистике не было и нет мастера слова, равного Жаботинскому. В этом жанре русско-еврейской словесности ему принадлежит то же место, что Бабелю в литературе собственно художественной.

Жаботинский учился в гимназии в родном городе, в Одессе. Не закончив гимназического курса, он уехал за границу, где провел около трех лет (1898–1901), главным образом — в Италии. Вернувшись в Россию, жил и работал сперва в Одессе, а с 1903 в Петербурге. Наряду с журнализмом, к этому первому, российскому периоду его жизни относятся превосходные поэтические переводы (самые известные — из Хаима Нахмана Бялика, с иврита), пьесы (самая удачная — «Чужбина», написана в 1907–1908, опубликована в 1922, в Берлине), рассказы (Жаботинский-прозаик, как мне представляется, намного уступает публицисту). С 1903 он самым активным и непосредственным образом участвовал в российском и мировом сионистском движении и даже провел, по поручению Всемирной сионистской организации, около года в Турции (1909–1910), руководя сионистской прессой в этой стране, только что пережившей революцию.

В самом начале Первой мировой войны Жаботинский оставил Россию (поначалу — как зарубежный корреспондент большой московской газеты либерального направления Русские ведомости). Вторая — и большая — половина его творческой

жизни прошла в разных странах и на разных континентах, но, где бы он ни жил, в Париже или в Тель-Авиве, в Лондоне или в Нью-Йорке, вся целиком была посвящена и подчинена одной цели — воссозданию еврейского государства. Поразительно, как этот человек, чудовищно перегруженный политической работой — организационной, журналистской, лекторской, — умерший в одночасье от переутомления, как ухитрялся он урывать минуты для художества. Однако — ухитрялся: в эти годы написана его лучшая проза, роман «Пятеро» (журнальная публикация: 1932–1934; отдельное издание: 1935, Париж), написаны также исторический роман «Самсон Назореп» (журнальная публикация: 1926–1927; отдельное издание: 1927, Берлин), мемуарное «Слово о полку. История Еврейского легиона по воспоминаниям его инициатора» (Париж, 1928), несколько рассказов. В те же годы созданы немногочисленные, но замечательные, я думаю, стихотворения (одно из них, в авторском чистовике помеченное 15 февраля 1926 и не озаглавленное, а в парижском сборнике 1930 года «Стихи. Переводы — плагиаты — свое», названное «Мадригал», мне видится подлинным шедевром). Что же касается журналистики по-русски, то Жаботинский руководил единственным в Европе печатным органом российских сионистов, да и вообще, по сути дела, российских евреев в эмиграции — еженедельником «Рассвет» (Берлин, 1922–1924; Париж, 1924–1934) и писал сам большею частью в каждый номер. Необходимо иметь в виду также, что именно в этот период Жаботинский становится многоязычным литератором, причем вторым первенствующим языком, наряду с русским, становится, понятно, иврит.

О Жаботинском написано очень мало, да и то — главным образом на иврите, о Жаботинском-писателе — ничтожно мало, о Жаботинском же как русскоязычном литераторе — почти ничего. Могу указать лишь статью, Alice Nakhimovsky, «Vladimir

Jabotinsky, Russian writer»<sup>3</sup>. Укажу также единственную фундаментальную работу: Joseph B. Shechtman, «The Vladimir Jabotinsky story»<sup>4</sup>. Нельзя не отметить, однако, что, при всех своих достоинствах, монография Шехтмана носит сугубо апологетический, а в некоторых отношениях — и агиографический характер; ее можно сопоставить с биографией Троцкого, написанной Исааком Дейчером.

\* \* \*

К 50-летию Жаботинского вышел особый номер Рассвета, целиком посвященный юбиляру. В хоре поздравляющих был один русский голос — писателя Михаила Осоргина (1878–1942), старого, еще по России знакомого, а в ту пору (1930) парижанина, как и сам Жаботинский. В коротком приветственном слове, озаглавленном «Иностранцу Жаботинскому», Осоргин пишет:

Я поздравляю евреев, что у них есть такой деятель и такой писатель. Но это не мешает мне искреннейшим образом злиться, что национальные еврейские дела украли Жаботинского у русской литературы. Когда-то мы оба работали в «Русских ведомостях»: Владимир Евгеньевич писал там ... довольно часто и аккуратно, потом стал писать реже и менее охотно. В шестнадцатом году мы встретились в Лондоне, — и вот тогда, после какого-то разговора, я почувствовал, что мы, русские, теряем Жаботинского. И действительно, потеряли: с той поры он отдаст нам только редкие досуги, он стал для нас иностранцем ... От русских тем, от малейшего участия в делах и интересах страны, которая была его родиной, он воздерживается с тактом старого европейского дипломата. Да, этот

---

<sup>3</sup> Alice Nakhimovsky, «Vladimir Jabotinsky, Russian writer», *Modern Judaism*, May 1987, pp. 151–173.

<sup>4</sup> Joseph B. Shechtman, *The Vladimir Jabotinsky story*, 1–2, 1<sup>st</sup> ed, New York, T. Yozeloff, 1956–1961; 2<sup>nd</sup> ed., *The life and times of Vladimir Jabotinsky*, 1–2, Silver Spring, Eshel Books, 1986.

большой человек не хочет и не может быть ассимилятором. Предоставляю вам гордиться таким его качеством, но сам я радоваться этому не способен. В русской литературе и публицистике очень много талантливых евреев, живущих — и пламенно живущих — только российскими интересами. При моем полном к ним уважении, я все-таки большой процент пламенных связал бы веревочкой и отдал вам в обмен на одного холодно-любезного к нам Жаботинского.<sup>5</sup>

Так воспринимал Жаботинского русский человек и литератор Михаил Осоргин. Тридцать пять лет спустя другой русский человек и литератор, Корней Чуковский (1882–1969) припомнит в частном письме из Москвы в Иерусалим: в начале века.

Жаботинский, печатавший фельетоны в газете «Одесские новости» под псевдонимом «Altalena», ... казался мне лучезарным, жизнерадостным, я ... был уверен, что перед ним широкая литературная дорога. Но вот прогремел в Кишиневе погром. Володя Жаботинский изменился совершенно. Он стал изучать родной язык, порвал со своей прежней средой, вскоре перестал участвовать в общей прессе.<sup>6</sup>

При различии в хронологии схема восприятия та же: до известного времени (1916 или 1903) был русский журналист и писатель, потом ушел в свое, еврейское писательство.

Прежде всего, напомним фактическую сторону дела, вот уже больше десяти лет общедоступную благодаря библиографии, составленной Исраэлем Еваровичем и изданной Институтом Жаботинского в Тель-Авиве в 1977<sup>7</sup>. По всей вероятности, не требует даже беглого упоминания то, что до апреля 1903 (первый Кишиневский погром) Жаботинский был далек не только

---

<sup>5</sup> М.А. Осоргин, Иностранцу Жаботинскому, Рассвет, 42, 1930, С. 22.

<sup>6</sup> Рахель Павловна Марголина и ее переписка с Корнеем Ивановичем Чуковским, Иерусалим, 1978, С. 11.

<sup>7</sup> Israel Yevarovitch, Kitvey Ze'er Jabotinsky, Bibliographiah, Tel Aviv, 1977.

от сионизма, но и от еврейского самосознания в какой бы то ни было серьезной его форме. В эту пору перед нами сотрудник двух русских газет в Одессе, сначала, до середины марта 1900 — «Одесского листка», затем — «Одесских новостей». (Тут два не совсем ясных пункта.

1.) Редактор «Одесских новостей» И. Хейфец, вспоминая эмиграции, в Париже, в том же юбилейном номере Рассвета, о своих первых встречах с Жаботинским, утверждал, что Жаботинский начинал в 1898 у них и печатался «периодически», в «Листок» же перешел потому, что собрался за границу, а «Новости» не пожелали «назначить ему минимальное жалованье» в качестве собственного корреспондента из Рима, между тем как «Листок» на этот риск пошел. Еварович, однако, приводит лишь два названия, появившиеся в «Одесских новостях» в 1898, и оба — корреспонденции из Швейцарии, по пути в Италию, причем один из двух материалов снабжен подзаголовком: «От нашего бернского корреспондента».

2.) Сам Жаботинский в автобиографическом очерке «Повесть моих дней» (1936) сообщает о своем первом заграничном периоде (189–1901): «Мои статьи стали печататься в петербургском “Северном курьере”, либеральной газете, издаваемой князем Барятинским...». И опять-таки: у Еваровича никаких следов сотрудничества Жаботинского в «Северном курьере» нет. Упоминаю об этих двух неясностях, чтобы с самого начала показать, как ограничены возможности исследователя, не имеющего доступа к русской периодике во всем ее объеме, к библиотечным — не говоря уже об архивных — фондам в Советском Союзе: проверить что бы то ни было *de visu* невозможно).

Возвратившись из-за границы, Жаботинский становится постоянным сотрудником «Одесских новостей» — ведет ежедневный (!) фельетон (в тогдашнем смысле этого слова — свободные по форме заметки и комментарии по поводу самых разнообразных текущих событий). До конца 1903, за редчайшими

исключениями, которыми можно пренебречь, он печатается только в этой газете.

1904 — начало петербургского периода в жизни Жаботинского и дебют в еврейской печати (юношеское стихотворение «Город мира», появившееся в Восходе в ноябре 1898, — решительно не в счет). Он сотрудничает в петербургских «Еврейской жизни» (ежемесячник, 1904–1907), «Хронике еврейской жизни» (еженедельник, 1905–906) и «Рассвете» (еженедельник, 1907–1915; последние публикации Жаботинского — 1913), а также в одесской «Еврейской мысли» (еженедельник, 1906–1907). Но, сделавшись еврейским публицистом, он не перестает сотрудничать в русской (общероссийской) прессе, и, сколько можно судить, в количественном отношении «русская продукция» перевешивает еврейскую<sup>8</sup>. До начала Мировой войны он исправно посылает корреспонденции в «Одесские новости»; он пишет для «Ежедневной Руси» — две статьи в неделю (мы знаем об этом из «Повести моих дней»: ни автор этих строк, ни даже Еварович ни одного материала из «Руси» никогда не видели); он выступает как гость, гастролер в ежемесячнике «Образование» (один материал в октябре 1904), еженедельнике «Украинский вестник» (два материала в июле 1906), ежемесячнике «Новое слово» (в качестве беллетриста, с повестью «Диана», в мае 1910), ежемесячнике «Русская мысль» (один материал в январе 1911), ежемесячнике «Современник» (один материал в феврале 1911), библиографическом еженедельном обозрении «Журнал журналов» (один материал в феврале 1912), а также с серией заметок в ежемесячнике «Вестник Европы» (июль, август и сентябрь 1912; к этому надо прибавить большую статью, напечатанную в двух номерах, сентябрьском и октябрьском, следующего, 1913 года). Сразу после того, как разразилась

---

<sup>8</sup> Так, в 1911 Жаботинский напечатал в «Одесских новостях» 44 материала, а в «Рассвете» только 1; в 1911 в «Одесских новостях» — 40, в русско-еврейской периодике — ни одного; в 1912 в «Одесских новостях» — 44, в «Рассвете» — 1 (по данным Еваровича).

Мировая война, Жаботинский становится заграничным корреспондентом ежедневной газеты «Русские ведомости» и уже 3 сентября 1914 его первая корреспонденция из-за рубежа появляется на страницах «Ведомостей». Вплоть до лета 1917 он регулярно и неукоснительно выполняет свои обязанности перед газетой, и материалы его чаще всего помечены: «от нашего корреспондента».

Таким образом, почти до самого крушения старой России Жаботинский оставался русским журналистом, обращавшимся к широкому кругу российских читателей. Или иначе: еврейский журналист уживался в нем с журналистом русским.

Но и в последние два десятилетия своей жизни ему случилось возвращаться в русскую журналистику. Разумеется — не в Советской России, а в эмиграции. В самой распространенной и, по-видимому, самой влиятельной газете русской эмиграции, парижских «Последних новостях», Жаботинский напечатал в 1926–1939, по меньшей мере, 19 статей, специально для этой газеты написанных и именно на ее читателя рассчитанных. В 1937 «Современные записки», лучший, по общему мнению, «толстый» журнал русской эмиграции, опубликовал статью «Бунт стариков»; это была последняя публикация Жаботинского в русских журналах.

Такова количественная, или, если угодно, формальная сторона дела. Теперь попытаемся присмотреться по существу. Ведь вполне естественна и хорошо известна ситуация, когда еврейский литератор выступает в нееврейских органах печати, обращаясь к нееврейскому читателю — исключительно (или по преимуществу) в качестве еврея.

До 1903, как уже сказано, вопрос о еврействе Жаботинского вообще не встает. Он — русский, или россиянин, или, еще точнее, одессит, что в его собственном понимании, много раз на протяжении жизни формулировавшемся и уточнявшемся, означало особую породу россиянина. Его корреспонденции из-за границы (главным образом из Рима) — это самые

разнообразные и разнородные зарисовки, способные и долженствовавшие заинтересовать одесскую публику: внешняя и внутренняя политика Италии (включая парламентские дебаты), католическая церковь и папство, студенческая жизнь и рабочее движение, мафия, жизнь улицы, уголовная хроника, дуэли, самоубийства и т. п. Если наблюдается преобладающий интерес, то, пожалуй, только к театру, да еще, в чуть меньшей мере, к литературе, изящной словесности. Вполне понятно, особое внимание уделяется соотечественникам, например, русским художникам, обосновавшимся в Риме на время или навсегда. Единственный еврейский материал, о котором сообщается у Еваровича, — это «Письмо из Рима» с подзаголовком «Римское гетто» («Одесский листок», 3 апреля 1899). Этот текст доступен: фотокопия хранится в Институте Жаботинского. Чрезвычайно показательно уже самое его начало: мы знаем итальянскую литературу много лучше, чем итальянцы — нашу, русские журналы в Риме найти очень трудно, автор счастлив, что ему удалось раздобыть номер петербургского ежемесячника «Русское богатство», там он прочитал рассказ Зангвилля «Мечтатель», и, «так как действие происходит в римском гетто, поговорим об этом любопытном уголке Вечного Города». Не еврейский, а чисто русский интерес приводит российского студента, восемнадцатилетнего Владимира Жаботинского, в еврейский квартал Рима, и с обитателями его он себя никак не отождествляет. От отмечает с удовлетворением: «Современный режим даст им полную равноправность. Антисемитов в Италии нет, а клерикалы занимаются этой специальностью только между прочим, так что ассимиляция происходит довольно быстро.»

Зато дважды на протяжении коротенькой заметки он дает почувствовать свою принадлежность к Одессе: «...бассейн у фонтана утилизирован для помойной ямы (по-одесски "смытник")...» и «...и здесь гетто дает, выражаясь по-одесски, "старовешников"».



Тем же равнодушием к еврейству одесского журналиста (как, по-видимому, и его читателя, в значительной части еврейского, но безвозвратно — как казалось! — ассимилированного) отмечены и последовавшие два года без малого, до лета 1903. В массе ежедневных (или почти ежедневных) публикаций мелькнет изредка еврейский сюжет: о терпимости к антисемитизму, о выступлении в Одессе Павла Вейнберга (мастера жанра так наз. «еврейских рассказов», т. е. юдофобских анекдотов, главную «солью» которых было вульгарное передразнивание еврейского акцента), о еврейских экстернах (жертвах процентной нормы в гимназиях, пытавшихся получить аттестат зрелости, сдавая экзамены за весь гимназический курс сразу). В сентябре 1902 он печатает статью под заглавием «О сионизме», в том же месяце пишет о Крушеване (одном из главных виновников будущего Кишиневского погрома, журналисте-провокаторе и подстрекателе); дважды (в сентябре и ноябре) комментирует дело Дрейфуса. Даже события в Кишиневе не ведут, по-видимому, к быстрой и резкой перемене. С мая по декабрь 1903 Еварович отмечает сто материалов, напечатанных в «Одесских новостях»; из них еврейской теме отведены около 10%. Это совсем немного, если иметь в виду возросший после погрома интерес всей русской читающей публики к еврейскому вопросу. Но чрезвычайно важен другой факт: Владимир Жаботинский впервые выступает на страницах русской газеты в роли еврейского журналиста. Хотя его статьи о 6 (Базельском) Конгрессе сионистов помечены «От нашего корреспондента», он был на Конгрессе не представителем печати, а делегатом от одесского сионистского кружка «Эрец Йисраэль». В октябре (следующий после Конгресса месяц) он печатает в трех номерах «Одесских новостей» свой первый опыт сионистской публицистики «Гетто», который в том же году вышел в Одессе отдельной брошюрой под названием «Чужие. Очерки одною «счастливого» гетто. Посвящено всем недругам Сиона». А в декабре «Одесские новости» публикуют статью о провале угандийского проекта (плане создания

еврейского национального очага в Уганде) с подзаголовком: «Голос сиониста». Итак, вне всякого сомнения, еврейский журналист Жаботинский рождается в рамках не специализированной еврейской прессы, но общерусской печати.

Дальнейшее развитие — вплоть до самого конца — представляется идущим по трем линиям: 1. русский журналист (ставлю эту линию на первое место не по важности ее, но в силу темы настоящей статьи); 2. еврейский журналист в еврейской периодике; 3. еврейский журналист в русской периодике. Начнем с последней из трех.

«Со стороны. К вопросу о национализме (ответ г. Изгоеву)» — это статья в октябрьском номере «Образования» за 1904. С Изгоевым (Александром Соломоновичем Ланде), публицистом и правоведом марксистских убеждений (после революции 1905–1907 Изгоев раскается в них, станет одним из авторов знаменитого в истории русской общественной мысли сборника «Вехи»), Жаботинский уже полемизировал и раньше — еще в «Одесских новостях» (Изгоев-Ланде учился и жил в Одессе до 1906, Жаботинский называет его «почтенным одесским публицистом»), и уже в Петербурге, в «Еврейской жизни» (3, 1904, статья «Наши критики»). Теперь он пользуется случаем встретиться с Изгоевым «на его поле», в журнале, где тот напечатал статьи «Двадцативековая трагедия» (11, 1903) и «О национальной обособленности евреев» (8, 1904). До 1907 «Образование» было вполне марксистским органом, боролось с народниками, публиковало большевиков, один раз — даже самого Ленина. Антисионизм Изгоева вполне отвечает общему направлению журнала. И Жаботинский, с самого начала заявив о своих сионистских убеждениях, сосредоточивается не на тех или иных спорных взглядах Изгоева по еврейскому вопросу, но на изложении национальной платформы сионизма (как он ее видит) — в противоположность марксистской:

И пишу я эти строки только потому, что слишком многие ошибочно считают спор о национальностях уже решенным, тогда как он сше даже толком не поставлен. Единственная цель моя — попытаться напомнить такому читателю, что вопрос о происхождении, сущности, правах и будущности рас и наций еще совершенно открыт и — по-моему — именно теперь застуживает самых пытливых умственных усилий со стороны интеллигенции, как мыслящей, так и пишущей. (С. 90)

Изложение нееврейскому читателю общей (стратегической) еврейской позиции может сочетаться с постановкой конкретных (тактических) задач. Характерны в этом отношении две статьи в Украинском вестнике, еженедельнике украинских националистов, выходившем в Петербурге в 1906. Во второй из них, «Non multum, sed multa», (9, 16 июля) говорится о «роли еврейского населения Галиции в тамошней польско-украинской борьбе» и, после обзора фактов, делается заключение:

Я не оптимист и не верю в «любовь» между нациями. В частности, нисколько не скрываю от себя, что между евреями и украинцами в Галиции существует антагонизм <...> Но здесь я и не взываю к «любви». Я констатирую совпадение интересов в данный момент у галицких украинцев и галицких евреев. Идя каждый своей дорогой, они сегодня могут друг другу помочь. Это и надо сделать. (С. 648–649)

Но на самом деле не в Галиции суть — Галиция далеко, в чужом государстве, в Австро-Венгерской империи. Суть в том, чтобы эвентуальный союз евреев с украинцами в Галиции послужил примером и прецедентом:

А когда придет время заговорить в Российском парламенте об автономии Польши, тогда и украинцы, и евреи сами вспомнят и другим напомнят о Галиции. Ни у первых, ни у вторых не вырвется, конечно, ни одного слова

против самых широких полномочий варшавскому сейму. Царство Польское должно быть автономно, как должна быть автономна и Литва, и Украина, и Белоруссия. Но вопрос о неприкосновенных правах национального меньшинства должен быть решен предварительно в общегосударственном парламенте и для всей территории государства. (С. 650)

Последняя фраза позволяет понять истинный смысл первой статьи, «Точка над і» (7, 2 июля), где говорится о соотношении полномочий «всероссийского законодательного учреждения» и местных «национальных собраний» и которая, на первый взгляд, никакого касательства к специфически еврейским заботам не имеет. Но это, как мы убеждаемся, — только на первый, поверхностный взгляд.

Несколько иной тип выступления еврейского публициста в русской прессе — информационный по преимуществу. Укажем для примера на две статьи: «Еврейство и его настроения» (под «шапкой» «Письма о национальностях и областях») в либеральном, кадетском ежемесячнике «Русская мысль», руководимом Петром Струве (1, 1911), и «Польско-еврейский спор» в февральской книжке «Современника» за тот же год (ежемесячник, основанный Максимом Горьким, социалистического направления, близкий как к социал-демократам, так и к эсерам, т. е. социалистам-революционерам). Первая — об идейном и организационном разброде после неудачи революции 1905–1907, вторая — о «серьезном конфликте двух народностей, давно уже назревавшем и обусловленном всем ходом внутренних отношений в Польше за последнее время» (С. 232). Я сказал: «по преимуществу». Действительно, чистой информацией дело, разумеется, не ограничивается; Жаботинский и убеждает, и спорит, и старается приобрести союзников. В первой из двух статей он резко оспаривает точку зрения редактора, П. Б. Струве, видевшем в России (включая и Россию будущего) «национальное государство», а не «государство национальностей». В

заключение второй статьи он заверяет оппозицию в том, что евреи останутся «верны русской демократии в ее успехе и в ее неудаче, в ее расцвете и ее упадке. Останутся верны потому, что верят в чистоту и прямоту ее демократической мысли.» (С. 253).

К еврейской публицистике я бы отнес и такие выступления по национальному вопросу, в которых собственно еврейская проблема играет минимальную роль, например — большую (50 журнальных страниц) статью «Самоуправление национального меньшинства» в двух номерах либерального, западнического ежемесячника «Вестник Европы» (сентябрь и октябрь 1913). Как и бундовец Владимир Медем, выступивший в том же журнале годом раньше со статьей «К постановке национального вопроса в России», Жаботинский опирается на опыт Австро-Венгрии (и, в отличие от Медема, также Турции, после младотурецкой революции 1908), в гораздо меньшей мере, чем Медем, обращается к конкретным российским ситуациям; но и сионист Жаботинский, и социал-демократ Медем занимаются вопросами теории многонационального государства именно и только ради практических задач, стоящих перед их собственным народом.

Но самые мощные и яркие образцы еврейской публицистики Жаботинского в нееврейских органах печати — это, вне всякого сомнения, фельетоны, которые он сам выбрал для одноименного сборника, появившегося двумя изданиями в Петербурге в 1913 и третьим дополненным изданием в Берлине в 1922. (Тут следовало бы еще назвать сборник «Causeries», выпущенный Жаботинским в Париже в 1930, но собранные там эссе почти целиком вышли из-под пера русского литератора, как по темам, так и по трактовке, речь о них пойдет ниже.) Газетно-журнальные источники этих фельетонов установлены Еваровичем не полностью, но и то, что удалось установить, — достаточно красноречиво. Из 37 текстов обоих — петербургского и берлинского — изданий 22 открыто и несомненно еврейских, т. е. еврейских и по материалу, и по точке зрения. По меньшей мере половина их впервые увидела свет на страницах «Одесских

новостей» в 1908–1912, в том числе такие шедевры, как «О "евреях и русской литературе"», «Номо homini lupus», «Наше бытовое явление» и «Четыре сына». Но ведь в те же годы Жаботинский сотрудничает в сионистском «Рассвете», где также печатаются некоторые из самых знаменитых фельетонов (например, «Русская ласка», впервые под заголовком «Наброски без заглавия», Рассвет, 13–14, 1909), — а вот достаточно часто отдает предпочтение общерусскому органу перед специальным еврейским. С другой же стороны, в этом самом общероссийском органе он продолжает выступать столь же часто, если не чаще, как публицист русский, с русской (или общероссийской) точки зрения комментирующий внешне- и внутреннеполитические события, явления культурной жизни. Конечно, еврейская Одесса составляла примерно треть городского населения, но и со всем тем Одесские новости ни в какой мере не были ни еврейской, ни, того менее, сионистской газетой. Можно предположить, что Жаботинский как бы расщепляет свой журналистский облик надвое ради того, чтобы найти доступ к ассимилированной части еврейской интеллигенции, которая еврейской прессой не интересуется, в руки ее не берет.

Нужно еще заметить, что в сборнике «Фельетоны» есть группа текстов, занимающих промежуточное положение между еврейскими и общероссийскими, — они направлены против национального нивелирования, или, говоря попросту, русификации, в защиту национальных культур и языков, прежде всего, украинского. Таковы, в частности, «Фальсификация школы», «О языках и прочем», «Урок юбилея Шевченко»; все три были напечатаны впервые в «Одесских новостях» в 1910–1911; все три — тоже своего рода шедевры: шедевры мощи слова и прозорливой живучести мысли. Как и названные выше еврейские шедевры, они и сегодня, почти восемьдесят лет спустя, властно тревожат сердце и ум любого народа под имперским гнетом в любой его форме. Таково, по крайней мере, мое убеждение, и я уверен, что, будь эти статьи переведены на языки сегодняшней

Российской (Советской) Империи — украинский, белорусский, литовский и т. д., — они звучали бы как злободневнейшие листовки сегодняшних националистов. Так же точно, как звучат они в ушах национально ориентированной части российского еврейства.

Теперь обратимся к русскому журналисту в прямом смысле слова.

Жаботинский посылает в Одессу из Петербурга корреспонденции о столичной жизни, о русско-японской войне, о положении русских студентов в Германии, отвечает на упреки читателей, недовольных тем, что он «бросил» Одессу... Находясь в Турции (кстати: в «Повести моих дней» Жаботинский сообщает мимоходом, что в первый раз в Константинополь его послала «одна петербургская газета», из монументального биографического труда Иосифа Шехтмана<sup>9</sup> мы узнаем, что это была та же «Русь», о которой упоминалось выше, но в библиографии Еваровича это не отражено, да и сам Шехтман на материалы в Руси не ссылается), пишет о положении в этой стране, о различных аспектах внешней политики европейских держав в связи с Оттоманской Империей. Пишет о дебатах в Думе, о политических партиях, о кончине Льва Толстого, о политике Столыпина, о неизбежно надвигающейся великой войне (пророческая статья «Гороскоп» от 1 января 1912), о пороках школьного образования, губящего детей, о Гучкове, о суфражистках. По-прежнему охотно и часто пишет о театре и литературе. (Говоря о «русском» Жаботинском в «Одесских новостях» между 1904 и 1914 ни в коем случае нельзя упускать из вида, что материалы, выбранные им для «Фельетонов», составляют лишь малую долю еврейской тематики, нашедшей себе место в газете; иначе говоря, «еврейский» Жаботинский представлен в эту пору очень широко, пожалуй — наравне с «русским».)

---

<sup>9</sup> J. B. Shechtman, *op. cit.*, I, P. 151.

Во время войны Жаботинский, сколько мы можем судить, в русско-еврейской прессе не появлялся. С сентября 1914 по апрель 1917 он печатается в «Русских ведомостях» регулярно и в «Одесских новостях» от случая к случаю, по всей видимости, крайне редко. Таким образом, формально военный корреспондент Жаботинский принадлежит русской прессе на все 100%. Однако все известные нам по Еваровичу (и отчасти непосредственно) материалы в «Одесских новостях» — еврейские: посвящены Палестине, по преимуществу. Что касается «Русских ведомостей», то здесь следовало бы различать корреспонденции фронтовые и тыловые. Последние много богаче и тематически и размышлениями, что, впрочем, вполне естественно. Пристально и внимательно приглядывается Жаботинский к арабам по всей Северной Африке и Ближнему Востоку, включая Палестину и Сирию, сопоставляет английскую и французскую системы колониального управления и результаты воздействия обеих на местное арабское население. Встречаются и материалы еврейского содержания, но в минимальных дозах, как то и должно быть в русской столичной газете (профессиональная добросовестность, даже щепетильность Жаботинского, за какое бы дело он ни брался, известна каждому, кто знаком с его биографией); назову для примера корреспонденцию «Габбари» — о еврейском беженце в Египте (напечатана 10 апреля 1915). Особенно хороши, пожалуй, корреспонденции из Англии, потому, может быть, что Жаботинский особенно тонко понимал и во многом высоко ценил англичан; доказательства этому мы находим в его послевоенной еврейской публицистике — в «Рассвете» (см., например, «Public school boys», «Рассвет», 26–28, 1932). Как бы то ни было, но, выбирая дополнения для берлинского издания «Фельетонов», Жаботинский из текстов военного времени отобрал три, и все три были посланы в свое время (в 1916) в «Русские ведомости» из Лондона. А один, «Сольвейг», видимо, настолько был автору по душе, что он перепечатал его еще раз, в парижском сборнике «Causeries».



Жаботинский во время войны, Жаботинский в «Русских ведомостях» — вероятно, самая богатая по материалу «глава» для темы, которая вынесена в заголовок этой статьи. Беда только в том, что материал доступен в очень малой своей доле. И напротив, послевоенный Жаботинский как русский журналист количественно весьма скромен, зато доступен в полном объеме. Соответственно возможен полный обзор текстов, напечатанных в парижских эмигрантских «Последних новостях», газете либерального направления, которой руководил лидер бывшей партии кадетов (конституционных демократов) Павел Милюков. К этому обзору мы и приступим.

В 1926, после первой поездки в США, Жаботинский печатает в «Последних новостях» два больших материала — «Amérique à un mètre» и «Ещё об Америке»: это начало сотрудничества. В следующем, 1927 появляется «Письмо в редакцию», озаглавленное «Петлюра и погромы». 1928: две статьи — «Горный Прованс» с подзаголовком «Материалы для доклада в географическом обществе» (подзаголовок, понятно, иронический) и рецензия на роман Михаила Осоргина «Сивцев Вражек», озаглавленная «Особнячок и вселенная». 1931: самый обильный публикациями в «Последних новостях» год. В том году была опубликована серия из четырех статей о Южной Африке (в марте-апреле предыдущего, 1930, Жаботинский впервые побывал в этой стране; статьи печатались в феврале-октябре 1931; когда они писались, мне неизвестно): «В дни Крюгера и Девета. (Из Южно-Африканских впечатлений)», «В Южной Африке», «В Южной Африке. Буры» и «В Южной Африке. Негры». К этим четырем прибавляются дорожный репортаж «Час на Мадере» и пространный политический анализ «Палестинский кризис» — об антиеврейских беспорядках 1929, последующих расследованиях, «Белой книге» 1930 и т. д. 1932: «Кризис пролетариата» (замечательный политэкономический памфлет об изменившейся роли труда в процессе производства), «Угроза Ганди» (о положении в Индии в связи с предстоящими

выборами в «областные парламенты»), «Трактат о правописании» (наполовину ироническое, наполовину серьезное и, во всяком случае, провокационное предложение отменить все правила орфографии). 1933: «Х. Н. Бялик. К 60-летию еврейского поэта» (на почетном месте — на первой полосе, сразу под названием газеты) и «О романе Фейхтвангера» (рецензия на «Иудейскую войну», первую часть трилогии об Иосифе Флавии). 1934: «Ответ “Социалистическому вестнику” (Письмо в редакцию)» (журнал меньшевиков в эмиграции обвинил сионистов-ревизионистов в «фашизме» и «терроризме», а «Последние новости» — в том, что все еврейское в газете подается с точки зрения ревизионистов). 1937: «О “Вольном каменщике” М. А. Осоргина» (рецензия). И, наконец, 1939, 22 марта: «Старшина эмиграции» (к 80-летию П. Н. Милюкова, на том же почетном месте, где за шесть лет до того была напечатана статья к юбилею Бялика).

Уже перечень названий и тем показывает знакомую по «Одесским новостям» расщепленность. В обоих «Письмах в редакцию» и в «Палестинском кризисе» выступает — с открытым забралом — еврейский журналист, убежденный сионист, объясняющий русскому читателю за границей свою («нашу») позицию и эту позицию защищающий. Но уже в статье о Бялике голос еврея приглушен; в ней нет ни «мы», ни «наш», это объективная информация и сдержанный, даже чуть холодно-ватый анализ, а не торжество по случаю действительно славного юбилея действительно великого своего, национального поэта. Еще любопытнее в этом отношении статья о Милюкове. Казалось бы, прекрасный случай для еврейского журналиста, но Жаботинский пренебрегает случаем, даже намеком не касается выигрышного сюжета «Милюков и евреи». Вместо того он пишет о политической эмиграции, о ее роли и значении в жизни разных народов и прежде всего, конечно, народа России — не «русских», но «россиян», по его точной и неизменной

терминологии. Очевидным образом к россиянам в изгнании причисляет себя и журналист: он

близко наблюдал на своем веку две политические эмиграции: русскую между 1897 и 1905 и младотурецкую, ... причем ... и в зарубежном их быту, и с точки зрения их влияния на общественное мнение родины. Доходил ли до нас в России непосредственный клич заграничной крамолы?

Общеизвестно, что в основе мировоззрения и мировосприятия Жаботинского лежал не только национализм, но и глубочайший, не принимающий никаких «обязанностей» и «долгов» индивидуализм. Об этом говорит и он сам (в той же «Повести моих дней», например), и все, кто мало-мальски серьезно занимался его жизнью и деятельностью. А с другой стороны, принадлежа — как совершенный человек и еврей XX -го столетия — многим цивилизациям и чувствуя себя, в силу из ряда вон выходящей одаренности, «дома» в разных языковых стихиях, он навсегда сохранил особую привязанность к первой своей цивилизации и первому языку; это также не требует доказательств. Ушедший с головой в национальную и партийную работу, хотя и взятую на себя добровольно, но ставшую неотвратимым жизненным долгом, он изредка разрешал себе вольные передышки. И тогда, вырываясь из многоязыкой сионистской журналистики, которая была его Делом и Судьбою в 20-30-е годы, писал не просто по-русски, но — как «россиянин» для «россиян». Так был написан роман «Пятеро»; так, мне кажется, писались в большинстве и статьи для «Последних новостей».

Ведь не случайность то, что впечатления от поездки в Южную Африку в 1930 отразились только на страницах русской эмигрантской газеты. Впечатления были сильные, размышления, ими вызванные, чрезвычайно интересные. Чтобы не быть голословным, вот доказательство:

Над прекрасной страной висит угроза рока; и легкомыслием было бы подходить к ней с наивным аршином поверхностного либерализма и спрашивать: «в чем тут трагедия? пусть правят черные, когда подрастут культурно, — ведь это их право!» Это не так просто; самое слово — «право» — не такое простое слово. Все, чем прекрасна и богата эта страна, все создано гением белой расы, города и фермы, дороги и гавани и школы, даже и самый грибок брожения в мозгу черного человека. Для кого и для чего белый это все выстроил? Чтобы через сто лет его потомки стали здесь «национальным меньшинством» под властью темнокожих министров? Разве это «право», чтобы государственное наследство переходило от народа к народу по признаку количества, а не по признаку творческого и организаторского дара? ... Самое неудобное на свете то, что почти нигде и никогда нет одной правды, или есть одна для сторон, для каждой своя, но для беспристрастного судьи всегда две, и обе трагические. («В Южной Африке. Негры», 9 октября 1931)

Едва ли можно сомневаться, что Жаботинскому было важно высказать мысли, навеянные поездкой в Южную Африку, но он не счел нужным предложить их еврейскому читателю ни в своем «Рассвете», ни в каком-либо ином еврейском органе на каком бы то ни было языке.

Не случайность, что легкомысленное, ироническое, свободное от всяких «идей» описание летнего путешествия с сыном («Горный Прованс», 6 мая 1928) не нашло себе места нигде, кроме «Последних новостей». Оно подписано «В. Жаботинский», как и все остальное, что появилось в парижской газете, но неотличимо схоже с теми полными радости жизни и чуть высокомерной насмешки заметками, которые часто печатались и пятнадцатю, и двадцатю, и двадцатю пятью годами ранее в «Одесских новостях» и под которыми стоял знаменитый псевдоним: Altalena. Одна из таких заметок была, возможно, и прямым образцом для этой: она называлась «Описание Швейцарии», была опубликована в «Одесских новостях» 31 августа 1911

и перепечатана автором в парижском сборнике «Рассказы» (1930).

Не случайность, что в «Последних новостях» появился материал, помеченный автором при первой же публикации как «Causerie». Этому французскому слову точного русского соответствия нет, примерно оно означает непринужденную беседу, но может быть истолковано и как разговорное с оттенком вульгарности «треп». Поздний (послевоенный) Жаботинский испытывал очевидную привязанность к этой форме публицистики: издавая в 1930 в Париже свое избранное в трех небольших томиках, он именно так озаглавил том, посвященный публицистике. Так вот, в «Рассвете» за все двенадцать лет, что журналом руководил Жаботинский (1923–1934), ни одной *causerie* не найдем. То было поле битвы, а не гостиная или банкетная зала для непринужденной беседы. Хотя и тема, и мысли той *causerie*, о которой я говорю («Кризис пролетариата», 9 апреля 1932), встречаются в статьях Жаботинского, опубликованных в «Рассвете», неоднократно. К этому же «жанру» принадлежит и «Бунт стариков», который Жаботинский опубликовал в другом парижском эмигрантском издании («Современные записки», 63, 1937), — горькие размышления о кризисе классического либерализма XIX века и о верности «стариков», «отцов» (к ним автор причисляет и себя) своим «устаревшим», противоречащим духу тоталитаризма убеждениям. Это несомненная *causerie*, хоть и не помеченная формально.

Едва ли возможно оспаривать, что еврейский публицист Жаботинский воспитался в школе русского журнализма. В ней, в этой школе, сложилась его манера письма, излюбленные им формы, его неподражаемый стог. Но это уже другая тема, требующая особого — специального и детального — исследования. Здесь ограничимся двумя частными наблюдениями.

Вольная, непринужденная манера, свободное течение мысли, одним стовом, то, что ведет к «непринужденной беседе» как, в каком-то смысле, вершине публицистического жанра,

зарождается еще в 1900 в «Одесских новостях» — с появлением красноречивой (и чуть насмешливой) рубрики-заголовка «Вскользь» (по Еваровичу, впервые 1 мая 1900). Под этой рубрикой-заголовком Жаботинский продолжает писать до конца 1912. Аналогичная рубрика — «Наброски без заглавия» — появляется впервые в еврейском еженедельнике «Хроника еврейской жизни» (2 января 1905) и, что особенно примечательно, оттуда перекачивается в «Одесские новости».

Среди непосредственных источников журналистской манеры Жаботинского, среди мастеров, у которых он учился писать, первым надо поставить Власа Дорошевича (1864–1922), «короля репортажа», как его называли, смелейшего реформатора газетного стиля, сломавшего каноны тогдашнего «суконного языка» в прессе. В 90-е годы прошлого века он работал в Одессе, знал Жаботинского лично, мало того — по свидетельству И. Хейфеца, на которое я уже ссылался, именно Дорошевич пригласил недоучившегося гимназиста Жаботинского, собравшегося ехать за границу, быть зарубежным корреспондентом «Одесского листка».

Каждому ясно, что журналистское наследие Жаботинского — одна из ярчайших и самых дорогих страниц в истории еврейской периодики. И чтобы изучить и оценить ее, как она того заслуживает, надо собрать и издать все, что он опубликовал как в русско-еврейских, так и в собственно русских органах печати. Задача неотложная и первостепенно важная.

Université de Genève, 1989



## ЖАБОТИНСКИЙ В ПАРИЖСКОМ «РАССВЕТЕ»<sup>1</sup>

*Хочу предупредить, предуведомить, так сказать, с порога: ни высоколобного «ученого» разыскания, ни главы из биографии великого человека автор этих строк читателю не предлагает. Он предлагает свой восхищенный и даже влюбленный взгляд на публицистику, которая принадлежит к числу высших достижений русско-еврейской словесности за все время ее существования. Разделить этот взгляд или отвергнуть его — дело каждого в отдельности, но автор исходит из того, что слово его обращено к единомышленникам и одиночувственникам: к поклонникам, а еще бы лучше — к обожателям русскоязычного писателя Владимира Жаботинского.*

\* \* \*

Сперва — о «Рассвете».

В истории русско-еврейской журналистики это название оказалось самым популярным, употребляемым всего чаще. Так называлось и самое первое в этой истории периодическое издание (Одесса, 1860–1861), и еженедельник, выходивший в столице, в Санкт-Петербурге и продержавшийся намного дольше, чем его одесский тезка, а именно с 1879-го по 1883 год. Третий

---

<sup>1</sup> Впервые: Русское еврейство в зарубежье. Т. 3 (8). Русские евреи во Франции. Статьи, публикации, мемуары и эссе. Кн. 1. / Редактор-составитель: М. Пархомовский, Д. Гузевич. Иерусалим, 2001. С. 30–43. Вторично и параллельно, в более коротком варианте: Лехаим, 2001. № 10. Курсивом обозначены отрывки, не вошедшие в более короткую версию (в которой нет новых мест по сравнению с этим вариантом). (Примечание Ж. Х.)



«Рассвет», также еженедельник и также столичный, был орган жестко сионистский и прожил даже дольше второго: с 1907 до 1915, когда его закрыла царская цензура; и потом еще год (1917–1918), когда его окончательно прекратила новая, советская власть. И, наконец, «Рассвет» Четвертый, эмигрантский, который и назван в нашем заголовке. Только поначалу он был берлинский, целых два года (1922–1924), а с декабря 1924 до декабря 1934 выходил в Париже. Жаботинский щедро сотрудничал и в петербургском «Рассвете», и в берлинском, но в парижском он был «номером первым» в редакционной коллегии, фактическим главою еженедельника, определявшим и его общую линию и, говоря условно, все детали поведения. А главное — печатался так обильно, как это возможно только «у себя». И то сказать: за всю свою долгую жизнь в русском и русско-еврейском журнализме хозяином дома Жаботинский был лишь в парижском «Рассвете».

*Здесь позволю себе признание: я просматривал/читал парижский «Рассвет» только до 1932 года включительно, комплектов за 1933 и 1934 годы я не видел. Отсюда — приблизительность моих подсчетов. Итак, до конца 1932 года, за семь парижских лет, Жаботинский напечатал в «Рассвете» примерно 270 материалов. Из них подписных, включая постоянный псевдоним Altalena, примерно 165, без подписи — 41, остальные — под другими псевдонимами, перечислять которые мне представляется излишним.*

*Это — количественно. Это — очень много. Случалось, что в одном номере собирались четыре текста Жаботинского. Приведу пример.*

*В № 47 за 1931 год: статья «Calais», три столбца, подписана «В. Жаботинский»; некролог «Л. Гринберг», два столбца, подписан «И. П.»; статья «Артур Шик», два столбца, подписана «М. Г. А.»; информация «Берит Трумпельдор (От бюро Шилтона)», один столбец, без подписи. Номер*

открывает нам возможность бросить первый, беглый взгляд на то, что предлагает Жаботинский своим читателям.

Нельзя упускать из виду, что парижский «Рассвет» (да и берлинский уже, с 1923 года) был и органом, и центром сперва нарождавшегося, а потом и окрепшего движения сионистов-ревизионистов; Жаботинский был и основателем движения, и его вождем. Партийная пропаганда, полемика и апологетика были важной частью его работы в журнале и необходимы любому, кто занимается или хотя бы интересуется сионистским движением в его совокупности, в его прошлом и настоящем. Автора этих строк, однако же, занимает и привлекает не партиец и политик, но великий и неподражаемый мастер сплетения словес и концентрации чувств. Вот почему разъяснение «пунктов», принятых совещанием ревизионистов в Кале, кажутся ему не заслуживающими внимания сегодняшнего читателя, их можно пропустить без сожаления. Упустить из виду.

На «информашке» и останавливаться не стоит. Зато две остальные заметки дарят нам — как бы мимоходом! — Жаботинского, если и не самого-самого, то все же достаточно высокого класса.

В некрологе Леопольда Гринберга, владельца и редактора лондонской "Jewish Chronicle", газете дана высокая оценка, но оговорено, что

читателю, привыкшему к печати русско-еврейского или немецко-еврейского типа, трудно было бы ее оценить по достоинству: для этого надо знать англо-еврейскую среду, в которой всегда чувствовался и теперь еще не выветрился дух несколько провинциальный и в то же время «семейный». Государство и общество их не преследовали — и не интересовались ими; они поэтому, в качестве евреев как таковых, никогда не играли никакой роли в жизни Англии или Британской империи: они были и считали себя «общиной» в самом

тесном смысле этого слова, с общинными интересами — синагоги, раввинат, свадьбы или бар-мицвы в разных уголках страны. ... В эту среду Гринберг начал, с изумительным искусством, вводить терпкий яд еврейского национализма в мировом масштабе. Он сохранил всю «семейную» и «домашнюю» рамку старого журнала. ... Но совершенно исчез тот елейный тон, который делает невыносимым чтение подобных «израэлитические фамилииен-блеттер» на материке — исчезла вечная патриотическая вибрация в тоне статей, постоянное расшаркивание перед отчизной и начальством и местной культурой, исчезло все то довольство «самим собой, своим обедом и женой», которое в американском гетто прозвали «ол-райтничеством...»

По случаю — так и напрашивается сказать «под предлогом» — некролога появляется выполненный несколькими характерными, уверенными, мастерскими штрихами портрет английского еврейства, любопытный и поучительный как сам по себе, так и в связи с магистральной у Жаботинского 20-х — 30-х годов темой Англии, держательницы мандата на Палестину и чуть ли не главного врага сионистов в целом, а ревизионистов в особенности. Отсюда и едкая ирония, ощущаемая непосредственно и безошибочно, но также и породившая типично «жаботинские» формулы типа: «патриотическая вибрация» или «расшаркивание перед отчизной и начальством...» Любое частное обстоятельство способно открыть дорогу к обобщению, к тому, чтобы еще раз вернуться (вернуть читателя!) к главному и основному.

И «главное» — далеко не всегда политика. На странице, в аккурат противоположащей некрологу, напечатаны размышления, вызванные награждением художника Артура Шика высоким польским орденом — в награду за иллюстрирование так называемого Калишского статута. Жаботинский разъясняет, но — не только!

*Калишский статут есть первый по времени исторический документ о правах евреев в Польше; издал его Болеслав Благочестивый, князь Великопольши, в начале 14 века, а потом Казимир Великий утвердил его для всего своего королевства. С этого и началась история польского еврейства; история часто горькая, как всюду в голусе, но, пожалуй, действительно, не совсем такая горькая, как в большинстве стран голуса. Трудно отрицать, что в старину, и еще до совсем недавнего времени, чуть ли не до начала нынешнего столетия, евреи в Польше чувствовали себя как-то больше «дома» нежели в соседних землях; они как-то больше вросли в почву, стали неотъемлемой частью национального «пейзажа», нежели в других местах (кроме разве чешской Праги). Это не означает, что их там «любили»: но ведь и ссориться можно и по-чужому, и по-домашнему. В Польше это было всегда (речь идет о былом...) как-то больше по-домашнему. Сознали это не только евреи, но и поляки. Вряд ли случайность — то, что в польской литературе есть Янкель Мицкевича, Элиза Ожешко и Сруль из Любартова, а в других литературах ничего равноценного по таланту или симпатии нет.*

*Разъяснение историко-культурное, но подводящее к современности, к политике, и Жаботинский не был бы самим собой, если бы этого перехода не сделал. Повсюду, настаивает он, работа Шика была воспринята «как памятник во славу принципа честного соседства племен», за это именно Шика и наградили, и хотя не в его, Жаботинского, правилах «обсуждать ордена или чины», это награждение — «как бы принципиальная манифестация: именно в момент, когда «калишская» традиция заглушена гвалтом уличного хулиганства, польское правительство хочет подчеркнуть свою веру в «калишскую» традицию».*

*Но, разумеется, не ради этого перехода или, скажем аккуратнее, не только ради него, обратился Жаботинский к*

*обозначенному выше сюжету. Смолоду, со времен «Одесских новостей» в первые годы двадцатого века, он писал о культуре во всех ее проявлениях и обличьях — о литературе, о театре, об изобразительных искусствах, — то был его домен, его страсть, которую политика, сионизм, ворвавшиеся в его жизнь и писания после Кишиневского погрома, хоть и умерили несколько, но никак не погасили.*

Возможно, было бы не лишним привести здесь полный список заглавий всего, напечатанного Жаботинским в парижском «Рассвете», снабдивши каждое заглавие кратчайшей аннотацией, поскольку само по себе оно достаточно часто недостаточно красноречиво: «О Кассандре», «Восток», «Мы буржуи», «Мысли вслух»... Но, боюсь, что читателя невысоколобого это едва ли чем обогатит, высоколобый же имеет в своем распоряжении прекрасную библиографию Израэля Еваровича, исправно аннотированную: «The Writings of Zeev Jabotinsky, 1897–1940, A Bibliography», Tel-Aviv, 1977.

И вот, вместо обозначенного выше списка, автор этих строк предлагает несколько более близкое знакомство с немногими текстами, выбранными — еще одно признание — по его, автора, произволу, иначе говоря: что ему больше по душе, то он и выбрал. С одной оговоркою: тексты не должны быть расхожими, раздерганными на цитаты, навязшими на зубах. Впрочем, опасность — минимальная: у русскоязычного читателя Жаботинский прославлен публицистикой, собранной в книге 1913 года «Фельетоны», все дальнейшее известно скорее понаслышке. Отчасти оно и справедливо: великого, испепеляющего накала 900-х и 910-х годов парижско-рассветная журналистика Жаботинского не достигает. Зато, как уже сказано, можно не опасаться, что под «шапкой» новизны предложишь нечто, уже знакомое, читанное.

Первый выпуск «Рассвета» в Париже (25 декабря 1924) открывается, как-то и должно быть, передовицей с взглядом в прошлое и с видами на будущее. Статья подписана: «Редакция».

На первом листе журнала (который, к слову сказать, сам именуется «еженедельной газетой») значится: «Редактор: В. Е. Жаботинский». Тем не менее Еварович эту передовицу в свою библиографию не включает. Вопреки молчанию Еваровича, беру на себя смелость все же атрибутировать ее Жаботинскому — и вот на каком основании:

Есть один вопрос сионистской политики, в котором «Рассвету», быть может, придется особенно упорно идти против «многих». Это — ребяческая вера в то, будто спокойствие в Палестине, без которого не мыслима созидательная работа, может быть куплено ценою одних ласковых слов или своевременных подачек. «Рассвет» поставил себе задачей разъяснить, что порядок и мир в колонизируемой стране могут быть обеспечены только наличностью такой прочной железной охраны, которая делала бы насилие физически немислимым, и что единственно возможная, целесообразная и достойная форма такой охраны есть та, когда бремя ее принимает на свои плечи сам колонизатор.

Дело не только в манере письма — ей можно и подражать, и небезуспешно. Дело, прежде всего, в том, что приведенный абзац ведет прямиком к дуплету «О железной стене» и «Этика железной стены», появившемся за год до того в берлинском «Рассвете» (№№ 42–43 и 44–45, 4 и 11 ноября 1923). Эти статьи вошли в канон самого известного у Жаботинского, и цитировать их, вроде бы, излишне. Так же как, увы, излишне напоминать, что и восемьдесят лет спустя они не утратили актуальности.

Среди восьми языков, которыми Жаботинский владел полностью и целиком, был и идиш. Он и писал на идиш, и говорил, и выступал публично — вопреки доктринерско-сионистскому убеждению, что это гнусный жаргон, от которого нужно избавляться любыми средствами и мерами, включая законодательные. Тем поучительнее статья «Судьба идиш», напечатанная в третьем номере «Рассвета» за 1925 год (18 января).

Идиш — во многих отношениях замечательный язык. Когда-то принято было думать, что это не язык, а наречие: несомненная ошибка. Лингвистически — это язык, и очень оригинальный. По гибкости он имеет мало соперников. Самая разнородность его словаря могла бы стать залогом неисчерпаемого лексического богатства. При этом идиш умеет изумительно ассимилировать чужеродные корни. Есть шедевры такой ассимиляции: например, уайтчепельское слово «бойчикл» (мальчуган, хлопец), где так непринужденно и ловко слились элементы трех языков: английское «бой», славянское «чик» и южногерманское ласкательное «эль». В литературе и поэзии этого языка есть чрезвычайно серьезные ценности; в области театра имеются достижения, которыми нельзя не гордиться; печать, в среднем, по своим идейным и литературным интересам стоит часто выше иноязычной прессы тех же стран. Наконец, это в известном смысле «мировой» язык: если англичанин гордится тем, что может, не зная ни слова на иностранных наречиях, объехать весь мир, то с не меньшим правом может повторить эту похвалу ашкеназийский еврей. Язык, безусловно, замечательный. Но самое замечательное то, что он, при всех этих достоинствах, неудержимо вымирает.

Вымирает же он потому, что это, в первую очередь, язык «обиходный», т. е. разговорный, а решающий голос в вопросе о будущем обиходного языка принадлежит детям». Но дети, если взять для примера «огромное гетто Нью-Йорка», говорят между собою только по-английски, даже если и понимают идиш, и даже отвечают на нем родителям. «Этим вопрос о будущем решается безапелляционно». И далее: «Характернее всего то, что процесс этот проходит в массовой среде без всякого отпора. Итальянские, немецкие, скандинавские, польские родители в Америке почти всегда борются против тенденции детей — вносить язык школы в домашнюю обстановку. Еврейские родители — почти никогда. Получается впечатление,

что язык этот не связан с их душой настоящими, органическими нитями. Его любят, пока на нем говорят; когда он утрачен, о нем не жалеют».

И так — повсюду: и в Польше, и по всей Советской России. Исключения, если они и существуют, дела не меняют.

Три четверти столетия спустя, через полвека после Шоа, уничтожившей идиш вместе с его носителями, после по меньшей мере двух десятков лет нового интереса к идиш и идишкайт повсеместно в диаспоре и даже в Израиле, — как отнестись к этим словам, полным и любви, и гордости, и безнадежности на грани отчаяния? Не всего ли удивительнее и трогательнее именно любовь и верность еврейскому «обиходному» языку, который для него, для Жаботинского, выросавшего в ассимилированной семейной среде, не был уже и обиходным, не был «мамэ-лошн»? Привязанность к идиш была у Жаботинского не инстинктивной, «нутряной», как у тех, кто получил его, так сказать, даром, но осмысленной, опирающейся на убеждение, что идишкайт — неотчуждаемая и необходимая составная часть нашей истории и культуры (нашей цивилизации, говоря сегодняшним языком).

*Похвала «обиходному» еврейскому языку в приведенном выше абзаце несколько неожиданно, но, в конечном счете, вполне объяснимо совпадает с апологией идиш у Семена (Шимона) Фруга в замечательном «фельетоне» (по терминологии того времени) «Язык-дикобраз», напечатанном в еженедельнике «Будущность», 1900, № 18, С. 370–371. То было, сколько способен судить автор этих строк, одно из самых ранних, если не самое раннее выступление в защиту идиш по-русски, и жаль, что оно затерялось на страницах забытого журнала. Впрочем, и вся-то русско-еврейская словесность в том же невеселом положении; вот ведь и Жаботинский в «Рассвете», предмет наших восторгов и рассуждений, не собран, не издан.*

Заметим попутно: Жаботинский слово идиш не склоняет. Хорошо бы, если бы это приняли к сведению и взяли за образец



те, кто пишет и печатает: «не знает идиша», «говорит на идише» и т. п. У автора этих строк такое словоизменение вызывает глубокое отчаяние, почти депрессию.

12 февраля 1927 г. скончался в Париже Семен Юшкевич. К осени комитет для увековечения памяти покойного издал в переводе на идиш последний роман Юшкевича «Эпизоды» (1921–1922). Жаботинский отозвался на выход «Эпизодов» большой статьёй в «Рассвете» (№39, 2 октября 1927). Иначе говоря, некрологу, по необходимости расплывчатому и импрессионистскому, предпочел нечто конкретное и, как мы увидим, заостренное политически.

Главная мысль статьи — в том, что «национально настроенный еврейский читатель» всегда относился к Юшкевичу несколько прохладно, видя в нем очернителя еврейского народа, не желающего замечать светлых сторон нашего быта, и что «вина в этой размолвке была на стороне читателя». В самом деле, не менее мрачными тонами рисуют своих единоплеменников Щедрин и Достоевский, Синклер Льюис и Теодор Драйзер, однако же никакой размолвки между ними и интеллигентным читателем не было и нет. «У нас же Юшкевич все еще ждет признания в качестве большого еврейского писателя». Причин тому много, Жаботинский приводит главные. Юшкевича сразу и слишком тепло приняли в «общерусской литературе, и у нас получилось впечатление, что он «пишет для чужих». Манерой письма Юшкевич отличался от привычных читателю бытописателей еврейства, и «читатель решил: это не еврейская жизнь». Но еще важнее, главнее то, что еврейский читатель, даже ощущающий свою национальную настроенность и «уже тридцать лет повторяющий, что еврейский народ живет для себя, а не для соседей, никому не обязан нравиться, ни перед кем не намерен отчитываться и ни на кого не желает оглядываться», этой нравственной независимости еще далеко не достиг. Оно хотя и объяснимо («мы живем среди чужого переулка, и отвлекусь от этого факта нелегко»), но даже в чужом переулке пора уже

усвоить, что отношение к нам соседей меньше всего зависит от нашей репутации «хороших» или «нехороших» людей. Эта истина теперь ясна, кажется, даже ассимиляторам; доказывать ее поэтому считаю лишним. Уж наверняка знают ее националисты. Тем не менее и они часто шарахаются, когда взойдет на кафедру свой человек и расскажет при соседях, что есть у нас в быту Леон Дрей. Эта черта у нас — пережиток ассимиляторства и апологетики. От нее пора отделаться.

(Возможно, нелишним будет напомнить, на всякий случай: Леон Дрей — герой одноименного романа Юшкевича, первая часть которого вышла в 1908 г., а последняя, третья, в 1919. Леон — мелкий бес, воплощение всех возможных мерзостей и пороков, и появление первой части вызвало настоящую бурю негодования в русско-еврейских и либеральных общероссийских изданиях.)

Существует ли у нас Леон Дрей и «все другие бесчисленные уроды портретной галереи Юшкевича?» — спрашивает Жаботинский и отвечает решительно: «Наивный вопрос. Неужели мы, евреи, так-таки и не «представлены» ни в том сословии юных красавцев, которое живет на заработки проституток, ни в цехе торговцев живым товаром?» А дурные болезни существуют или нет? «В витринах на главных улицах их, понятно, не показывают. А вы сходите в клинику...» В еврейской клинике кого только нет! От «Союза воров-евреев» до «типа, которого даже Юшкевич, насколько помню, успел лишь мимоходом коснуться, так как расцвел он уже после войны: еврей-чекист, еврей-палач или подстрекатель палача».

И — вывод, то, ради чего написана эта статья, скорее политическое эссе, нежели литературное размышление:

Не следует от всего этого «шарахаться». Во-первых, тут совершенно нечего — ибо некого — стыдиться. Уж пред соседями-то краснеть абсолютно нечего. Один пастор в чепеле, произнося речь перед евреями, сказал так: «С глубоким сожалением вижу, что нравственный уровень

среди евреев с каждым годом падает. Вы, друзья мои, становитесь все хуже да хуже. Вы почти уже стали такими же скверными людьми, как ваши соседи-христиане». Пастор находил, что до этого еще не дошло. Я не видел бы надобности краснеть, если бы дошло и до «этого». Ни, в особенности, скрывать, да еще от себя самих.

Правду писал Юшкевич. Не всю правду, я согласен; но и не брал он на себя такой энциклопедической задачи. Если угодно, он делал ту же работу, которую делали мы, сионистские публицисты его времени. Мы тоже не писали «всей правды» об ассимиляции. Как во всяком массовом явлении, было в ней много сторон прекрасных и возвышенных; но их мы обходили, а вытаскивали на свет божий только стороны отрицательные — и были совершенно правы, ибо наша миссия была бороться против развала и дезертирства. Юшкевич, хотя ни к какой партии не приписанный, никакой миссии не присягнувший, инстинктивно служил тому же устремлению своего времени. Он прошел через разрушенное гетто и сфотографировал развалины; проследил яд ассимиляции до последних, до клинических последствий его действия; проделал работу мучительную и громадную по общественной ценности; и от тех, для кого (и уже в последние годы вполне сознательно) работал, т. е. от нас с вами, самодовольных борцов за новое еврейство, не получил ни слова признания.

Заканчивает Жаботинский изъявлением надежды, что перевод на идиш приблизит Юшкевича к еврейскому читателю, который ощутит его «евреем, писавшим о евреях для евреев».

Тогда Юшкевич добьется своего заслуженного места в ряду писателей — граждан нашего народа и поколения: правдивый и скорбящий обличитель того процесса, который называется ассимиляцией и грозит превратить еврея в насекомое без крыльев, в сгусток обнаженных appetitов, если не остановит его переворот национального возрождения; и потому — один из крупных и серьезных воспитателей народа на пороге возрождения.

Юшкевич поставлен «на службу» сионизму. Не фальсификация ли это? Не тот же ли грубоватый трюк, которым марксистская критика и литературоведение ставили на службу очередной пятилетке чуть ли не всю русскую классику?

Нет, нет и нет!

Юшкевича можно прочесть так, как читает его Жаботинский, ставя те акценты, которые ставит он, а именно — национальные преимущественно перед социальными и, разумеется, перед собственно эстетическими. И тогда «распад» («бытописателем распада» назвал Юшкевича Сергей Цинберг, неоспоримый вождь нашего литературоведения в первую треть минувшего века) из продуктов классового расслоения превращается в результат национальной деградации, неизбежного спутника и последствие ассимиляции. Едва ли такой подход (метод, анализ, разбор — назовите как угодно!) пришелся бы по душе передовым исследователям литературных текстов по обе стороны Атлантического океана, он, должно быть, показался бы им безнадежно устаревшим, обветшалым. Автору этих строк он дорог и близок, так же, как и сам Жаботинский, весь Жаботинский.

Обширные цитаты из «Юшкевича» позволяют вчитаться в письмо, удостовериться, что и во второй половине 20-х годов Жаботинский не изменил той манере письма, которую выработал еще в Одессе до переезда в Петербург (1903). Было у него нечто, трудно уловимое анализом, но безотказно ощутимое непосредственно, — некий эффект присутствия. Чудится, будто не написанное читаешь, а слышишь живой голос, обращенный именно и только к тебе, больше того — видишь глаза, которые смотрят прямо в твои, в упор. Эффект присутствия особенно интенсивен в сборнике «Фельетоны» (1913), но отчетливо ощущается и в публицистической прозе парижского «Рассвета», в частности — в «Юшкевиче».

Другая крупная, бросающаяся в глаза черта — это сарказм, граничащий случалось и с высокомерием, но в целом остающийся на уровне того, что, воспользовавшись словом поэта,

можно назвать «великолепным презрением». В конце августа 1929 года в подмандатной Палестине вспыхнули «беспорядки», а называя вещи своими именами, — прокатились погромы; самый кровавый был в Хевроне, арабы убили там более 70 человек. В № 44 «Рассвета» (3 ноября 1929) Жаботинский публикует статью под заголовком «Мир».

Очень шумно завывает у нас теперь в сионизме хор миролюбцев, добывающихся (через проповедь к евреям только!) примирения с арабами. Трудно отделаться от брезгливого чувства: назавтра после такой подлой и грязной резни давайте покаемся в наших грехах и попросим, чтобы впредь не били. Даже я, при всем моем органическом презрении к доброй половине нынешнего офицерского и унтерского состава в сионизме, такой безграничности пресмыкательства не ожидал. Тем не менее надо отбросить брезгливость и еще раз взглядеться в это дело по существу.

И Жаботинский терпеливо, в который раз излагает свою позицию: арабы никакого мира с нами не хотят, пока мы не откажемся от декларации Бальфура и, главное, не согласимся поставить еврейскую иммиграцию в Палестину под арабский контроль. «Мира с арабами мы все хотим. Но заплатить за него той уступкой, которой требуют арабы, мы не можем». «Оттого все эти миролюбивые разговоры, этот еще в Св. Писании осужденный гвалт «о мире, мире, когда нет мира», есть не только распутство мысли, но и предательство.

*(Два попутных замечания:*

*1. Полфразы, на которую ссылается Жаботинский, повторяется в Писании трижды: Иеремия 6:14, Иеремия 8:11 и Иезекииль 13:10.*

*2. Не покушаясь на систематический обзор излюбленных стилистических приемов Жаботинского, хотелось бы, однако, обратить внимание на столкновение не просто разнородных,*

*но диаметрально противоположных лексических единиц: «Св. Писание» — «гвалт»).*

Но, конечно же, бывало, и нередко, что текст оказывался свободным и от сарказма, и от эффекта настоящего присутствия. Примером может послужить статья «Д. С. Пасманик», некролог, напечатанный в № 28 за 1930 год (13 июля).

Даниил Пасманик — известный русско-еврейский публицист, сионист по убеждениям, врач по профессии. Во время Гражданской войны участвовал активнейшим образом в белом движении, в эмиграции примкнул к группе «кающихся евреев», которые выпустили в 1922 г. в Берлине сборник «Россия и евреи», где признавали правоту крайне правых, взваливавших вину за революцию в России и свержение монархии на евреев. Ответом была резкая критика со стороны евреев и демократически настроенной русской эмиграции. Сионисты отмежевались от Пасманика, объявили о разрыве с ним. В течение всего 1923 года и в начале 1924 «Рассвет», еще берлинский, многократно возвращался к дискуссиям вокруг «России и евреев». И вот Пасманик умирает, в Париже. Казалось бы: сам Бог велел подвести итог давним уже обвинениям и спорам! Но нет: Жаботинский подробно, но довольно вяло воздает должное ушедшему как первому теоретику сионизма, судить же «о размолвке Пасманика с русским сионизмом в годы Гражданской войны и после» вообще отказывается — мол, мало, что знаю, да и знать не очень хочу. А впрочем, словно нехотя, сквозь зубы, прибавляет: с идеалами народов, среди которых мы живем, приходится считаться, и я решительно не понимаю, почему нельзя якшаться с монархистами. Это он не Пасманика защищает, а себя: вспоминает, например, как его поносили за соглашение, которое он подписал с представителями Петлюры в 1921. Но в целом статья пресная, и не стоило бы о ней заводить разговор, если бы не заключительная часть, которую стоит привести, не скупясь:

Мы не привыкли к типу души, которая, действительно, вмещала в себя два настоящих патриотизма. Фразу о двойном патриотизме часто произносим мы все — т. е. все те из нас, сионистов, у которых есть приличный паспорт, — и я не сомневаюсь, что произносим ее искренно и готовы исполнять оба гражданских долга. Но у Пасманика было нечто другое: два «надрыва». Казалось бы, что любить с «надрывом» можно только одну национальную идею: второй из них можно подарить только спокойную привязанность, если не просто тщательную корректность. Пасманик, несомненно, любил Россию в том же смысле, как любил еврейство: например, не только сознавал разумом, что России нужна та или иная отрезанная провинция, но и внутренне ощущал болезненность этого отреза, как мы чувствуем отрез Заиорданья. Ненавидел большевиков не только за то, что они — черная сотня, как ненавидим мы, но прежде всего за унижение России. Поскольку он свою деятельность контролировал рассудком, «обосновывал», — постольку, я думаю, он отдавал примат еврейскому, а не русскому моменту: считал, что и через русское свое служение служит еврейству. Но в сфере непосредственного переживания примата не было. Ту особенную, непередаваемую воспаленность души, которая была самой «восточной» его чертой, он отдавал одинаково и нам и России.

Вряд ли счастливо живет такому человеку с двумя пожарами в одной грудной клетке. Я ему не завидовал и не завидую. Но шапку снимаю: это не порок души, это богатство души; роскошь неудобная, часто губительная, как губительно для человека родиться с талантом музыканта и живописца вместе; но неподдельная роскошь, истинный дар божий. Ценный умер человек, и с почетом надо проходить мимо его могилы.

Сам Жаботинский никаких сыновних чувств к российскому отечеству не питал и заявлял об этом по разному поводу и в разных контекстах; самый известный, по-видимому, — заключительная глава романа «Пятеро»: «К России был равнодушен

даже в молодости: помню, всегда нервничал от радости, уезжая за границу, и возвращался нехотя». Но к чужому патриотизму, в данном случае — к русскому патриотизму Даниила Пасманика, относился с полным уважением и сочувствием. Отсюда — высокая патетика, или, если угодно, патетическая серьезность, столь же присущая письму Жаботинского, как и две названные выше черты, и то сочетающаяся с ним в разных пропорциях, то появляющаяся в чистом виде, как здесь, в некрологической похвале Пасманику.

В заключение обратимся к тексту, помеченному «Перевод с идиш». Таких текстов немало в парижском «Рассвете», и автор этих строк, занимаясь с десятков лет назад в Институте Жаботинского в Тель-Авиве, не смог установить, как они возникали: кто переводил? просматривал ли автор, то есть Жаботинский, перевод, правил ли его? Как бы то ни было, стилистический уровень их достаточно высок, чтобы ставить их в один ряд с доподлинно и изначально «русским» Жаботинским.

Статья «Зайнэ киндер ун унзере» появилась впервые в варшавской газете «Хайнт» 26 сентября 1930. В парижском «Рассвете» № 41 за тот же год была напечатана 12 октября под заголовком «Его дети — и наши». В оригинале на идиш был еще подзаголовок: «К кончине сына и дочери Герцля». Дочь Герцля Паулина покончила с собой, сын Ганс застрелился на могиле сестры в Бордо. Эти две смерти наводят на мысль, что старый враг сионизма — ассимиляция («чужие языки лучше наших, чужие страны лучше нашей страны, чужие молитвы лучше нашего разорванного сидура») живет и процветает, хотя и под новым обликом. Но каково бы ни было ее обличье, в основе лежит все то же чувство еврейской неполноценности.

Снова, как двадцать лет назад, мы слышим из уст молодежи, что одними еврейскими проблемами нельзя заполнить целую жизнь человека, что еврейских идеалов недостаточно для занятия всего алтаря, что на чужой улице гораздо лучше, шире и веселее и что единственное



средство, которое еще может удержать у нас молодежь, чтобы она осталась работать в наших тесных пределах, в бедном еврейском саду, в скромном еврейском домике, — это дать молодежи возможность постоянно сидеть у окна.

Многие и сидят, глядя, не отрываясь, на чужую улицу, приветствуя любого, кто по ней ни пройдет, будь то Маркс, Ленин, Ганди или

завтра, может быть, Муссолини, главное, это должно быть нечто не наше, нечто «более широкое», нечто «общечеловеческое». ... Кто сидит у окна, выглядывает наружу и высовывается все дальше и дальше, в конце концов выпадет и останется снаружи; целый или разбившийся — это его забота, но — не у нас.

В любые времена, во всех поколениях ассимиляторы старались втолковать еврею, что интеллигентной душе тесно в рамках еврейской жизненной сферы. Что ж, действительно,

... у гоев жизнь шире, красивее и веселее <...> и не только их жизнь богаче, но и идеалы их заключают в себе более красочную радугу всяких благ. По меньшей мере — на вкус того типа людей, на которых влияет улица, с ее шумом и шествиями, с развевающимися знаменами. Но вкус большинства из нас — уличный вкус.

Враг жив. Склонность приспособлять наши мысли и стремления не к нуждам еврейского народа и его развитию, а именно к идеологической моде внешнего мира — тенденция, являющаяся корнем и ядом ассимиляции, поджидает наших детей за каждым углом, ... даже в Палестине. Такая вещь может начаться где угодно и как угодно, безразлично — окончится она в Бордо. Такие вещи всегда кончаются в Бордо. Конечно, не всякое самоубийство выражается в выстреле, но путь через те окна ведет всегда к тому же результату — бесполезно и бессмысленно прожитая жизнь, твои услуги совершенно не нужны чужой стороне. Троцкий сидит у турок и пишет

похвалы самому себе, на сто лет германской национальной верности Германия отвечает евреям шестью миллионами плевков в лицо — какая разница, застрелиться из револьвера или совершить духовное самоубийство? Станция Бордо — terminus.

В этом переводе с идиш слышится голос, видна поэтика пророка, покрывающая в виде своего рода крыши все детали, частности писательской манеры нашего великого публициста. От пророка — нестерпимая горечь, уже и сарказма мало, уже подступило отчаяние. От пророка — беспощадность в обличениях. От пророка — казавшаяся семьдесят лет назад парадоксом мысль, что ни национальный язык, будь то идиш или иврит, ни даже национальный дом, очаг, — Палестина не гарантируют защиты от соблазна ассимиляции. От пророка, наконец, — и кошмарная точность роковой цифры: шесть миллионов.

Хотелось бы надеяться, что читатель убедился (имеется в виду благосклонный читатель): в парижском «Рассвете» его ждет немало счастливых встреч с несобранным и, следовательно, практически неизвестным Жаботинским. Неизвестным и потому особенно удивляющим и поражающим. И потому же о двух романах — «Самсон Назорей» и «Пятеро», — впервые появившихся в том же «Рассвете», но достаточно широко известных по дальнейшим, отдельным изданиям, речи у нас не было.



## ШИМОН МАРКИШ

### Краткая биография

**Ш**имон Маркиш родился 6 марта 1931 году в Баку, рос и воспитывался в Москве.

Отец — Перец Маркиш (1895–1952), поэт на идиш, расстрелян в последнем сталинском процессе, завершившем «антикосмополитическую» кампанию и уничтожающем еврейских деятелей культуры. Мать — Эстер Лазебникова (1912–2010).

Войну семья провела в эвакуации с другими писательскими семьями в Чистополе и Ташкенте (1941–1943).

Маркиш записался в МГУ на английское отделение. После ареста отца не мог остаться на престижной специальности, перевелся на классическую филологию. Преподаватели, главным образом Сергей Иванович Соболевский, профессор старого поколения (ему было за 90), сразу заметили в нем талант.

Учебу прервала ссылка — семья, не имевшая вестей об отце, была арестована и отправлена в тюремных вагонах этапом в Среднюю Азию, в Казахстан (Кзыл-Орда) в январе 1953 г. За неделю до ареста Маркиш в ускоренном процессе защитил свою диссертацию об Апулее, но диплома не получил. В ссылке он работал кладовщиком, а с изменением положения после смерти Сталина преподавал в школе самые разные предметы.

Маркиш вёернулся в Москву летом 1954 года, женился, у него родился сын.

Получив диплом тем же летом, начал работать переводчиком в Государственном издательстве художественной литературы (1956–1962). Переводил в первую очередь с греческого и латинского, но и с английского, немецкого, иногда под чужим именем. В 1962 году его приняли в Союз советских писателей

(с рекомендацией Анны Ахматовой), и стал «свободным» переводчиком (как он писал в биографии, «фриланс»). Между 1958 и 1970 годами был соредактором серии книг по теории художественного перевода «Мастерство перевода».

В 1970 году женился на венгерке, в августе переехал в Венгрию, и сразу сменил гражданство. Работал над темой «Эразм и еврейство». Перевел том венгерских народных сказок. Вступил в Венгерский филиал Клуба Пэн (Pen Club). Родился второй сын. Работы не нашел, поэтому не получил паспорта и не мог выехать из страны, повидаться с матерью, эмигрировавшей в Израиль в ноябре 1972 года после долгого ожидания разрешения на выезд. В 1973 году Маркиш поехал в Москву, похоронить бабушку, чтобы больше никогда не возвращаться в Россию. Устроившись с помощью Дюла Ортутай (фольклориста и политика культуры) на работу «без зарплаты» в Институте литературоведения Венгерской Академии Наук, он мог получить паспорт и поехать в Париж, где уже обсуждались планы о его переезде на Запад.

Через парижских знакомых он скоро получил приглашение на работу в основанное тогда русское отделение Женевского университета. С трудом получил разрешение на выезд на один учебный год, приехал в Женеву вместо сентября 1973 года в феврале 1974 году, с опозданием на семестр, с визой до лета. По истечении паспорта не вернулся в Венгрию, стал невозвращенцем. Жена с сыном не поехали за ним.

Маркиш работал в Женеве 22 года, вплоть до пенсии (1996).

Получил израильский паспорт в 1975 году. В 1982 году женился в третий раз.

В 1983 году защитил докторскую диссертацию на тему «Русско-еврейская литература» в Сорбонне (Нантерр, Париж X).

В 1983 году преподавал один семестр в Университете Колгейт (Colgate University, Hamilton, New York).

В 1987 году был приглашен в качестве старшего исследователя в Исследовательский институт Еврейского университета в Иерусалиме на 3 месяца, работал в архиве Жаботинского.

Между 1991 и 1993 годами был соредактором «Еврейского журнала» (Мюнхен).

С 1991 года жил попеременно в Женеве и Будапеште с четвертой женой, Жужей Хетени.

В 1995 г. получил обратно венгерский паспорт, которого его лишили в 1987 году, а в 1997 году стал гражданином Швейцарии.

В 1996–1997 академическом году был приглашен на пост профессора по гуманитарным наукам на кафедру англистики во Флоридском интернациональном университете (Florida International University, Miami, USA).

В 1998 году читал пленарный доклад на Нобелевском симпозиуме по художественному переводу в Стокгольме.

В 1999–2000 академическом году был старшим исследователем в исследовательском институте в столице Венгрии (Collegium Budapest for Advanced Studies).

В 2002 году он читал юбилейный доклад в международном Обществе Эразма Роттердамского (Erasmus of Rotterdam Society) в Голландии.

Последней завершенной работой Маркиша в октябре 2003 году был совместный с Жужей Хетени перевод романа венгерского Нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность» на русский язык, за который они были удостоены призом-стипендией по художественному переводу Милана Фюшта при Венгерской Академии Наук.

Он умер внезапно 5 декабря 2003 году в Женеве.

## **Библиография работ Шимона Маркиша по русско-еврейской и «х»-еврейской литературе и культуре<sup>1</sup>**

### **Книги**

- 1980 Василий Гроссман: Жизнь и судьба. (Издание подготовили Симон Маркиш и Ефим Эткинд).  
Lausanne, L'Age D'Homme, 1980. 608 С.
- 1983 Le cas Grossman. Trad. Négrel D.  
Paris, Julliard/L'Age d'Homme. 1983. 219 С.
- 1985 Пример Василия Гроссмана.  
Иерусалим, Библиотека Алия, 1985. Т. 1. 306 С. Т. 2. 532 С.
- 1994 Shlosa dugmaoth. Isak Babel, Iia Erenburg, Vassili Grossman  
(Три примера: Бабель, Эренбург, Гроссман. На иврите).  
Тель-Авив, Nakibbutz Nameuchad 1994. 167 С.
- 1996 Бабель и другие. Персональная творческая мастерская М.,  
Щиголь, Киев 1996. 235 С.  
= Второе репринтное издание: Иерусалим, Гешарим, 1997.
- 2001 Родной голос. Страницы русско-еврейской литературы  
конца XIX – начала XX в. Книга для чтения. Сост. Шимон  
Маркиш.  
Киев, Дух і Літера, 2001. 463 С.

---

<sup>1</sup> Работы **не** по **русскоязычной** еврейской литературе или не по **литературе** выделены курсивом.

## Статьи

- 1965 *Примечания. // Лион Фейхтвангер. Иудейская война. Собрание сочинений в 12 томах. М., Издательство «Художественная литература», Т. 7. 1965. С. 459–485.*
- 1966 *Примечания. // Лион Фейхтвангер. Сыновья. Собрание сочинений в 12 томах. М., Издательство «Художественная литература». Т. 8. 1966. 485–502.*
- 1966 *Примечания. // Лион Фейхтвангер. Иосиф. Настанет день. Собрание сочинений в 12 томах. М., Издательство «Художественная литература». Т. 9. 1966. С. 743–763.*
- 1975 *Почему мы уезжаем? // Сион № 13. 109–122.*  
= 1976 *Madua anakhnu yordim? (Hirhurim sel yehudi tibrithatoatsot). Почему мы покидаем Израиль? (Размышления еврея из СССР) [на иврите]. // Mibbifnim (Изнутри). The Hakibbutz Hameuchad Quarterly, vol. 38. № 1–2. June 1976. С. 70–77.*
- 1975 *К 80-летию Переца Маркиша. Из выступления на траурном митинге в Тель-Авиве. Сион № 12. 119–121.*
- 1976 *Не зажмуриваясь. // Сион № 14, 1976. С. 103–130.*
- 1977 *Itskhak Babel vehasifrut harusit-yehudit. (Исаака Бабель русско-еврейский писатель) // Mibbifnim (Изнутри) The Hakibbutz Hameuchad Quarterly, vol. XXXIX. № 1–2. Mai 1977. (1976 [sic!]) С. 108–121.*
- 1977 *The Example of Isaac Babel. // Commentary, vol. 64, № 5, November 1977. С. 36–45.*
- 1977 *La littérature russo-juive et Isaak Babel. // Cahiers du monde russe et soviétique vol. XVIII. 1–2. С. 73–92.*
- 1978 *Глас вопиющего в болоте. // Наша страна, 5 июля 1978. Тель-Авив. С. 6.*
- 1978 *Passers-by: The Soviet Jew as Intellectual. // Commentary vol. 66, № 6, December 1978. С. 30–40. Ответ: Commentary vol. 67, № 4, April 1979. С. 31–33. =*  
=1978 *Прохожие люди. // Менора, 1978, № 9 (5738). С. 63–83.*  
=1979 *Passanten. Entwurf zu einem psychologischen Porträt des Sowietjuden // Schweitzer Monatshefte, 59. Heft 1, Januar 1979, P. 43–50.*



- 1979 Русская-еврейская литература и Исаак Бабель. // Исаак Бабель. Детство и другие рассказы. Иерусалим, Библиотека Алия. 1979. С. 319–345.
- 1980 *Еще раз о ненависти к самому себе.* // 22, № 16, 1980, С. 177–191.
- 1980 Osip Rabinovic I. // Cahiers du monde russe et soviétique, vol. XXI–1. P. 5–30.  
Osip Rabinovic II. // Cahiers du monde russe et soviétique, vol. XXI–2. P. 135–158.
- 1981 L'Image de Staline dans le Cinéma Soviétique (1946–1953) // Revue européenne des sciences socialesю Genève, Librairie Droz, 1981, P. 127–136.
- 1981 *Was Russische Juden vor 100 Jahren über die Jüdische gemeinschaft in der Schweiz schrieben.* // Israelitisches Wachenblatt für die Schweiz, 18 Dezember 1981. P. 26–29.
- 1981 *Juifs d'U.R.S.S.* // Politique et religion. Colloque des intellectuels juifs. Données et débats. Textes présentés par J. Halpé-rin, G. Levitte. Gallimard, Paris 1981. P. 115–120.
- 1982 О русско-еврейской литературе (предварительные замечания). // Festschrift für Fairy von Lilienfeld zum 65. Geburtstag. Hrsg. A. Rexhausser und K.-H. Ruffmann. Erlangen 1982. P. 317–337.
- 1982 *Why do we Leave?* // Search of Self. The Soviet Jewish Intelligentsia and the Exodus. Ed. D. Prital. Jerusalem, Mount Scorpus Publications, 1982. С. 207–217.
- 1983 Эли Люксембург – еврейский писатель. // Эли Люксембург: Прогулка в раму. Иерусалим 1983. С. 3–6., = Родина № 78. 1983. С. 56–57.
- 1984 Vassili Grossman – écrivain juif? // Hameir, 1984. 4. P. 7–11.
- 1984 *What Dreams are Made Of?* // Jewish Frontier, November–December 1984. P. 21–25.
- 1984 *О еврейской ненависти к России.* // 22, № 38, С. 209–217.
- 1984 *Куда прорвался Г. Свирский? О книге: Г. Свирский: «Прорыв».* Роман. Энн-Арбор, “Эрмитаж”, 1983. // Страна и Мир, 1984. № 3, раздел «Книги и мнения». С. 259–263.
- 1984 *То ли в подданстве, то ли в гражданстве.* // Страна и Мир. 1984. 7. С. 68–76.
- 1984 On Babel. // Twentieth Century Literary Criticism. / ed. D. Poupard. Gale Research Inc., Vol. 13. 31–35.

- 1985 *Trente ans ont passé. // Revue et corrigée 17, Bruxelles, Hiver 1984–85. P. 31–36.*
- 1985 *Mein Fater Perets Markish. // Di Goldene Keyt, 1985. 8.*
- 1985 A propos de l'histoire et de la méthodologie de l'étude de la littérature juive de l'expression russe. // *Cahiers du monde russe et soviétique*, vol. XXVI-2. P. 139–152.
- 1985 Пример Василия Гроссмана. // Василий Гроссман. На еврейские темы, т. II. Иерусалим, Библиотека-Алия, 1985. С. 341–532.
- 1985 *A zon vign zein fater. // Yiddishe Kultur 1986. 2. С. 6–9.*
- 1985 *Сын об отце. // Израиль Сегодня. Февраль 1985. 6. С. 18–19.*
- 1985 Littérature russe et identité juive. // *L'autre Europe 1985. 6. С. 72–81.*
- 1985 *Sofer hagoral hayehudi (al Vasili Grossman). // Moznaim, 1985 juni, P. 76–78.*
- 1986 A Russian Writer's Jewish Fate. // *Commentary*, vol. 81, № 4, April 1986. P. 39–47.
- 1986 *Haroman shenishpat lemaasar olam. // Ma'ariv, May 9, 1986. P. 31. (о романе Гроссмана «Жизнь и судьба»)*
- 1986 *My father, Perets Markish. // Jewish Currents, July-August 1986. P. 28–31.*
- 1987 *Goral hayehudi shel sofer rusi. (Русский писатель еврейской судьбы) // Ha-Umma (Нация) Year 24, № 85, Winter 1987. P. 297–308.*
- 1987 *Восход – главный журнал русского еврейства. // Cahiers du monde russe et soviétique*, vol. XXXVIII-2. P. 173–182.
- 1987 *Ce dont on peut seulement rever... // Les juifs entre la mémoire et l'oublié. Com. F. Ringelheim. Editions de l'Université de Bruxelles. 1987. 1–2. P. 155–162.*
- 1987 *Préface. // Vassili Grossman. La Route. Paris, L'Age d'Homme, 1987. P. 7–9.*
- 1987 *The Example of Isaac Babel. // Isaac Babel. Modern Critical Views. Ed. with an introduction by Harold Bloom. New York – New Haven – Philadelphia, Chelsea House Publishers, 1987. P. 171–190.*
- 1988 *Isaak Babel. // Histoire de la littérature russe. Le XX<sup>e</sup> siècle. La révolution et les années vingt. Ed. by E. Etkind, G. Nivat, I. Serman, V. Strada. Paris, Fayard, 1988. P. 441–456.*

- 1988 *Meyn fater*. // *Yiddische Kultur 1988.1*. P. 44.
- 1988 A Break with Tradition: Russian-Jewish Literature Yesterday and Today. // *Minority Problems in Eastern Europe between the World Wars with Emphasis on the Jewish Minority*. / A. Greenbaum. Jerusalem, Hebrew University, 1988. P. 157–160.
- 1988 Qesher. Zhabotinski keitonai rusi. // *Tel Aviv University Journalism Studies* November 1988. P. 77–84.
- 1989 Un testament mutilé (Préface.) // Vassili Grossman. *La Paix soit avec vous*. Paris, Editions de Fallois – L'Age d'Homme, 1989. P. 7–31.
- 1989 Vassili Grossman et la critique soviétique. // *Magazine littéraire* № 263, mars 1989. P. 37–38.
- 1989 Aizman; Ben-Ami; Bogrov; Frug; Grossman; Kozakov; Levanda; Rabinovich; *Russian-Jewish Culture before 1917*; Yushkevich. // *The Blackwell Companion to Jewish Culture*. Ed. by G. Abramson. Oxford – Cambridge, Blackwell Reference, 1989.
- 1989 “The Image of the Jew in Soviet Literature. Review of The Post-Stalin Period” by J. Blum and V. Rich // *Israel. State and Society, 1948–1988*. / Ed. by P. Y. Mendling. *Studies in Contemporary Jewry, an annual*: V. 333–336.
- 1990 О русскоязычии и русскоязычных. // *Литературная газета* 12 декабря 1990 г. С. 4.
- 1990 *Пример Миклоша Радноти (Об уходящих)*. ВЕК (*Вестник еврейской культуры*) 1990.4. (1) С. 43–46.
- 1990 Три примера 2. (Илья Эренбург) // ВЕК (*Вестник еврейской культуры*) 1990. 3 (6). С. 18–27; 4 (7) С. 42–53.
- 1990 Жаботинский – русский журналист. // *Cahiers du monde russe et soviétique*, vol. XXXI-1. P. 61–76.
- 1990 Iouri Dombrovski, Vassili Grossman. // *Histoire de la littérature russe. Le XX<sup>e</sup> siècle. Gels et Dégels*. / Ed. E. Etkind, G. Nivat, I. Serman, V. Strada. Fayard, Paris 1990. 827–861.
- 1991 Жаботинский: 50 лет после кончины. Объяснение в любви. // *Еврейский журнал*, № 1, 1991, С. 64–68.
- 1991 Письма О. О. Грузенберга И. А. Найдичу. // *Еврейский журнал* 1991, № 1, С. 80–82.  
= отрывок: 1992 «Не торопитесь ни соглашаться, ни отвергать». Раздел «Непрошедшее прошлое». *Контакт* 1992.1. С. 7–9.

- 1991 В двух мирах. // Еврейский журнал, № 2, 1991, Мюнхен. С. 86–90.
- 1991 La doble visión de Babel. // Isaak Babel: Caballería Roja y otros relatos. Barcelona, 1991. P. 13–29.
- 1991 On Ilya Ehrenburg. // The Tel Aviv Review Winter 1991 Vol. 3. P. 330–350.
- 1991 *The role of officially published Russian literature in the reawakening of Jewish national consciousness (1953–1970).* // *Jewish Culture and Identity in the Soviet Union.* / Ed. Y. Roi and A. Beker. New York and London, 1991. P. 208–232.
- 1992 Уйти, чтобы остаться, или уходя уходи. // Еврейский журнал, 1992, С. 55–63.
- 1992 *Father, Jew, Poet.* // *The Jewish Quarterly*, v. 39, № 2 (146), Summer 1992. P. 32–36.
- 1992 Ilja Erenburg. // Ilja Erenburg: Ein sowietische Schriftsteller jüdischer Herkunft. Forschungsstelle Osteuropa 2, Von Verena Dohrn. September 1992. Bremen. P. 1–28.
- 1992 Kettős harmónia. Babel és az orosz-zsidó irodalom. // Nappali Ház 1992. 3. P. 15–21. (Двойная гармония. Бабель и русско-еврейская литература, перевод Ж. Хетени)
- 1992 *Голос диаспоры.* // *Время 9–10.* 1992. С. 12.
- 1992 Эротизм в русско-еврейской литературе. // *Amour et érotisme dans la littérature russe du XXème siècle.* Actes du colloque 1989, Université de Lausanne, Slavica Helvetica vol. 41, 1992. С. 73–82.
- 1992 *Menjenek el ók! (Пусть уйдут они! – на венгерском языке)* Интервью. *Hovanyecz László. Népszabadság* 1992. 04. 17., P. 17.
- 1992 *Отпуск по ранению. Разговор о судьбах русской литературы на берегу Женевского озера.* (совместно с А. Архангельским и Ж. Нива) // *Независимая Газета* 22. 07. 92. С.7. =1994 *Medical Leave.* // *Russian Studies in Literature.* Spring 1994. Vol. 30, № 2. P. 27–34.
- 1992 «Русско-еврейская литература» (цикл 27 передач для «Радио Свобода»)
- 1993 *Урби эт орби. Русская литература после перестройки: анализ с попыткой прогноза* (с А. Архангельским и Ж. Нива). // *Дружба Народов* 1993.1. С. 186–197.

- 1993 *Бытописатели пустыни.* // *Еврейский журнал*, 1993. С. 70–76.
- 1993 «Усыхающая ветвь» (в рукописи: «О надеждах и разочарованиях»). // *Окна, приложение к газете «Вести»*. 1993, № 4/6, 9–16 мая. С. 12.
- 1993 *Наперевес с чем?* // *Континент* 75 (1993) С. 263–269.
- 1993 «Читая "Восход"»  
(цикл 47 передач для «Радио Свобода»)
- 1994 Осип Рабинович. // *Вестник еврейского университета в Москве* 1 (5) 1994. С. 128–150.; 2 (6). С. 106–172.
- 1994 The Example of Isaac Babel. // *What is Jewish Literature?* / Ed. introduction: *H. Wirth-Nesher*. Philadelphia – Jerusalem, The Jewish Publication Society, 1994. P. 199–215.
- 1994 Бабель и ОНИ (глазами отщепенца). // *Знамя* 1994.7. С. 165–170.
- 1994 «Рассвет»; «Русско-еврейская литература». // *Краткая еврейская энциклопедия*. Т. 7. / Глав. ред. И. Орен, Н. Прат. Иерусалим, Общество по исследованию еврейских общин – Еврейский Университет в Иерусалиме, 1994. 85–89, 526–552. кол.
- 1994 «Непрошедшее прошлое»  
(цикл 28 передач для «Радио Свобода»)
- 1995 *La culture russo-juive: pourquoi? pour qui?* // *Cahiers de la faculté des lettres, Université de Genève*, 1995. P. 49–55.
- 1995 *Мифы и мифотворцы. (Рецензия)* // *Знамя* 1995. 6. С. 206–208. = *Historical and literary sources of Russian Anti-Semitism. Savelii Dudakov: Istoriia odnogo mifa. Ocherki russkoi literatury XIX–XX vv. Moscow 1993. (review)* // *Shvut* 1–2 (17–18). 1995. С. 415–423.
- 1995 *Русско-еврейская литература – предмет, подходы, оценки.* // *Новое литературное обозрение* № 15 (1995) С. 217–250.
- 1995 *Марк Шагал в парижском "Рассвете".* // *Russies. Mélanges offerts à G. Nivat.* / *A. Dykman et J.-Ph. Jaccard. Lausanne, L'Age d'Homme, P. 139–141.*
- 1995 *Du judaïsme russe et de sa littérature.* // *Pardès. Littérature et judéité dans les langues européennes.* / *Dir. Henri Raczymow.* 21 (1995). Cerf. P. 77–93.

- 1995 Стоит ли перечитывать Льва Леванду? Статья первая: Посыл. // Вестник Еврейского университета в Москве, № 3 (10), 1995. С. 89–140.
- 1996 Стоит ли перечитывать Льва Леванду? Статья вторая: Художество. // Вестник Еврейского Университета в Москве, № 2 (12), 1996. С. 168–193.
- 1996 La “querelle des langues”, une querelle sur les langues (d’après la presse juive d’expression russe, autour de 1910) // Langue et nation en Europe centrale et orientale du XVIIIeme siècle a nos jours. / Ed. P. Sériot. Cahiers de l’ILSL № 8, Université de Lausanne, 1996. P. 177–194.
- 1996 *La Suisse dans le miroir de la presse juive d’expression russe (fin XIXe – debut XXe siècle)*. // *Bild un Begegnung. Kulturelle Wechselseitigkeit zwischen Schweiz und Osteuropa im Wandel der Zeit*. / P. Brang et al. Basel-Frankfurt am Main, Helbing und Lichtenhahn, 1996. P. 539–548.
- 1996 Религиозная стихия как формообразующий элемент русско-еврейской литературы. // *Orthodoxien und Häresien in den slavischen Literaturen*- Hrsg. R. Fieguth. Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 41, Wien 1996. P. 93–102.
- 1996 Russian-Jewish Culture today – a Personal View // *Shvut* 1996, 3 (19). 194–201.
- 1996 Русско-еврейская культура – Почему? Зачем? Для чего? Для кого? // *Егупец*, 1996. № 2, 1996. С. 85–91.
- 1996 Lev Levanda between Assimilation and Palestinophilia: Part One: The Ideological message. // *Shvut* 1996, 4 (20) 1–52.
- 1996 Борис Слуцкий. // *Краткая еврейская энциклопедия*. Т. 8. / Глав. ред. И. Орен, Н. Прат. Иерусалим, Общество по исследованию еврейских общин – Еврейский Университет в Иерусалиме, 1996. кол. 51–53.
- 1997 Lev Levanda between Assimilation and Palestinophilia: Part 2: Literary Artistry and Language // *Shvut* 1997, 6 (22) 1–27.
- 1997 К вопросу о читательском восприятии. Давид Айзман: Сердце Бытия. // *Stimme der Orthodoxie*. Festschrift für Fairy von Lilienfeld. / M. George et al. 1997. 3. P. 180–181.
- 1997 Jewish-Russian or Russian-Jewish Literature? Efraim Sicher: Jews in Russian Literature after the October Revolution. Writers and Artists between Hope and Apostasy (review). // *Shvut* 4 (20) 1996. 213–224.

- 1998 «Иудей и Еллин»? «Ни Иудей, ни Еллин»? // Иосиф Бродский: Труды и дни. / Сост. Лосев Л. и Вайл П. М., Независимая Газета, 1998. С. 207–214.
- 1999 Russian Jewish Literature after the Second World War and before the Perestroika. // Jewish Studies at the Central European University. Budapest, CEU Jewish Studies, P. 147–156.
- 1999 Жизнь спустя. // Известия, 28 января 1999 г. С. 7.
- 2000 Третий отец-основатель, или «К чужим кострам» (Григорий Богров). // Иерусалимский журнал № 6, 2000. С. 228–289.
- 2000 Перец Маркиш – батько, эврей, поет. // Егупец 6, (2000). С. 221–229.
- 2000 Имена. Памяти Авраама Белова. // Иерусалимский журнал № 5, С. 180.
- 2001 Жаботинский в парижском «Рассвете». // Лехаим, октябрь 2001. С. 37–40. = Жаботинский в парижском «Рассвете» // Русское еврейство в зарубежье. Т. 3 (8). Русские евреи во Франции. Кн. 1. / Ред.-сост.: М. Пархомовский, Д. Гузевич. Иерусалим, 2001. Р. 30–43. = см. в переводе на французский: 2003 Quand Jabotinsky était parisien
- 2001 С двух строк о Солоне. Интервью, Вадим Аристов. // Венгерский курьер, 9–15 апреля 2001 года. С. 5. = (поправлено С. Маркишем) // Аристов, В.: Русский мир Будапешта и Венгрии. Будапешт, 2003. С. 486–488.
- 2001 И все-таки... (Открытое письмо Пархомовскому М. А.). // Русское еврейство в зарубежье. Т. (3) 8. Русские евреи во Франции. Кн. 1. Ред.-сост.: М. Пархомовский, Д. Гузевич. Иерусалим, 2001. С. 406–409.
- 2001 Ami Hitlernél a faj, Sztálinnál a társadalmi státus volt". Interjú. Várnai Pál. // Szombat, 2001.10.
- 2002 Una vida después. // Lateral. junio 2002. P. 18–19.
- 2002 Смертный бой. (В. Гроссман, К. Симонов, В. Некрасов, А. Рыбаков), Юз Алешковский, В. Пикуль. // Az orosz irodalom története 1941-től napjainkig. / Szerk. Hetényi Zs. [История русской литературы с 1941 до наших дней – на венгерском языке] / Ред. Ж. Хетени. Budapest, Universitas–Tankönyvkiadó, 2002. С. 16–20; 20–23; 32; 35–40; 253–254; 295–296.

- 2002 Плач о Мастере. (О Горенштейне). // Иерусалимский Журнал № 13, 2002. С. 259-264. = 2002 // Окна, приложение к газете «Вести». 12 декабря 2002. 14–15.
- 2002 Az orosz-zsidó irodalom a második világháború és a peresztrojka között. // Szombat, 2002. 4. 18–22.
- (отрывки на венгерском из статьи “Russian Jewish Literature after the Second World War and before the Perestroika”, 1999).
- 2003 *Father, Jew, Poet.* // *The Golden Chain. Fifty years of the Jewish Quarterly.* / Ed. N. Lehrere London-Portland, Valentine Mitchell, 2003. P. 141–146.
- 2003 “*Louons ceux qui ont cessé de nous tromper*”. // *Un “mensonge déconcertant”? La Russie au XXIe siècle.* / Dir. J.-Ph. Jaccard. L’Harmattan, Paris. P. 139–149.
- 2003 Quand Jabotinsky était parisien. Le Rassviet, revue sioniste-révisionniste en langue russe. // Archives juives 36, 2003, № 1, P. 70–88.
- 2003 *Ключи от исторического пространства. Интервью. Анна Исакова.* // Окна, приложение к газете «Вести». 20 февраля 2003. С. 14–15, 19.

\* \* \*



## Посмертно

- 2004 Об эротизме в русско-еврейской литературе (без примечаний). // Иерусалимский журнал 18, С. 210–217.
- 2004 «Спор языков» – спор о языках (по материалам русско-еврейской периодики, преимущественно – 1910 года). // Там же, С. 218–229. = 1996 La “querelle des langues”...
- 2004 Василий Гроссман – еврейский писатель? // Там же, С. 241–243.
- 2004 Трагедия и триумф Василия Гроссмана. // Там же, С. 244–251.
- 2004 *Свободный выбор (1995). Ответы на вопросы Леонида Финберга (Киев)* // Там же, С. 252–257. = 2006 *Стержень моей жизни*. // *Еврейское слово* № 9 (282) 8 марта–14 марта 2006.
- 2004 *Двадцать лет спустя*. // Там же, С. 258–260.

## Переводы

- 1966 Лион Фейхтвангер. *Настанет день*. Совместно с В. Станевичем, М., *Художественная литература*, 1966.
- 1966 Лион Фейхтвангер: Иосиф. Перевод с немецкого, примечания. // *Собрание сочинений в 12 тт*, Т. 9. М., Изд-ство «Художественная литература», 1966. С. 227–410.
- 1973 Филипп Рот. *Фанатик Эли*. // *Сион* № 4 (7).
- 1975 Бернард Маламуд. *Ангел Левин*. // *Сион* № 10 (?).
- 2001 Шарпак, Жорж, Содинос, Доминик: *Жизнь как связующая нить*. М. – Ижевск, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», R&C Dypatics, 160 С.
- 2002 Карой Пап: *Азарел*. // *Иерусалимский Журнал* № 11. 2002. С. 45-104.; № 12. 2002. С. 69–151.
- 2003 Имре Кертес: *Обездоленность* (совместно с Жужей Хетени). *Иерусалимский Журнал* № 14–15. 2003. С. 131–186.; № 18. 2004. С. 4–83.

## A Summary

*The fifth volume of "The Unvanished Past: Collected Works of Shimon Markish", includes his longest articles on Russian-Jewish literature of the 20<sup>th</sup> century about three writers, which texts he united in his book "Three examples": Isaac Babel, Ilya Ehrenburg, and Vasily Grossman. Along with these three examples of assimilatory literature in this volume Markish's fourth "example", Vladimir Jabotinsky is represented by twin-essays about Jabotinsky's Zionism in the journal "Rassvet". The comprehensive portraits on these four different models of Jewish assimilation at its last periods, in the 20<sup>th</sup> century (published by Markish between 1979 and 2001) can be considered as the continuation of the works on the triad Rabinovich – Levanda – Bogrov (see volume 3), that is, as the second part of an extensive thematic monograph on Russian-Jewish literature.*

*This edition of the collection is launched for commemorating the 90th birthday of Shimon Markish in 2021.*

*The uniqueness of this series consists in the fact that it covers all the fields of Markish, a classic philologist, researcher of the era of Humanism-Renaissance-Reformation and the founder of the now flourishing research area of "Russian-Jewish literature"; and in the fact that it shows him as a researcher, publicist and translator at the same time, but especially in the fact that – unlike the first editions of these texts (often with errors), their illegal versions (on the Internet or reprint books) – all texts are corrected on the basis of original manuscripts, typescripts and articles in journals and books corrected by the author's hands even after publication, from his library and archive. The volumes of the series include also archival materials that have never been published or only in other languages; and the full version of those texts that were shortened by editors as well.*

\* \* \*

This open-access text **has copyright restrictions** entailing the obligation of proper referencing and quoting according to common academic rules.

Any form of reprinting or reusing is allowed only by permission or by contract with the copyright holder.